БОРИС
ГУСМАН

# 100 ПОЭТОВ

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

1923

БОРИС ГУСМАН.

# 100 ПОЭТОВ.

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ.

С ПРИЛОЖЕНИЕМ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО УКАЗАТЕЛЯ РУССКОЙ ПОЭЗИИ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ.

1923 г.

Обложка работы художника М. К. Соколова. Сработана, Тверь — Хромо-литография М. Н. Шульнера. Набирал книгу на машине „Линотип“ А. В. Романовский.

Отпечатано в Первой Государственной
Типографии. Тиз. № 264 Р. Ц. № 455
Тираж 1500.—Тверь., 1922. г.

# ПРЕДИСЛОВИЕ.

Подзаголовок книги—Литературные портреты—точно и ясно определяет характер предлагаемых вниманию читателя этюдов. Это не критические статьи, это—«портреты».

Набрасывая контуры «портрета» я старался, по возможности, пользоваться поэтовым словарем, давая от себя только «фон»—жизнь, бьющуюся в судорогах и слезах, улыбках и радостях, здесь, на нашей земле, а не витание в далеких и холодных высях равнодушных небес и непоколебимо-спокойных Парнасов, жизнь, в которой закипела суровая и могучая борьба за новое, социалистическое переустройство мира.

Я никого не «хвалю» и никого не «ругаю», оставляя это право за критиками; я всех ставлю перед этим «фоном». Поэтому некоторые «портреты», гармонирующие с «фоном», вышли ярче оригиналов, некоторые, дисгармонирующие с ним,—бледнее.

Компонируя книгу, я решил откинуть всякие деления на школы и группы, всегда случайные и произвольные, и расположил этюды в алфавитном порядке.

Еще «два» слова о выборе оригиналов для этюдов, составивших эту книгу. Остановившись на мысли дать «портреты» молодых поэтов, я исключил из первоначального списка тех, которые относили себя к школам, известным среди читателей под названием «символистов», «акмеистов» и др., уже закончившим или почти закончившим свое существование к моменту зарождения новой поэзии.

Это не помешало мне, однако, включить в книгу тех молодых поэтов, которые развивают их традиции в наши дни.

Желая дать более или менее полную «портретную галлерею» наших

поэтов, я составил свою книгу из ста этюдов и, понятно, что рядом с «известными» поэтами оказались совсем молодые, «начинающие», рядом с оригинальными талантами их эпигоны и, даже, подражатели и т. п.

Я счел лишним указывать на это в самих этюдах, предоставляя читателю самому разобраться в этом. Я даю только «портрет».

В данной книге я касался почти исключительно тематики, только вскользь останавливаясь на технических приемах. Цель данной работы я бы считал достигнутой, если бы перед читателем, пробежавшим мои этюды, встали живые лики изображенных в них поэтов.

**Борис Гусман.**

Петербург, Н.-Новгород,
Моховые Горы, Великий
Враг, Зименки, Серебряный Бор, Москва.
1915—1922.

# АДАЛИС.

«Свет затменный», «жестокий», «жизнь пустая»—таков мир в стихах Адалис.

... Дымко пламя прелести земной
И зыблемо ветрами...

Как то полу-насмешливо, полу-презрительно смотрит Адалис на эти «зыблемые ветрами» «земные прелести»:

... Куда как скудны пурпуры зари,
Куда как смутны городские стены—,

говорит она в одном месте и повторяет в другом:

... Не всласть лазурна утренняя высь,
Не вдоволь золоты лесные тлены.

У Адалис мир не поет полным звуком, не играет сочной краской, не сияет ярким светом. Все на ущербе, на убыли. И даже любви она знает цену:

... Любовь за жизнию пустой,
Как медь коринфская звенела,
А тает будто воск простой...

Поэтому так печальна улыбка Адалис, так грустен взор. Она не знает веселых утех жизни, ей не звенит яркой песнью мир, ее не греет жизнетворческое солнце.

... В сердце, крепнущем во мне—,

говорит она—,

Готово место темной ране,
Страданию и глубине.

И поэтому же так певуче-печальны стихи Адалис, так лаконичен ее язык.

Она умеет в музыкальные строки заковать печальную мысль:

... Слова любви — лишь сад весенний,
Дела любви — осенний сад.

Или:

... Волна волне — не первая ошибка,
Волне волна — не первая любовь...

Она умеет дать сложный образ в клубке тонких и метких эпитетов, сравнений, метафор.

Но сквозь остроту и утонченность ее стихов, напоенных нервностью первой четверти двадцатого века, звучит нам что-то из далеких, спокойных веков. Ведь самое имя поэтессы—Адалис—не «наше». И потому, быть может, в ее стихах, мы то и дело наталкиваемся на какие-то не «наши» образы и эпитеты: то «медь коринфская» звенит «воину и римлянину», то природа встает перед нами «дискоболом», мечущим свой «щит» в страну «полуночных зол», то судьба проходит мимо нас «в сандалиях», то и дело встречаем какие-то не «наши», спокойные и тяжелые слова: руки «благоприятные», свет «затменный», пламя «тмится», «сладкие омраки садовые», «взыскующий иных прохлад», подруга «дольняя» и т. д.

И в этом странном соединении есть что-то пленительное, делающее стихи Адалис еще более пряными. Быстрые и нервные ручейки стихов ее замедляют свой ход в плотинах этих задерживающих слов.

Так «не сожалея», «не суесловя», описывает нам Адалис тот неполный, ущербный мир, который открылся ей.

Пучины дней в лицо лучами метят
Очам темны и солоны устам.

Этот «темный» и «соленый» напиток Адалис пьет с печальной примиренностью, с тем, что «в страну теней приводит каждый путь» и что иного пути не знает ее легкая и светлая муза.

# ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ.

Застывшая, оледенелая душа, подлинное дитя «страшных лет России», лет свирепой нагаечной свистопляски и двух войн, опустошенное сердце и отравленный сомнениями ум,—вот с чем пришел Георгий Адамович в мир, уже закипавший великим кипением революции, уже плавившийся в ее горячем огне.

Мог ли он увидеть это кипение, этот могучий огонь? Конечно нет. Своим поэтическим взором, в котором отразилась вся его внутренняя опустошенность, он увидел весь мир таким же опустошенным, оцепенелым во льдах и снегах.

Он увидел «ледяные планеты», небо, которое «недвижно висит», «полное близкого снега», сирень «заметенную», «в снегу», он услышал как «рассвет бьет в окно предутренней и сонной вьюгой».

Зима, снег—излюбленные мотивы Георгия Адамовича, как будто никогда не расцветала на земле весна и не покрывала ее цветистыми коврами, как будто нет в жизни солнца и радостных улыбок.

> В твоей России холодно весной—,

говорит он и через несколько страниц повторяет:

> Но холодно у нас. И снег
> Лежит. И корабли на реках стынут с грузом.

И понятно, когда из этой души вырывается вопль:

> По снегу белому куда же спешить?
> По свету белому кого любить?

Окутанная белым снегом лежит земля, «безразличная к судьбе», и над миром царствует белая, безнадежная скука.

> Есть в мире лишь скука. Глядится
> Скучающий месяц в окно.

Георгий Адамович впадает в какой-то пафос скуки:

> ... Так скучать, как я скучаю,
> Бог милосердный людям не велел.

В этом состоянии он доходит до полной душевной прострации:

Есть только смерть — ни любви, ни веры.

Он теряет, наконец, ощущение даже этой своей оледенелости и ему остается одно:

Считать года и сердце слушать,
Как тихо старится оно.

Он топит свою скуку в вине, он доходит до того, что начинает видеть свое «бедное счастье» в «цианистом калии».

... Мое бедное счастье,
Где ты теперь?
Имя тебе непонятное дали,
Ты — забытье.
Или, точнее, цианистый калий —
Имя твое.

В своем ледяном оцепенении, прорываемом иногда острыми минутами забвения, его мысль невольно обращается к прошлому, но, плененная птица, она бьется в силках настоящего и не может вырваться из них.

Наполеона он видит на фоне «бледнозеленого зарева заката, сиявшего за Адмиралтейством»; Венера ему является в лагерях,

Между смолкнувших пулеметов,
Меж еще веселых солдат,
Сытых, да вспоминающих
Петербургские кабаки.

Изольду он умоляет:

Останься, побудь! Дьячки, поклоны,
Не страшно, — розы к ногам,
А там — дальше и там
Календарь, снег, телефоны.

Задумчивая Хлоя ему снится «у северных берез».

Про Саломею, которая «стоит прозрачной тенью» «в полупустом театре», он говорит:

Что радости ей наши, или муки,
Иль — сноба лондонского сон тупой?

Мелькают, как в кинематографе, Игорь, Павел, графиня Дюбарри и поэт снова тоскует:

Где были мы тогда,
Где были
И я, и вы?
Увы!

Даже сама поэзия не дает ему «утешенья слова»:

Ну, что — сочинять человеку не трудно,
Искусство покорно ему,
Но как это жалко, как это скудно,
И как не нужно никому!

Но пустым ему кажется искусство оттого, что пуста его душа, гоняющаяся за призраками прошлого, не умея обрести утех жизни и слова в настоящем.

# В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ.

В самых ликующих, солнечно-победных стихах В. Александровского слышатся какие-то отдаленные, грустные нотки, которые доносятся, как отзвуки какого-то глубоко-затаенного недуга.

Как люблю сжигающий июнь я,
Но душа тоской поражена.

И это не случайная обмолвка поэта, не минутное поэтическое настроение. Почти в каждом стихотворении звучит эта звенящая болью струна.

А тоска, как стальная игла
Сердце колет все чаще и чаще...

Ему некуда деться с этой испепеляющей, иссушающей тоской. Он жадно тянется к солнцу, в жажде исцеления.

Уйду я от клеверных сказок
К дымящемуся песку,
Чтоб видеть душою стоглазой
Как солнце сжигает тоску.

Откуда же эта тоска? Какой недуг втравил ее в душу? Какой порок мешает ему даже «в огненном кипеньи революции», «солнцу улыбнуться»?

В своей поэме «Москва» В. Александровский рассказывает нам «историю» этого «недуга».

Молодым и здоровым он пришел в город от ржаных полей и сосновых звонов.

Память свято хранили:
Звенящую синь лесов,
Полей золотых рогожи...

Но город—исполин, «этот могучий спрут, захватил его в свои липкие щупальцы. Он «был улиц узлами затянут».

Здесь, в этих мрачных каменных гробах, среди «нахальных рож вывесок», под шум «развратной лжи голосов этих улиц», родилась эта «безысходная тоска ночей».

Здесь поэт, «стискивая зубы», «годами пил»

> ... Муть овьюженной России
> Жадными, прозрачными глазами.

Эта липкая муть России «посиневшей в петле», мучающейся «в зареве пытки», России—«старушонки горбатой», России «метелей, тоски и кабаков», эта муть и отравила душу поэта, в глубине такую цельную и здоровую.

Но не совсем засосала его эта «муть».

> И сгнил бы в тумане столичном,
> Как и многие скукой зарос,
> Еслиб радостно в шуме фабричном
> Не услышал всплески гроз...
> Дни так были похожи на сны,
> Заметался я в грохоте стали
> И не видел, как крылья Весны
> За моей спиной выростали.

В этом могучем горне выплавляется новая душа поэта, выковывается его воля и разум.

Фабрика выжимает из рабочего его лучшие «полдни» и «ночи», она окропляет свои шкива его горячей кровью, но она же и учит его видеть своего врага и бороться с ним.

> Фабрика пыльная, душная
> Мнет лепестки,—

говорит В. Александровский,—

> Но и дарит она
> То, что бьется в тебе.
> Будешь ты злобой пропитана
> В красной борьбе.

И сердце, переполненное злобой, изливает ее в час этой «красной борьбы».

Какой жаждой мести за свою искалеченную, отравленную душу полно, например, это стихотворение В. Александровского:

> Взрывайте
> Дробите
> Мир старый!
> В разгаре Вселенской Борьбы

И в зареве рдяных пожаров
Не знайте
Пощады,—
Душите
Костлявое тело судьбы!
Рабы!
Зубами
Рвите порфиры,
Топчите короны владык!
Закованы руки, есть—лбы.
Лбами
Разбейте кумиры,
Чтобы в пламенном мире
Горланил набатный язык.

В эти минуты (см. его поэму «Восстание») обычно рыхлая, бесформенная словесная (фонетическая) ткань его стихов пронизывается вдруг крепкими железными нитями и тогда оправдываются его слова:

Если любишь, должны засветиться
На страницах
Брызги души.

В эти минуты он дает нам крепкий образ нового человека, для которого

Бьется отчаянно в небе
Жар-птица.
На коленях—развернутый Бебель
На сотой странице,

который за «Капиталом» улыбается «своей невыпитой весне».

В эти минуты он дает нам новую любовную лирику, рождаемую у станка, на фабрике,—

Жемчуг в зелени леса.
Пряжей упал закат.
Ты от станка. Поэтесса.
Я — твой жених, брат —

лирику, рождаемую в труде, рождаемую во время восстания.

Свои стихи В. Александровский посвящает девушке-ткачихе, девушке-красноармейцу, которая «стреляла в цель из винтовки, крепко жмуря левый глаз», которая готовилась стать солдатом и отдать свою корвь, чтобы она «рубинами блистала на красных знаменах».

Поэзия В. Александровского, особенно в лирической своей части, настолько трепещет новыми темами, новым содержанием, что не хочется думать о слабых порой стилистике и композиции.

Пусть метрические задания часто не отвечают внутреннему содержанию стихотворения, пусть бедновата порой ритмика, пусть не всегда правильно располагает он материал,—где же ему, едва лишь показавшемуся на свет, думать обо всем этом,—та могучая любовь к новому, зажегшемуся над Россией, солнцу, которая сочится в каждом его слове, та тоска, которая сочится из незажившей еще раны, искупает все это.

Если любишь, должны засветиться
На страницах
Брызги души.

# ЮЛИАН АНИСИМОВ.

Юлиан Анисимов—затворник. Он надел на себя иноческий клобук и ушел от суровой жизни, он «орыл обитель канавкой кругом», чтобы отгородиться от земных шумов и стуков, чтобы не слышать жизненных зовов.

В поясе белом, узорчатом
Я пред иконой стою,
Благословите же створчатым
Образом жизнь мою.

Образом отрока слитую
Жизнь мою — душу и кровь,
Образом девушки взрытую
Ниву, печаль и любовь.

Тихой печалью о вспаханном,
Робостью вешнею нив,
Благословите о радостном,
Первые стебли раскрыв.

И все равно, прав ли он,—Юлиан Анисимов, поэт, ушедший от мира, но унесший с собою в свою обитель отзвуки его земных радостей и страданий,—или не прав, но другого удела он не хочет и, обращаясь к тем поэтам, которые живут в миру, в миру борятся и творят, он говорит:

Стихов неизреченных пенье
На вас низводит благодать;
Вам нет иного обольщенья,
Чем слово светлое: — искать.

Мне ж обольщения не нужны:
Бреду среди своей весны,
Быть может, лишний и недужный,
Король далекой стороны,

Где дни очерчены туманно,
Где щеки девушек бледны
И все знакомое так странно,
Как зачарованные сны.

И если прав ваш путь упорный
И новых рифм, и новых дел —
Да охраню я свой покорный,
Свой серебрящийся удел.

Его стихи «нежные гости неведомых, ласковых стран» горят лампадой перед иконами тех, кому в растерянности своей и страхе перед жизнью на земле, муках и скорбях ее, отдал свою душу Юлиан Анисимов.

Удивительно какой-то детской нежностью, полны его стихи к Христу, которого он называет Христосиком, к Богородице, которая приходит

Погрустить с истомленным во мгле,

Корнями Юлиан Анисимов все-таки связан с землей и поэтому и Христа и Богородицу он часто сводит на землю.

Вот

Богородица этой дорогой
В летний вечер подходит к земле.

Вот

Под вечер вышел Христос
В поле, где много ромашек.

Из окна его кельи, где

Белые занавески,
Цветок герани,
И звон нерезкий
В печальной дали,

весь мир Юлиану Анисимову кажется таким же церковно-монастырским, как и вся его жизнь.

Пред иконами вечными неба
Собирается облачный клир.

. . . . . . . . . . . .

Голубая лампадка — роса.

. . . . . . . . . . . .

Вода, как оклад у иконы,

Потемнела в сквозном тростнике.

. . . . . . . . . . . . .

Первые капельки рос —
Как жемчуга у иконы.

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . киот,
Золотых, вырезных облаков.

. . . . . . . . . . . . .

Первых ландышей ласковый ладан

и т. п.

Но не утихомирить души, отведавшей горького корня жизни, отречением и молитвами. Придет время и позовет она к себе властно и непреклонно.

Эти пажити и раздолья
Так зовут, так манят меня...

... Много «обителей» снесла в последние годы вихрем налетевшая жизнь, многих «иноков» вывела на широкие «раздолья и пажити», многим слепым открыла глаза. Долетит этот вихрь и до кельи Юлиана Анисимова и как он тщательно не будет «охранять свой удел» за вырытыми им «канавами», он сомнет,—этот вихрь,—его наивную веру, и, может быть, разбудит в его душе жажду подлиной жизни, бьющейся за воротами того монастыря, куда укрыл себя от жизни Юлиан Анисимов.

# П. АНТОКОЛЬСКИЙ.

«Муза» П. Антокольского родилась «на каменной площади Рима», среди теней Истории, с которой его душа «выпила на Ты». Родилась «в тринадцатый час», в тот час, который «выследил вечность».

Тринадцать ударов. Их было двенадцать
Бегущих за вечностью гончих.
Но только тринадцатый может признаться,
Что выследил вечность — и кончил.

Поэтому только с вечностью дружит его муза и бежит от «повседневной суеты», от дней, которые «начисто набраны и сверстаны». В этих днях нечего делать его душе—«сирой сирене, пьющей иные века».

В копоти горнозаводской
Брань мировая, как мать.
Как в этой брани сиротской
Сирой сирене внимать?
Как в этой серости серной
Веровать сирой сирене,
Пьющей иные века?..

И душа П. Антокольского бежит в прошлое, из которого он выхватывает и вковывает в свой прочно сколоченный стих только отмеченное трагическим величием—все равно—подвигов или преступлений.

Его манят тени Истории.

Вот

Хранимый наитием, вьюгой ведомый,
Сквозь Мертвые Души и Мертвые Домы
Свершает полуночный факельный смотр
В полярном сияньи, как в пляшущих перьях,
Механик и Демон по льдяной Империи, —
Неистовый, стужей освистанный Петр.

Вот Павел Первый, «курносый и картавый самодур», что
Величанный в литургиях голосистыми попами,
С гайдуком, со звоном, с гиком мчится
в страшный Петербург.

Вот Николай «Последний» —
То он — идиот, подсудимый, носимый
По оползням фантасмагорий —
От черной Ходынки, до желтой Цусимы —
С молебном, с гармоникой, с горем.

И дальше, дальше сквозь «крутень Истории», в «Париж 1793» где «нож Гильотена под гиканье рвани» «щелкал по позвонкам», в «Лондон 1666», где чума рассудила «кто бедняк и кто лорд» и т. д.

Но значит ли это, что муза его «сотворив прелюбы» с прошлым, изменила с ним настоящему? Блуждающая среди теней прошлого и отвергая «серную серость» настоящего, не ушла ли она от жизни живой?

Нет, и в наших днях П. Антокольский нашел созвучное его душе, «спящей рядом с веками», он почуял в них ту «роковую пору» что «прогрохотав впервые» «в Путилове, Колпине» и питерских «ротах», несется теперь буйным шквалом по всему миру, очищая его от той «серости серной», которая мешает петь вволю его «сирой сирене».

# ПАВЕЛ АРСКИЙ.

В дни жестокой и упорной борьбы, когда враг уже дрогнул, но не поддается еще, а в рядах бойцов энтузиазм часто сменяется усталостью, чтобы потом снова зажечься волей к победе, нужны певцы-бойцы, которые, находясь тут же, среди бойцов, будили бы их отвагу, вливали в их сердце бодрость, останавливали малодушных, поощряли храбрых и пели бы свои «песни борьбы».

Такие песни-призывы поет Павел Арский.

Он рассказывает бойцу о целях великой борьбы, охватившей весь мир:

Грозой вселенная одета,
Цветет воскресшая земля,
Но голубой огонь рассвета,
Еще не обнял все поля.

Еще железным плугом знанья
Не взрыта жизни целина;
Еще не всюду свет сознанья,
Не всюду радость и весна.

Когда у бойца опускаются руки от усталости и изнеможения, он простыми и понятными ему словами, будит в нем бодрость:

Товарищ! знай: бессилье
Нам гибелью грозит,
И кто опустит крылья.
Тому позор и стыд.

Он всегда настороже, певец борьбы, и всегда предостерегает бойцов и зовет их к «алеющим баррикадам». Он бросает свои призывы по всему миру, ко всем «народам мира», он зовет их на дружеский пир борьбы и победы.

Откуда же Павел Арский сам черпает силу и бодрость? Он берет их в могучем источнике коллектива.

Мы — страсть, мы — сила, мы — движенье,
Мы — буйство хмеля. мы — порыв...
В грозе и буре наши звенья
Сковал могучий коллектив.

В этом коллективе живет не только могучая и пламенная воля к борьбе, но и жгучая, радостная вера в победу, в трудовое утро после ночи грозы и бури.

Песни Павла Арского, конечно, сами по себе бледны, ритмы бедны, слова и рифмы взяты из пыльных архивов прошлого, но, ведь, это не стихи, не поэзия, это кличи борьбы и если они подниму дух хоть в одном бойце, если вольют бодрость в грудь хоть одного усталого, если зажгут веру хоть в одном опустившем руки, если разбудят хоть одного спящего—их роль оправдана, их задача выполнена.

# МИХАИЛ АРТАМОНОВ.

Русская деревня и фабричные окраины знают этого лихого песенника, ворошащего под тальяночные переборы суровые, запыленные и закопченные души то грустью щемящей, то веселостью разудалой.

Михаил Артамонов—деревенский парень, которого «полонил город» и раздавил его, дышавшую раздольем полей и лугов, душу в своих каменных об'ятьях.

Город спит под стеклянным шатром.
Белой пылью дробятся огни.
Ночь! В покое своем заревом
Ты, как сына, меня обними.
Я устал. Я один. У меня
Нет ответной любимой души,
Как вон там за окном у огня,
Как вот в этой согретой тиши.
Я хожу по панелям сырым,
Я гляжу на чужие огни.

Но не дремлет его гармоника, верный друг деревенского песенника, верный его товарищ в часы «кручины, невзгоды и печали».

Про все говорят ее веселые «дисканта» и мрачные, суровые «басы». Вот проплывают под ее рокот серые фабричные будни, где «машина и человек» «смену за сменой тянут свой век», вот вспомянется родная деревня, где «у огумен» грустит любимая, а то вдруг навеет «гармоника—растянуты меха» новые сны:

Эх, да ну-ка, побратаемся — иди —
Вижу счастье пред собою впереди.
Вижу всякого достатка вороха,
Пой, гармоника — растянуты меха.

А то всплакнет она, как погонят «мил дружка» на «чортово побоище».

Сердце бьется — говорит:
Милый не воротится,
Рековушкой плохо быть —
Век мой укоротится...

Для-ча, для-ча ты дана, —
Ожидать чего еще? —
Распроклятая война,
Чортово побоище!

Но пришло веселое новое время, вывалился народ «на площади красные», «встала улица властная», «в красном гуле потонули здания» и по-новому загудели тальяночные гулкие меха:

Песню — полымя не спеть,
Снять ли с сердца марево?
Широки просторы зорь,
Золотые зарева!
Зори небо золотят,
Зори разгораются;
Где-то лебеди летят,
На лету скликаются.

Тальяночная, «скромная», как он сам ее называет, песня Михаила Артамонова отзывается на все, чем плачет и радуется народная душа, о чем тоскует в глухих сумерках и на что надеется, глядя на полыхающие зори.

# НИКОЛАЙ АСЕЕВ.

Еще так недавно поэты в звучнейших стихах воспевали «любовь», «луну», «звездочки», «соловья», выводили тончайшие узоры, плели прозрачнейшие кружева из слов и мыслей, находя в этом самодовлеющую утеху и потрафляя на своего читателя, этой утехи требовавшего.

Но красной пеной над миром вскипела революция и стряхнула эту пыльную труху.

Сегодня — не гиль позабытую разную
О том, как кончается какой-то угодник,
Нет! Новое чудо встречают и празднуют.
Румяного века живое «сегодня».

Николай Асеев предчувствовал это «живое сегодня» еще тогда, когда

. . . труба второй войны
Запела жалобно и злобно.

Еще тогда, когда многие приветствовали эту «трубу» пустозвонным словесным бряцаньем, Николай Асеев почувствовал, что

Две тени показались
На транспаранте двадцатого века:
Из'еденный банкиром лик Европы,
И гневом задернутое лицо Азии,

и что новая жизнь «закурилась», как «свежий улей».—

И тогда поэт уже понял, что нельзя петь «о таком и об этаком», нельзя слагать «серебряные» песни о «небе горящем», о «звуках», о «мыслях», ползущих по веткам.

И стало тогда соловью не в-мочь
От полымем жегшей одуми:
Ему захотелось в одно ярмо
С гудевшими всласть заводами.

Николаю Асееву открылась истинная сущность вещей. За внешним покровом, прельщавшим прежних поэтов своей блестящей красивостью, он

увидел жизнь, пробивающуюся могучими ростками будущих всходов в землю, орошенной потом и кровью и вспаханной горьким, подневольным трудом.

Он увидел новые «зори», он увидел всходящие «зеленя».

Теперь там зори поднял май
Теперь там груды черных пашен,
Теперь там — голос подымай
И — мир другой тебе не страшен.

Теперь там мчатся ковыли,
И говор голубей развешан,
И ветер пену шевелит
Восторгом взмыленных черешен.

Заводы слушайте меня —
Готовьте пламенные косы:
В России всходят зеленя
И бредят бременем покоса.

Николай Асеев вложил «стальное» сердце борьбы и труда в свою песню.

И вот: весь мир остальной
Глазеет в небесную щелку,
А наш соловей стальной,
А наш зоревун стальной
Уж начинает щелкать.

Стихи Николая Асеева действительно более похожи на стальной рокот механического соловья, чем на то, что обычно называется стихами. Свою строчку Николай Асеев строит из железом звенящих букв, почти совершенно не употребляя «мягких» звуков.

Ты гляди: каждый звук, каждый штрих
Четок так — словно, брови наморщив,
Ночи звездный, рассыпанный шрифт
Набирает угрюмый наборщик.

И действительно в его стихах «каждый звук, каждый штрих—четок». Его прием—не звукописание, а звукостроение.

И это звукопостроение идет рука об руку с таким же подлинным и естественным словотворчеством, или, как говорит сам Николай Асеев— «словотворством», резко отличного от того словоизмышления, которое часто под этим именем преподносится.

Прочтите, например, его «Зов».

Мечами просекают людские голоса тоскующее время,
Овсюду треск и блекоть, оскалы и озевы, как уши
мне зажать,
Чтоб вывести из меры коснеющего тука воинственное
дремя,
Срематые дружины сомкнуть окрай межины, грозить и
одружать.
Таки, токуя. туча! Ножи нагие, пежьте!
Кто преет, предкам предан, вперед приходит прежде.
Но нет, не кости дедов гора извергнет в дымах
Помолвьями иными рудая свищет брага,
Смотри, как тихних коней помолпый вынес вымах,
Земля горит и гнется от их шального шага!
Издревле мучит мочью окличье «Мир орей!»
И ныне туча тужит семью словобырей.

Это, вместе с его энергичной и четкой ритмикой, дает Николаю Асееву возможность достигать замечательных музыкальных эффектов, как напр., в его «Боевой сумрове»:

Пусть же алое полымя
Каждое сердце крестит.
Слушайте там, за долами
Марш, зазвеневший вместе:
«Сердце ударами вен громи,
Пусть заростет тропа та,
Где обезчещено Венграми
Белое тело Карпата».

Или в его «На лире».

Бег
Тех,
Чей
Смех
Вей
Рей
Сей
Снег!
Тронь струн
Винтики,

В ночь
Лун
Синь теки.
В день дунь
Даль дым
По льду
Скальды!

Николай Асеев несомненно овладел своим ремеслом «славнейшим»— как он говорит,—«ремеслом мира—словотворством» и одухотворив его истинным пониманием и чувствованием жизни, претворил его в искрящееся жизнью и молодостью искусство.

# АННА БАРКОВА.

Анна Баркова еще бродит в «первой» предрассветной «мгле». На сердце еще лежат тяжелые ночные сны, но впереди уже забрезжили алые зори.

Я зовы слышу, но не знаю,
Зачем и что они велят. —

говорит Анна Баркова и взманенная этими уже зажегшимися над землей зорями, она всходит на свою «первую Голгофу».

Пишу страдальческие строфы
В страданьях первых, в первой мгле;
Всхожу на первую Голгофу,
Голгофу юношеских лет.

Вихрь революции захватил ее, «маленькую, робкую и гибкую» и помчал в своем «исступленном беге» через «кустарники колючие». Но ей не под силу этот могучий и жестокий вихрь. Тяжелый груз «темных страданий», «сумрачных» сомнений и колебаний, «глухого равнодушия» и усталости тянет ее назад и она с грустью говорит:

Я — с печальным взором предтеча.
Мне суждено о другой вещать
Косноязычной суровой речью
И дорогу ей освещать.

. . . . . . . . . . . .

Не могу я сумрачным духом
Земные недра и грудь расцветить,
Ко всему мое сердце глухо,
Я лишь тебе готовлю пути.

Анна Баркова жаждет «новой красоты», «неба иного», она чует их «в предзорней темноте», она слышит уже «звонко золотой топ коня» и бросает под его копыта свои «обрывочные, невнятные песни» прошлого.

Поэтесса великой эры,
Топчи, топчи мои песни — цветы.
Утоли жажду моей веры
Из чаши новой красоты.

И она припадает к этой чаше со всей жадностью молодого, узнавшего новую правду, сердца. Анна Баркова выбрасывает из своих песен весь балласт прошлого.

Много принцев любовью воспето;
Я воспеваю, я люблю ткача,

говорит она и этим не только меняет об'ект любовной лирики, но и весь характер ее. Вместо «принца» в стихах Анны Барковой появляется «товарищ возлюбленный», с которым она «союзники и друзья».

Мы вместе стреляем в цель,
На врагов вместе идем.

Она уже не «Золушка», мечтающая о «принце». она—«женщина—твердый воин», она—«красноармейка».

С красной звездой на рукаве
В освободительный бой я иду.
Сохранилась из всех моих вер
Вера в красную звезду.
Я играю легко винтовкой,
Накинув шинель на плечо.
В руке моей крепкой — сноровка,
А в жилах отвага течет.

В битвах за эту «новую веру», за «нового Христа», который пришел в мир «с судами и казнью», с грозой «в руках пречистых», на «страстном костре», «зажженном рукой ткача» закаляется дух Анны Барковой и очищается от шлака сомнений и колебаний.

Поэзия Анны Барковой—порыв к «новой красоте», жажда «неба иного». Она устала от «обрывочных, невнятных», «косноязычных» песен о «принцах», «цветах», «забавах» и «рабской любви». Она тоскует по новой, здоровой и сильной любви и по новым, бодрым и радостным песням, которые зажигает революция в душах, жаждущих ее.

И если даже «песнопенье о ткаче» останется действительно ее «единственным следом»,—как проропила она о себе в горькую минуту,—великая ее заслуга в том, что в час страстной борьбы и жгучих сомнений она указала верный «след» всем, кто не хочет погибнуть под развалинами рушащихся «вечерних храмов».

# НАТАЛИЯ БЕНАР.

Поэзия Наталии Бенар—поэзия девичества, уже дозревающего до женственности, уже провожающего свою юность, но все еще нежного в своих настроениях и желаниях, все еще неискушенного в своих ожиданиях и томлениях.

Торжественная жизнь проходит за околицей,
А рядом — тиши взволнованная муть.
А рядом — писк мышиный не стихает,
И мамин голос нежный по утру.

«Маме» Наталия Бенар посвящает первое стихотворение своей маленькой книжонки «Корабль отплывающий». Она, часто по девически, говорит ей:

Пока со мной ты, милая, тепло еще...

В своей девической неискушенности она молит жизнь «покарать» ее «первой любовью».

Запелись, запенились, забурлили
Стихи, стекающие через край. —
Жизнь, распылись, развейся, или
Любовью первой карай.

А когда эта любовь приходит, то ей, конечно, опять таки, чисто по девически, кажется, что она «на жизнь и на смерть»

И ты со мной, полюбленный
На жизнь и на смерть.
Пускай века на убыли
Не разлучить им нас ведь.

Но уже уходит юность, надвигается зрелая женственность и Наталия Бенар это чувствует —

Немного, совсем немного
Юности осталось нам —

И с болью ждет это «отчаяние зрелости», этот «судный день».

И ты отползаешь, оскаливаешь
Поздняя осень, куда же ты?

Развертывается Апокалипсис
Заката над вечером каждым.

Глаза палились и прозрели,
Стынет грудь, поспевшая к жатве,
Судный день! Отчаянье зрелости,
Ужас кожи, морщинами сжатой.

И как характерны для этих настроений эти расплывающиеся ассонансами окончания стихов, делающихся благодаря этому какими-то девически неоформленными, неустоявшимися, зыбкими: «вестники—песенкой», «губы ли—погублен», «печальный—кричали нам», и т. д. и т. д. через все стихи.

Правда, перед Наталией Бенар наметилось уже «дальнее плавание и ее «Корабль отплывающий» «давно повернут к берегу кормой».

Прямо в мир огромный и темный
И по новому жизнь пестра.
Клочьями пены хлещут в лицо мне
Стихи, революция, страсть.

Еще неизвестно, куда приведет ее это «плавание», но во всяком случае:

Не о любви мне поется теперь
Перед лицом грозы.

И блики этой грозы уже легли на последние стихи Наталии Бенар.

# Я. БЕРДНИКОВ.

Я. Бердников не сочиняет стихов, он поет песни. Неуклюжие, неотесанные, наивные, но такова песня. Она поется в ту минуту, как сладким комом завозится в душе и так, этим комом, рыхлым, не отделанным, бесформенным или, вернее, в готовой, веками выкованной форме, и вывалится в мир.

— О, не грози, костлявая старуха, —

говорит Я. Бердников,—

Забвения седым холмом!
Не вытравишь ты песенного духа,
Что пламенно горит в стихе моем.

А «песенный дух» действительно, в его стихах «горит пламенно».

Его не могли вытравить ни века рабства и нищеты, ни века бездолья и нужды, его не могли заглушить ни лязги цепей, ни грохот заводских машин. Его песня свежим ручейком пробивалась сквозь них и журчала по ласковым полям любимой им жизни.

В душных газах, в брызгах стали,
Под железный лязг и гром —
Счастье, счастье мы ковали.
Мы ковали, и куем.

«В мире бедствий и презренья», Я. Бердников «ждал живительных лучей». Задыхаясь в грязи и пыли подвала, он все же знал, что

...там, в полях ручьи журчали,
Струясь в простор свободных рек.

В дыму и грохоте «гиганта-завода», который

Звенит, шипит, горит, как ад,
И труб швыряя дым и смрад,

он видел уже новую «рать», которая пришла в этот завод,

Чтоб цепи тяжкие порвать.

даже город, что

...заводами грохочет,

И трамваями звенит,
Режет сталь, пилит и точит,

даже он

О грядущих днях пророчит,
Мировой кует зенит.

Все говорит ему, что

Черной рати нет спасенья,
Черной рати нет спасенья
И не будет никогда.
Никогда — гремят заводы,
Никогда — шипят ремни.

Пришедший на завод от шири деревенских полей, он в «пении машин» услышал иные песни и бывший «сын природы», он забыл ее.

Степная ширь ковыльным звоном
Не убаюкает меня —
Я мир в движеньи непреклонном,
Я весь из стали и огня.

. . . . . . . . . . . .

О, лес, таинственный кудесник,
Не в шелесте твоих вершин —
Веков иных иные песни
Я слышу в пении машин.

Но когда завод сковал эту чаемую им в песне новую жизнь, он снова вспомнил про свою «сгорбленную избу», для которой теперь

В простор открыты двери.

Он идет к деревне «с заводским медно-горлым гудом», чтобы в «вагранках огнеупругих» переплавить хилые избы «на дворцы» и он верит, что это будет, он верит, что

Заглянут в глубь веков грядущих
Озерно-синие глаза.

И эта вера зажигает его душу горячим солнечным пламенем.

Моя душа цветистей яблонь,
А тело солнца горячей.

И песни Я. Бердникова отразили эту душу, зацветшую верой в лучшее будущее земли и впитавшую в себя ее жаркое солнечное дыхание.

# Л. БЕРМАН.

Л. Берман живет в плену у жизни. Жизнь—это враг, с которым «недолго длился поединок», жизнь—это рабовладелец, который купил его душу на «хищническом рынке». Л. Берман не живет, а преодолевает «мутное жизни теченье», в нем «преломлена воля», «перебиты локти и колена», и в ожиданьи смерти он мечтает о «Новой Трое» на «Гесперийском, чужом берегу».

Его стихи рождаются в муках его плененной души и он не любит отдавать их жизни.

Из целомудрия и лени
Печатать не люблю стихов —
Я их, как мать среди родов,
К себе приемлю на колени.

Они остры и насыщены болью, эти стихи, и все говорят о медленном и грустном умираньи.

Не сростется плоть живая,
Где меня коснулась трость, —
Кровь свернулась, остывая,
И как уголь стала кость.

Преломив однажды волю
И склонившись под ярмом,
Не посмею жить я боле
Ни любовью, ни вином.

Некоторые стихи Л. Бермана, написанные в эту пору, звенят острой печалью безнадежности:

Перебиты локти и колени,
И отходит торжествуя враг.
Я лежу теперь, подобно тени,
Я скажу теперь: да будет так.
Преломить в себе, как ветвь сухую,
Я желанье каждое могу —

Так пускай, пылая в ночь глухую,
Дом пустой достанется врагу,
Так пускай добро мое и имя,
Как добычу, он берет на щит. —
Свод небес такой большой и синий
Надо мной склонился и молчит.

И склоняясь под этим тяжким, почти непосильным бременем, он уже начинает слышать «подземные гулы».

Чу, — в сенях скрипят половицы,
Чьи-то медленные шаги.

Я согнулся, как старец Нестор,
В волосах моих — седина.
Там грядет Вторая Невеста,
Там грядет Вторая Жена.

Я скажу не дрожа и не громко
(Разве так встречают беду?):
«Здравствуй в доме моем, Незнакомка,
Вот вдова моя. Я иду.

Но минутами в душе его рождается «соблазн» протеста, бунта против своего смирения, против своего «плена».

Нет, не останусь я жить в плену
И не стану кричать на вече.
Я за руки поведу жену
И детей посажу на плечи.

Круторогих быков снова в плуг запрягу,
Новый град обводя бороздою,
И на Гесперийском чужом берегу
Поставлю Новую Трою.

Или потому, что воля его уже надломлена, или же потому, что эту «Новую Трою» он ищет не там, где ее мог бы найти, но «избороздивши пол-земли», он убеждается, что «подвиг» его «безотраден», что выхода из плена нет или, во всяком случае, этот выход не здесь и он взывает к кому-то:

Сатану заклятьями разными
В недобрый час не зови,

Хотя бы снова соблазнами
Зажег он огонь в крови.

Мы с верою нашей разбитою
Чести своей не храним —
И все неотступною свитою,
Последуем все за ним.

В заколдованном кругу мечется поэт и он вырвется из него только тогда, когда поймет, что не в плаче «Иеремии» над самим собой—Новая Троя, не в любовном томлении—она, и что не на «Гесперийском, чуждом берегу» нужно искать ее, а вокруг себя, в утверждение жизни, в превращении ее из «врага» в друга, в борьбе со всеми и со всякими «рабовладельцами» духа и тела, в уничтожении «гипсовой маски» от'единения от жизни и борьбы.

# СЕРГЕЙ БОБРОВ.

Жизнь в своем повседневном движении разлагается на слова, чей «бег прекрасный» невозможно «живой рукой остановить». Только поэт—«королевич» может их собрать и построить из них, на основании точных аксиом и алгебраических формул, новую, более реальную, более правильную и чистую по форме жизнь.

День мутными растрескивается речами,
Грозной чернью оветренных слов.
Несутся их толпы за толпами,
Собирая свой темный улов.

. . . . . . . . . . .

Кто сбирает их — королевич,
Ему не плакать ни о чем;
Он ложится на свое ложе
И повторяет их беглый гул.

Это «ложе» Сергей Бобров называет «жизни пустынным ложем» и на нем он «повторяет беглый гул» слов, создавая из них

Построений скалы, отроги, —
Текучая жизнь.

В этой жизни —

Кругом кружит любовное веселье
(У меня нет времени все описать!)
Гиперболы, эллипсы — взвивают кольца,
Над которыми летучая рать.

Такими же математическими формулами измеряется в мире Сергея Боброва все.

Душа уходит, как тангенс,
В зыбь очей, в муть очей, в ночь очей...

. . . . . . . . . . . . . . .

Но хладный октаэдр вдохновенный
Небосводит души озеро...

И это не случайные обмолвки—результат «необычайной ловли». Правильные линии, точные геометрические построения радуют поэта больше всего:

Слои туч изрезаны равномерно:
Что за линия чудесной красоты.

Конечно, раз'ятая и расщепленная жизнь становится в глазах Сергея Боброва «гробожизнью» и для него.

Сквозь жалкий аллюминий снега
Зияет мертвая трава.

И лишь, возвращенная в «строке» она снова бьется полным пульсом. У него «дни убегают словно стансы», «сшибок неба декоративен, словно строчки», он возвращается «на строки дней» и т. д.

«Алмазные леса» его поэзии «дремлют» «на вершинах острогрудых», далекие от жизни, которая «обряжалась на чуждый», «невидный» поэту «пир», далекие от того, что люди называют «переживаниями» («не плакать ни о чем»), ибо какие же «переживания» могут быть в этом идеальном, алгебраическом мире, на этих недоступных вершинах?

Было время, когда Сергею Боброву

Хотелось новым языком
Теперь поговорить с весною,

но он остался тем счастливцем, или, может быть, «несчастливцем, у которого от долгих дум и праздных мечтаний вовсе утратилось тело», как говорится в эпиграфе из Т. Гофмана, избранном Сергеем Бобровым для одной из своих книг.

# ФЕДОР БОГОРОДСКИЙ.

Сколько оговорок сделал Федор Богородский к своей книжке стихов: «как будто стихи», «стихи художника Федора Богородского», «выпуская книгу стихов, ни на что не претендую», четыре послесловия, в которых все авторы в один голос убеждают Федора Богородского, чтоб он не писал стихов, два предисловия, в которых Федор Богородский сам во всю мочь старается, чтобы мы, хоть ненароком, не подумали, что он поэт.

И, может быть, действительно, с обще-принятой точки зрения он не поэт. Но мы хотели бы смотреть на поэзию уже (или, может быть, шире?).

Мы, например, согласны с Федором Богородским, когда он говорит: «Если передам читателю хоть сотую часть своей энергии, бодрости и жизнерадостности—задача моя исполнена».

Разве не так? Разве не поэт тот, кто может в слове передать хоть сотую часть своей жизненной энергии?

Прежде всего не забудем, что Федор Богородский—матрос. Стилизованный или настоящий, но матрос.

Фуражка вломана в затылок
И шпалер всунут в брюки - клош.

Его мир ограничен, но вместе с тем и широк, как широка раздольная воля матроса.

Кубрик — наш дворец и церковь,
Шканцы — знойные поля...
Эй, братишка, ты мне верь-ка —
Лучше жить без короля.
Фалы — в жесткие мозоли.
Вымпел к клотику взнесем.
Пусть сердца поют на воле.
Лайба мчится карасем.

Его язык—матросский язык, грубоватый, жестковатый, но крепкий, ядреный, пахнущий смолой, трудом и морем, здоровый, «как коровай хлеба» или «как стальной язык медного колокола».

У него песня «вливается в ухо чугунными сплавами», у него «Сормово славит коммуну бронзой стихов», у него

Ввинтился в облачную гайку
Лучей шуруп...

Облака у него «стая аистов на скирдах пшеничного хлеба», «серебро пролитого утра льется на сталь по закалу ножа», «расплавленное железо солнца вливается в раскрытые рты лабазов» и т. д. и т. д.

Его бунтарство—матросское бунтарство, немножко, как он сам говорит, «анархо-грабительское», но сильное, здоровое и полное ненависти к старому миру.

Эй, ты жизнь
Твои ли зубы
В лязге
Пламенных веков.
Пусть орут из глотки трубы
О безумьи моряков!
Шпалер в грудь!
Коленкой в горло!
В кулаке трещит скула.
Эй, братва!
Не ты ли стерла
Накипь с медного котла?
В бога мать!
Полундра миру!
На дыбы,
Морская голь!
Жми,
Дави,
Даешь порфиру
Банде в черствую мозоль!

И все, что он пишет, все звучит таким же бесшабашным разгульным бунтарством, пахнущим больше разбоем Стеньки Разина, чем строительством нашей революции.

У него и Волга, например,

. . . сжала кулаки,
Кистень
Из барж железных,
На пальцах

Кольца кораблей
И рукава всучила пристань.
Эй, Волга, Волга,
Мать родная,
Ты размахнулася Окой,
Ветлугой в'ехала по скулам,
Как
Грузчик каменной рукой!

Отсюда и все эти «кровавые судороги», «проломанные виски», «простреленные лица» и т. д.

Но внутри поэт-матрос Федор Богородский видит новый мир, «великую коммуну», во имя которой и свистит кистень его бунтарства, проламывая черепа всех, кто стоит на пути к ней.

Он видит:

Мир ли
Синий сарафан
Выткан красными цветами,
Всех в весне
Расцветших стран,
Как в горнах
Кипящий пламень.
Май один!
Весна одна!
Красный мир —
Одна страна.

Свою большую поэму «Медная сила», в которой он изображает стопятидесятимиллионного коллоса, залегшего в «болотах доской», «ухо свое положив на тайгу Сибири, Балтику ткнув ногой», раскачиваемого бунтарскими революциями и пробуждающегося под гром мировых бурь, Федор Богородский кончает так:

Вот что знал
Богородский
Льющий железо поэм
Если ж
Язык его
Жесткий,
Все равно
Он
Не будет нем!

И не надо, потому что человеку, который

Сегодня кочегар, завтра жокей,
Художник, слесарь, цирковой артист,
Эквилибрист, акробат, каменьщик
Вчера футурист, завтра — матрос,
Шофер - водолив,
Механик, грузчик, летчик
И всю жизнь, всю жизнь
Бунтарь и революционер,

такому человеку есть что рассказать миру.

А рассказать он,—несмотря на всю свою неопытность, на всю корявость, неслаженность, несделанность стиха,—а рассказать он умеет, ибо «четыре огромных сердца» бьются в нем и эти сердца:

Труд,
Храбрость,
Искусство,
Жизнь.

Главное, жизнь, которой он говорит:

Тебе моя радость,
Тебе моя печаль, слезы,
Горячие капли пота,
Жизнь!

# КОНСТАНТИН БОЛЬШАКОВ.

Город оглушил Константина Большакова ревом своих автомобилей, забрызгал грязью из под их колес, затянул его в свои кабаки и выплюнул оттуда вместе с проститутками на слякотные ночные улицы.

Константин Большаков—сын города, прильнувший в тоске к его «тревогой дышащей груди».

Для него город живет и дышет, как живое существо:

Рты дуговых фонарей белоснежно оскалили зубы;
Вечер, изысканный франт, в не небрежно помятой
панаме
Бродит лениво один по притихшим тревожно
панелям;
Лето, как тонкий брегет, у него тихо тикает
в строгом
Кармане жилета...

Нет ничего мертвого, застывшего. Все живет своей жизнью, во всем бьется живой, нервный городской пульс. Даже природу Константин Большаков видит только через эти свои городские очки.

Вот у него луна «плещется в истерике», вот «фейерверки из звезд» «скользят, как аэро», в другом месте звезды он называет «золотыми пуговицами», у ветра он с'умел нащупать тонкий и чувствительный «нерв» и заставил его жить совсем по нашему, по городскому.

Панели любовно ветер вытер,
Скосив удивленные глаза...

Так, сквозь эту «городскую призму», воспринимает жизнь Константин Большаков. Город измял, исковеркал его душу, но не вытравил из нее трогательной нежности к себе. Нежность эта пробивается у Константина Большакова сквозь ненависть, сквозь злобу к городу, который он называет «отвратительным и старым», но баюкает его «чутким стуком стихов».

Когда же в тень твоих бульваров
Опустится твой грузный вздох,
Ты, отвратительный и старый,
Заснешь под чуткий стук стихов.

Нам, проституткам и поэтам,
Слагать восторги вялых губ,
Чтобы ты один дремал рассветом
В короне небоскребных труб.

Чтоб был один и чтоб хранили
Тревогой дышащую грудь,
Багровый бег автомобилей
И лун прикованная муть.

Но Константин Большаков не охватывает всего города целиком, во всем его гигантском размахе, с его мощным творчеством жизни, с его радостями и муками, с его суровой, напряженной борьбой.

Константин Большаков проходит мимо всего этого. Он замыкается в узкий круг личных маленьких любовей, счастьиц и разочарованьиц, он пишет свои стихи о душе, для которой вне ее маленького, «комнатного» и «уличного» существования нет жизни, для которой «все рушится», если «умерло» ее личное «счастье».

Об этом он умеет говорить с большим напряженным лиризмом, с глубокой искренностью:

Тихо закрылись ресницы,
И на одной застыла слеза.
Сердце не билось,
Ничто уж не снилось,
Сердце, запоздалую птицу,
Гнала гроза...
Милый, тогда... Ну что? Разве помню?
Умерло счастье и все...
Это одно казалось всего огромней,
И что же больней и больше еще?..

В этих узких рамках все творческое волнение Константина Большакова.

Но сейчас над городом пронеслась другая «гроза», которая разбила маленькие комнатные клетки, которая в дни борьбы выплеснула на улицы гневные и суровые народные массы, в дни праздников залила городские площади ликующими толпами.

И поэт города не может уже, как прежде, забиться на свои «индивидуальные» жердочки, отгородиться ширмочками и перегородочками и куковать оттуда о «разбитом сердце» или о «потерянном счастьи».

Новый город требует новых слов и поэт даст их, если он подлинный сын его, болеющий его муками и ликующий его радостями.

# Е. БРАЖНЕВ (Е. А. Трифонов).

Эти стихи писались в годы предреволюционных сумерек, в стране,

> ... где брежжет день в тумане,
> Да по ночам гудит метель,

писалис в узком мире, где

> От окна и до дверей
> Шесть шагов в докучном круге,

где

> Угрюмый день глядит в окошко каземата.
> Напротив старая стена,
> Глухой пустынный дворик с будкою солдата.
> Березка чахлая прижалась у окна.

В этом печальном и угрюмом мире живет муза Е. Бражнева. И не понятно ли, что сонет его носит несколько необычный характер? В нем не говорится об изысканных чувствах, о высоких подвигах, о возвышенной любви, словом о тех материях, о которых обычно поэты поют в сонетах.

Нет, четырнадцать строк его сонета рассказывают нам о том, как

> Звонок подымает нас в ноябрьской мутной ткани,
> И свет чадящих ламп сметет обрывки грез,
> И окрик бешеный, и град площадной брани: —
> Пора вставать! Эй, подымайся, пес!
>
> Встаем. Свернем постель и бродим, как в тумане.
> Цвель по стенам, как пятна ржавых слез,
> Потоки мыльные от мерзостной лохани...
> За окнами безлюдье, сумрак, и мороз.
>
> Потом в ряды построит нас свисток.
> Молитву проревем нестройно, диким хором.
> Стоим и хмуро ждем. Вот загремят запором,
> И грузен, туп и зол — вплывет тюремный бог.
> И начинаем день, день скуки и мечтаний,
> Жуя ломоть сырой и кислой дряни.

Но душа революционера крепка, в ней «прах и мусор жизни» перелиты в «благородный слиток», которого не ест ржа этой слякотной жизни, напротив, чем гуще смыкается вокруг нее этот мрак, тем более дикой жаждой жизни наполняется эта душа.

Секи нас, вихрь! Звени, как медь, земля!
Вперед, сквозь темные пустынные поля,
Куда нас свежий след уводит!

Но не только в нем одном кипела эта жажда жизни. Тысячи, десятки тысяч таких же, как он, копали, как кроты, длинные ходы в своих подземных норах, чтобы дорваться до жизни, завоевать ее.

И вот под их ударами рухнула первая твердыня старой жизни и тронулась в «поход» могучая конница, кипящая тяжелой «мужицкой злобой» ко всем «белоручкам-дворянчикам», «кадетам», морившим их по тюрьмам и каторгам.

Полки за полками, как буря движутся вдаль,
Эй, белоручки, обреченные, роковая шваль, —
Дорогу очисть
Первородной мужицкой кости!
Кто там впереди?
В гости нас жди...
Жди нас в гости
Ты, цивилизация,
Весь табун царств и наций!
Готовь харчи нам,
Старый мир!
. . . . . . . . . . . . .
Эй, деревенская голь,
Беднота крестьянская.
Вылезай наверх, царствуй, ори,
Выливай вековую мужицкую боль.
. . . . . . . . . . . . .

Кто еще? Не Европа-ль,
И не весь ли базар мировой?
Эй, умрем, — за советский строй!
— Даешъ Севастополь!

Огонь этих строк, такой неожиданный после вялых «тюремных» стихов, вдохнула в его грудь революция, у нее он взял смелость слова, яркость ритма и живость образа. Он родил революцию, как борец, она родила его как поэта.

# СЕРГЕЙ БУДАНЦЕВ.

Испытание «войной, восстаниями», революцией не проходит поэту даром. Сергей Буданцев вынес это огненное испытание и закалился в нем. От «духоты, тьмы и мглы, гноившей века» оно позвало его на широкие просторы жизни.

В жизнь марш! —

скомандовал он своим острым, пронизанным современностью, строкам.

Довольно зеркал, кафе, фонарей
На заре обольщений, улиц
. . . . . . . . . . . . .
Довольно пугал золотых голубей,
Любовал стихи и об'ятья.

«Бывший дэнди-поэт» уходит «из лакейских орбит», от «парадного быта» и в «малярийную и острую годину» выходит «веселым событьем», «в революцию», в дни нового быта.

Мне с ветрами в Коломну, на окраины, в мир
Расстелились красные тропы.

По этим красным тропам» Сергей Буданцев «охотится» за новым миром, который

. . . ложится на строчку, в стихи,
Как павший друг,
Под гул революций — смертей — стихий —
Отплытий — нашествий — разрух.

Он спускает «гончих чувств» за «стаей» новых слов и они

Улюлюкают, травят трубы огней
Убегающий посвист веков.

«Огонь и погоня, и опять огонь», «поход огней», «золотой поход» за новой красотой, за новыми зелеными снами»—вот чем полны последние стихи Сергея Буданцева.

Он пишет («и дрожит в руке перо») во имя нового быта, не взирающего равнодушно на землю с своих холодных небесных высот, а того, ко-

торый «расцвел в коломенскому быту», здесь, на земле, среди ее страданий и радостей, в ее улыбках и слезах.

Ради дня раскрытого in folio
И небесных вольных мастеров
Я живу, пишу. Не от того ли
И дрожит в руке перо.

Заструилась ранняя дорога,
Льнет шоссе к полыни за тоской.
Каждый вечер, — будто думал Гоголь
Расселить Диканьку по Тверской.

И глаза мои роятся, словно
Бог расцвел в коломенском быту.
Здравствуй снова, снов зеленых ловля,
И сетями испытуй.

Испытуй меня заводами, горстями
Алых брызг — восстаньями, войной,
Пусть столетье пологом растянет
Эту волю надо мной.

Здесь на землю, которую Сергей Буданцев когда-то увидел «благоухающей медом», «теплой хлебами», «увлажненной потом рос», здесь на этой земле утверждается новая жизнь и к ней, заражающей

От Москвы, от России огулом
Мятежами и громом миры,

к ней, один за другим, приходят поэты, неся звонкие дары своих стихов.

# ДАВИД БУРЛЮК.

Молодость зачинания и разрушения — вот в чем пафос поэзии Давида Бурлюка.

Каждый молод, молод, молод!
В животе чертовский голод!
Так идите же за мной!..
За моей спиной!
Я бросаю гордый клич —
Этот краткий спич!
Будем кушать камни, травы,
Сладость, горечь и отравы!
Будем лопать пустоту,
Глубину и высоту,
Птиц, зверей, чудовищ, рыб,
Ветер, глины, соль и зыбь!
Каждый молод, молод, молод!
В животе чертовский голод!
Все, что встретим на пути —
Может в пищу нам итти!

С «чертовским голодом» пришел Давид Бурлюк в мир, с «чертовской» жадностью нового восприятия мира и воплощения его в слове и нашел готовые клише, рассортированные по «полочкам» мысли, понятия и определения. «Хорошо»—«нехорошо», «красиво—некрасиво», «морально—неморально» и т. д.

Все ровненько, гладенько, чистенько. Каждый «сверчок» знает свой «шесток». И того, что ему «не полагается» не трогает.

Философы, ученые и поэты точно все «назвали» и определили.
И завопил поэт:
«Прошлое тесно—Академия и Пушкин непонятнее иероглифов!»
«В голове тесно от чужих слов!»
Надо раздвинуть стенки мира, надо дать поэту новую «пищу» —

Все, что встретим на пути —
Может в пищу нам итти! —

Надо разрушить все ширмочки и перегородки, понастроенные с таким усердием на всех полочках жизни и, прежде всего, надо заняться разрушением «опорочением» штампованных понятий о красоте.

Надо разбить такие клише, как «небо», «душа», «поэзия», «красота», «облако», «звезды», «солнца и т. д. Это от них, от этих клише тесно» стало в мире. Это из-за них люди перестали уже воспринимать подлинную красоту подлинного неба, солнца, облаков и звезд.

И Давид Бурлюк принимается за это со свойственным ему молодым задором.

Пускай судьба лишь горькая издевка,
Душа — кабак, а небо — рвань,
Поэзия — истрепанная девка,
А красота — кощунственная дрянь.

. . . . . . . . . . . . . . . .

У облака — потливая подмышка.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Отвар лучей и мерзостен и жидок.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Солнце — каторжник тележный
Беспокойно стучит.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Небо — труп! Не больше!
Звезды — черви — пьяные туманом.

Правда для Давида Бурлюка существует только одна:

Правда — звук!

И Давид Бурлюк, покончивший с «лимонадными этикетками», наклеенными на животрепещущую красоту мира, обращается к звуку, которому он придает не только «цвет» (Артюр Рембо), но и «качество».

Звуки на А широки и просторны,
Звуки на И высоки и проворны,
Звуки на У, как пустая труба,
Звуки на О, как округлость горба,
Звуки на Е, как приплюснутость, мел,
Гласных семейство, смеясь, просмотрел.

Он пишет стихи, инструментованные на разные буквы. Вот, например, «Лето», инструментованное на «л», которое для Давида Бурлюка «нежность, ласка, плавность, лето, блеск, плеск и т. п.».

Ленивой лани ласки лепестков
Любви лучей лука,
Листок летит лиловый лягунов
Лазурь легка
Ломаются летуньи легкокрылы
Лепечут лопари лазоревые лун
Лилейные лукавствуют леилы
Лепотсвует ленивый лгун
Ливан лысейший летний ларь ломая
Литавры лозами лить лапы левизну
Лог лексикон лак люди лая
Любовь лавины — латы льну.

Смысловому содержанию он предпочитает музыкальное и для этого вводит выделение лейт-букв и лейт-слов, подобно лейт-мотивам в музыке, он инструментирует стихи на буквы и группы букв, и, наоборот, он сочиняет стихи без некоторых букв и даже без групп букв и т. д.

Так же жонглирует он и образами.

Но Давид Бурлюк больше разрушитель и зачинатель, чем созидатель и творец. Его сила в том упорстве и последовательности отрицания, с которыми он совлекал одну «ризу» за другой с освященных и закрепленных канонами традиций и очищал путь для творцов новой красоты, которые шли за ним.

В этом сила Давида Бурлюка и его значение.

# ВАРВАРА БУТЯГИНА.

Душа Варвары Бутягиной «всеми окнами» раскрыта «в мир», она жадно глотает в себя каждую крупинку радости, каждую пылинку солнечного счастья, что дарит щедрая жизнь.

Ее душа—«проточное озеро», через которое протекает мир во всем его великолепии, и в своей «вскрытости» и «встревоженности» она чувствует, «как бьется под плитами пробужденное сердце земли».

Раскрыты в мир все окна настежь.
За ними взморье и ветры.
Звенят натянутые снасти —
Мой белый радостный порыв.

И нет ни «завтра», ни «сегодня».
Все миги солнечным часам.
Схожу по золотым я сходням
К моим весенним кораблям.

Навстречу жизни и просторам
Лечу встревоженной душой,
А ночь по синим косогорам
Стекает мутною волной.

Не нужны утлые перила,
Взрывают воздух якоря,
Луга ночные затопила
Червонной радостью заря.

И все стихи Варвары Бутягиной рождены в этом «белом радостном порыве», на этих солнечных «весенних кораблях» молодости, свежести и непосредственности восприятия мира в его счастливые, светлые минуты.

В «лесных скитах» ее поэзии дышется легко и глубоко.

Я заточу себя в скиту,
Где за стеной не светят главы,
Найду замшенную плиту
И положу молитву в травы.

Молиться буду не крестом,
А тем, что я целую землю
В затишье скрытом и простом.
И все кругом тогда задремлет.

Природа как-то по детски, по молодому живо и радостно открывается изумленному взору Варвары Бутягиной.

Вот

Вечер прошел и присел на завалинке,
Синие тени достал из котомки.

А вот он «мышенком скребется в затихшие мысли». Вот «полночь, выпув серебряный ключик», отмыкает «золоченый ларец» и «месяц, пополам перегнувши лучи», бросает «на землю подковки», или восходит «на колокольню звезд» монахом «в серебряной скуфейке». Вот «осень жадно лижет склоны» и прячет «золотые, ржавые латы» «в туман плаща». Но пуще всех резвится в этом солнечном приволье ветер-затейник. Вот он «с веток перезвонных срывает золотой набат», а то

Ветер осенней воздушности рад
Ветер танцует с листвой листопад.
В быстром полете травинку прижал
Помнить о ней до весны обещал.

Вот он «кладет тревогу в шкатулку девичьих снов» или взбудораженный «осенней тревогой» «трезвонит на бугре» «в красный колокольчик осин».

Видение природы, ее чувствование—большой дар поэта и Варвара Бутягина им владеет в полной мере. Как тонко и чутко с'умела она, например, увидеть и почувствовать наступление осени:

Осень — пятнистая лань с золотыми рогами
В чащах и просеках бьет золоченым копытом.
В чуткой тревоге поводит большими глазами
В воздухе, листьями взрытом.

Взглянет направо, — и лист на кусте покраснеет,
Брызнут рубинами ранепых ягод кровинки.
Ветер — осенний метельщик — разместь не успеет
Нить проторенной тропинки.

Взглянет налево, — и листья в тревоге взметнутся.
Воздух потянет, — и в роще запахнет грибами.
Все до конца из далеких углов отзовутся,
Робко приблизятся сами.

Ночью луна умиранью мешает лучами.
Тихо светила проходят по звездным орбитам.
Слышишь? Пятнистая лань с золотыми рогами
Бьет золотистым копытом.

Варвара Бутягина переживает светлое утро своей поэтической жизни, когда в прозрачном воздухе четко трепещет каждая веточка, каждый листочек, каждая травинка, когда в солнечных лучах носятся золотые пылинки и кажется, что на земле нет скорби, мук и слез, что мир не знает сумерек и печалей.

Придет зрелый день, душа Варвары Бутягиной узнает всю мудрость жизни, но окрепшая в солнечной радости своей юности, она не сломится под ее тяжестью и обогащенная новым знанием и новым чувствованием мира перельет все это в новые, может быть, еще более светлые и прозрачные стихи.

# АДА ВЛАДИМИРОВА.

В «золотую осеннюю» ночь, взвихренную «мировым бурлящим» «звездным ветром» «затеплилась связь» Ады Владимировой с миром, связь, от которой родилась ее песня, звенящая горячей ширью земной радости, цветения и лучистости.

Иду вперед душистой и живой,
Крик острой радости вонзая в голубое,
И белым трепетом шумит вокруг земля,
И в гроздьях нежности застенчивое утро.

Как хорошо глядеть в упор глазам
Упрямо разметавшегося солнца,
И верить звездам, людям, всей земле,
Глотая дни голодными зрачками.

Ада Владимирова—родная дочь Елены Гуро, наследница ее песен.

В «доме на Песочной» родилась эта любовь к бесприютной, неприласканной птице—земле, это горячее приятие мира. Полной чашей излились они в стихи Ады Владимировой, такие «непричесанные», «неприглаженные», такие колючие, но такие трепещущие голодной жадностью к этому миру, который она хотела бы «проглотить» с его днями, часами, звездами, цветами и людьми.

И каждый час, молитвой дней плывет
В разгоряченной чаше поднебесья;
И каждый миг крылится и поет —
В палящий цветени ликую здесь я.

Это безграничное ликованье льется в ее песни оттого, что она

Полюбила пьяной зарей
Все часы, все дни, все года...

И Ада Владимирова знает, что она «пела, радовалась недаром», потому что под лаской ее песен

Земля перегружена спелая
И хмелем и медом и птицами,
Свернулась под теплыми листьями
Довольная, сытая, сонная.

Если мир оплодотворил Аду Владимирову этим «золотым похмельем», то и она в песне своей отдала ему свою душу.

Расплескала я песни лебяжьи
По равнинам взбегающих дней.

Под эти «лебяжьи песни», знает Ада Владимирова—,

... Уснет моя большая птица —
Песней неизбывная земля.

# ГАЛИНА ВЛАДЫЧИНА.

В мире призраков живет Галина Владычина.

Пламя. Темень. Глушь и страх.
Пляска отблесков на шторах,
Пляска трепетов в углах, —

вот мир ее поэтических видений.

Там промерцает чей то глаз,
Там кто-то встанет зыбким дымом...

Ничего сущего, реального, словно в каком-то спиритическом сне.

Кто-то в зеркало отпрянет
И кривит оттуда рот.

И если сердце слишком горячо, по человечески забьется, Галина Владычина говорит ему:

Рассыпься пеплом. Искристым песком.
Развейся дымом. Пламенем лукавым.

Поэтому немудренно, что

Густея холод лижет тело,
Нет пламени в пустой печи.

Немудренно, что ее «странный страх томя заботит».

Вся она в мучительном страхе перед жизнью, которой она предпочитает сон:

Как спит земля под стаей мглистых городов,
Душа заснула под налетом ломких мыслей,
Созвездье странное заостренных углов
На длинных нитях снов медлительно повисла.

Ее любимые слова: гаснущий, мгла, мрак, глушь и страх.

«Сквозной метелью» этих слов Галина Владычина пытается оттородиться от живого мира и кипящей в нем борьбы, отзвуки которой доносятся до нее даже сквозь плотные завесы ее сна.

Она знает, что есть «гул громов» и «бури злобное рычанье», она знает, что

Глухие тяжко рвутся громы
Над беззащитной тишиной,
За каждым выступом знакомым
Дробясь гудящею волной.

Больше того. Творческим взором своим она увидела, что

Там где ветер крутил и крутил,
Там где груды снегов выростали,
Пролегли золотые пути
Прямо в настежь раскрытые дали.

И когда на путях к этим далям закипела борьба, когда пролилась кровь на этих светлых путях, Галина Владычина почувствовала что

Что-то звонкое, яркое тлело над нами,
И душа ослепительным солнцем цвела.

Путь к этому «ослепительному солнцу» через кровавую и упорную борьбу в самой гуще жизни, а не через призрачные сны от'единения от нее — это, видимо, начинает понимать и чувствовать Галина Владычина.

# НАТАН ВЕНГРОВ.

Есть у земли нежные дети с душой, переполненной теплой лаской к каждому человеку, которому радостно или грустно в жизни, к каждому «слабенькому прутику», который «кланяется ветерку», к каждой «травке», которая «умывается веселеньким дождем», к каждой «ветке», что «жмется— плачется».

У Натана Венгрова—такая душа.

Может, оттого, что я так люблю солнце,
душа моя, как белка в сумасшедшем колесе,
над всем, над чем никто не наклонится,
мимо чего проходят все?..
Может так и надо любить солнце?..

И жизнь говорит ему, что так и надо:

Ведь нужно подойти, нужно,
по человечески, по хорошему
ко всему, жизнью застуженному,
сумасшедшими днями обросшему...

Чтоб сердце могло наполниться
чем то радостным и очень важным...
Разве дети, травы, солнце
не в каждом? Неправда. В каждом.

Так почему же—«спрашивает Натан Венгров,—если «в каждом— дети, травы, солнце, почему же жизнь все-таки так «колюча», почему же

...легко хлестануть «подлецом»,
довести до колючей дрожи,
до слез до обиды...
Но просто сказать хорошее
человеку в лицо, —
неудобно. Неловко. Стыдно.

Почему-же? Почему.

А потому, что люди на земле «непригретые», «неприласканные», заверченные в «сумасшедшем колесе» повседневности, «застуженные жизнью».

Поэтому-то нежностью к ним и теплотой полны стихи Натана Венгрова, которые он пишет,

...чтоб глазенки у Аленки
Были радостны и звонки.

Подойти к жизни «по человечески, по хорошему», узнать, что

Если заинька — деревянный,
И глаза у него — стеклянные, —
Ничего это ровно не значит:
Зайка такой и плачет,
Если он болен;
И очень смешно смеется,
Если доволен.
И сердце у заиньки бьется:
    Тук-тук. Раз-раз!
Только не слышно сейчас,

узнать и пригреть теплым стихом, этого, доведенного до «колючей дрожи, до слез от обиды», приласкать нежным словом все, что смеется и плачет на земле—разве это действительно не наполняет сердца, «чем то радостным и очень важным?»

# ДАВИД ВИЛЕНСКИЙ.

Давид Виленский не хочет, чтобы его считали поэтом из тех, которые

И нынче стонут: «Ах, в пурге Нева»...
«Ах, белые, белые ночи»...
И кто-нибудь вроде Тургенева
Дворянские гнезда строчит.

Он просто «случайный прохожий», «миллионный поэт», родившийся в «Ирбите», выросший под молитвы няни «Фелицаты Петровны», а ныне проживающий «по улице Гоголя, № 12».

Ему «тяжко» от того, что поэта хотят обязательно выделить из человеческой гущи, в которой так радостно просто и по-праздничному весело живется.

Зачем наблюдений выси,
До которых доходят редко, —

спрашивает Давид Виленский,—

Лучше слепо и немо
Топтать страниц тротуары,
Намазав дешевым кремом
Ботинок старый.

Ведь,—вы не думайте,—ведь и

Философы — Ницше,
Жан - Жак,
Если не френч и не бриджи,
То носили штаны и пиджак.

Чем больше поэт будет «топтать страниц тротуары», чем крепче прижмется к земле, чем теснее прильнет к жизни, тем ярче загорится слово поэта, тем больше его стихи будут «на праздники похожи». Тогда поэт будет «такой же нищий» и в то же время—«первый из первых богач», тогда его «безделицы» будут «всех сокровищ ценней», тогда его сердце забьется радостью творческого постижения жизни, тогда каждую «малую лужицу» он примет «за море».

И каждая буква до ижицы
расцветет в поэму.

И Давид Виленский не уходит от жизни, от земли, творческий взор его прикован к ним, он отвернулся от неба, которым его смущали с детства, он понял, что истина не на небе, а на земле, что превращение «будней» земли в сплошной «праздник» придет не от Христа и Иеговы, он понял, что

Дремать
Под пологом едких минут, —
Позабыв распыленный канун —
Нельзя.

Нельзя.

Около — Россия,
Революция,
Ржаные колосья надежд...

Ливнем истины льются
В изумленные ведра вежд.

Давид Виленский зажегся революцией потому, что почуял в ней «молодую затею», которая встряхнет старушку-землю, вольет в ее одряхлевшие вены бодрую, здоровую, горячую кровь.

Всякая молодая затея
Меня жадно гложет,

говорит Давид Виленский, и в его стихах эта молодость брызжет в каждой строке, в каждом слове, которое он также хочет оживить, оздоровить, сбить с него мертвую шелуху, наросшую от каждодневного употребления.

Ему порой хочется совсем «не родившихся» слов, и тогда он затягивает «Молитву Дикаря»:

Красное вз'едает глаза,
Красные вижу лица,
Красная всюду гроза, —
Будем на красную птицу
Молиться:

Ы - А - У - О - Е
Хадса Кидса
Крылом разметает
Монгвалла птица

Слепые тучи,
Глухие дали
Луалло рвучи
Улинди али...

Ы - А - У - О - Е
Кидса Хатса
Монгвалла взвоет,
Начнет метаться —
Кровавым клювом
Прорвется к солнцу
Исхабо люва
Луллото хонцу...

Ы - А - У - О - Е
Молодо.
Бодро
Просторно
Светло».

И вся поэзия Давида Виленского также «молода, бодра, просторна и светла», как и эта молитва дикаря.

Земля пронзила его «жутью и страхом», которые и просветлили его душу:

Я скатился струей на плаху,
Что землей зовут много лет —
И вот от жути и страха
Я сделался светлый поэт.

# АЛЕКСЕЙ ГАСТЕВ.

Поэмы Алексея Гастева—железо-бетонные могучие мечты о новом человеке, который «родится в усилиях железных, взойдет и возвысится, гордо над миром взовьется, вырастет новый, сегодня незнаемый нами, краса восхищенье, первое чудо вселенной, бестрашный работник—творец-человек».

Эти поэмы говорят о будущем мире, где затрепещет «мировое сердце» человека-творца, человека-строителя, бившегося века в подневольном труде, залившего мир своей кровью во имя лучшей жизни и сделавшего, наконец, «весь земной шар своей родиной».

«Это я двести лет тому назад бил и разбивал машины... Я отчаивался тогда и бросался на отточенные резцы машин, крошил их, но и сам бился в тисках металла.

Это я сто лет назад залил улицы мировых городов своей кровью и развертывал знамена со словами восстания и мести.

Это я же бился потом и терзал свое собственное тело по ту и по эту сторону границ.

И теперь я, и уже-как будто вновь рожденный, иду и строю. Все проходит через мои руки и орудия. Создаю виадуки, дороги, машины, микроскопы. Через пульс моего станка и штрих моей пилы я ощущаю самые сокровенные мысли.

Я—носитель беспощадного резца познания.

Всюду иду со своим молотом, зубилом, сверлом. По всему миру... Шагаю через границы, материки, океаны. Весь земной шар я делаю родиной...

Умерло мое вчера, несется мое сегодня и уже бьются огни моего завтра»...

Он вырос из железа, этот новый человек, он сам «стал стремительным, размашистым и сильным», как железо, в его жилы влилась новая, горячая, «железная кровь», оттого так уверен его шаг в будущее, оттого так могуча его вера в победу и оттого живет в нем такая ненависть к старому миру и любовь к будущему, новому, творимому своими руками.

Мы согреем, мы осветим, мы зажжем всю жизнь весной,
Мы прокатимся, промчимся по земле шальной волной,

Мы ударим!
Приударим!
Мы по льдинам,
По твердыням,
Мы... Да что тут говорить? —
Беспощадно зиму будем мы разить и хоронить!

И на месте скованного зимой мира взлетит к небу новое чудо из стали и железа, новый «дерзостный башенный мир», где вещи будут жить рядом со своими творцами равной с ними жизнью.

«Бетон, это—замысел нашей рабочей постройки, работою, подвигом, смертью вскормленный.

В бетоны впились, в них вросли, охватили огнем их, железные лапы—устои.

Лапы взвились, крепко сцепились железным об'ятьем, кряжем поднялися кверху и, как спина неземного титана, бьются в неслышном труде—напряженьи и держат чудовище—башню...

На лапы уперлись колонны, железные балки, угольники, рельсы.

Рельсы и балки вздымаются кверху, жмутся друг к другу, бьют и ловят друг друга, на мгновенье как-будто застыли крест на крест в борьбе и опять побежали все выше, вольнее, мощнее, друг друга тесня, отрицая, и снова прессуя стальными крепленьями.

Высоко, высоко разбежались, до жути высоко, угольники, балки и рельсы; их пронзил миллион раскаленных заклепок,—и все что тут было ударом отдельным, запертым чувством, восстало в гармонии мощной порыва единого сильных, решительных, смелых строителей башни».

В этих гигантских поэмах новой красоты и труда, Алексей Гастев воспевает живые вещи; рельсы, что «всюду прошли, залегли, пробежали, кругом опоясали землю», исполинский кран, который «слился, спаялся, нашел в себе новую каменную металлическую кровь, стал единым чудовищем с глазами, сердцем, душой и помыслами», кран, который будет укреплен магнитными токами в «эфире» для того, чтобы сдвинуть с места «неудобно посаженную» землю, он воспевает молот, что вгонит в «пропитанную новой волей», «безбоязненно-гордую» землю «двадцати саженные огненные колонны», на которых будет построен Великий «Рабочий Дворец».

Все поризведения Алексея Гастева—одна трепетная, бунтующая вдохновенным огнем мысли и творчества, мечта об этом великом новом царстве освобожденного, могучего труда.

«Я еще задыхаюсь от этих нечеловеческих усилий,—говорит он,—а уже кричу:

— Слова, прошу, товарищи, слова!»

«Говорить бы скорей,—рвется его, онемевшая от веков молчания, душа,—рассказать, все поведать, ринуться в море людское, призвать, слово новое дать, воскресить схороненные сердца порывы и к шуму и к звону людскому скорей, как приливу весеннему гнаться».

В мире началось «грозное действие», и, конечно, старое слово, которое годилось для изображения чувств не способно передать дело, оно неспособно выразить его неизведанныей еще ритм и неслыханную музыку.

А. Гастев ищет «новое слово». В «Пачке ордеров» он дает «либретто вещевых событий», где в коротких обрубленных фразах—ударах—приказах, в отдельных буквах и цифрах пытается уловить ритм нового мира, который требует этого «нового слова»:

«Наши создания—башни, рельсы, виадуки подняли гул:—Мы просим слов, слов новых, вековечных, железных».

И творец нового мира найдет это слово и включит в него весь трепет, все биенье его новой и могучей красоты.

# МИХ. ГЕРАСИМОВ.

В семнадцатом году «октябрь расцвел весной» для всего рабочего класса и «постучал в околицу» рабочей поэзии, вызвав ее на широкие раздолья жизни из темных подвалов и душных, мрачных тюрем, где пробивались слабые ростки ее.

И «железные цветы» ее расцветают везде, где стучит молот кузнеца, визжит рубанок столяра и блестит штык бойца.

Я не в разнеженной природе,
Среди расцветшей красоты,
Под дымным небом на заводе
Ковал железные цветы —,

говорит Мих. Герасимов и этим определяет разницу между этой новой поэзией, родившейся под шум станка, и той, которая цвела среди «разнеженной природы».

Новый поэт приходит к природе не как наблюдатель, не как художник, ищущий натуры, а как свой, родной, равный.

Мих. Герасимов называет березу «невестой», а липу «сестрой». Для него природа живет той же жизнью, которой живет он сам, которой живет все окружающее.

Здесь «осень тоскливо бродит по селу», туман «зализывает раны» «рябин» и «умирающих берез», «окровавив лапы рдяно о раны листопадных лоз», здесь «коленопреклоненный сад» «горько горбится» под ношей «осеннего вечера» и т. д. У Мих. Герасимова так же живет и действует вся природа. Вот у него.

Сияет месяц розой
На стебле журавля.

Вот весна

Цветное платье зацепила
На расцветающих кустах.

Вот

Сугробов белых щеки
Румянила заря,
Ресницы рек — осоки
Мерцают и горят.

Вот стоят

В пушистых шубках хаты

Вот «травка пушистыми лапками смахивает с холмиковых щек», «чьи то слезы»—«белый и душистый сок».

А вот

Завод вонзил два рога
В седое брюхо туч.

Но это особо. Завод у Мих. Герасимова живет особой жизнью. В заводе для Мих. Герасимова воплощено все многообразие земных радостей и страданий, надежд и разочарований, любви и ненависти, побед и поражений.

Это Мих. Герасимову было сказано:

Ясный отрок напрасно
В полночь глухую грустил.
Войди в завод мой красный
И будешь душою цвести.

Для завода Мих. Герасимов находит, как для возлюбленной, самые нежные образы и сравненья.

Не вызывающий, не резкий
Мотор за спинами людей,
Звенят гудение и всплески
Купающихся лебедей,

Шуршат приводы и машины
Чуть слышны шумом камыша,
Вздыхают вешние вершины
И с ними шепчется душа.

Душа, мерцающая плещет
Фонтаном золотых стихов,
И белым лебедем трепещет
Огонь в зубах колосников.

Таинственно на знойных плитах,
Где горнов голубой туман,
Сияньем стали перевитый
Девический склонился стан.

Можно ли быть более нежно, более трепетно влюбленным, чем Мих. Герасимов в свой завод? И эта любовь тем глубже, тем сильнее, что от завода поэт видел не только ласки, но и муки.

И понятно, что и живую свою любовь он рядит в те же «железные» наряды.

Его Беатриче—«у станка», его любовь—«под сверлильным станком», руки его возлюбленной, «как пламень в топке ласкают обугленную душу», она «на токарном станке страданий» точит его душу, они связаны одним «приводным ремнем».

Завод научил Мих. Герасимова своему своеобразному языку. И недаром он говорит, что

...писал на листах котельных,
Макал в вагранку трубу,

что он

Обрызган искрами металла,
Крещен в купели чугуна,

что он

...растопил кровью железной
Пласты залежалых слов.

Это конечно, так. В одряхлевшие сосуды старой поэзии он влил горячую «железную кровь», «залежалые слова» и образы русской поэзии он перелил в раскаленном горне завода.

Завод передал поэту не только свой рабочий язык, но и свою рабочую психологию.

«Порывом вольным с солнцем спаян», завод позвал его к «коммуне мировой».

И когда эта «мировая коммуна» замедлила свою железную поступь, а русская революция обернулась к поэту своими буднями, в которых он увидел «совбурских дам», «в искрящихся шелках», «с карминными губами», душа Миг. Герасимова вскипела «черной пеной», он снова бежал от них в колыбель своей поэзии—на завод, чтобы переплавить эту «черную пену» «на заводском костре».

И он, конечно, переплавит эту «пену» в крепкую сталь.

Завод, вскормивший и вспоивший его «железную» песню, поможет ему в этом.

# ЭММАНУИЛ ГЕРМАН.

Эммануил Герман нашел радость в том, чтобы «увидеть жизнь, когда она нагая», не прикрытая фиговыми листками теорий, философских построений и схоластических схем.

Когда же жизнь взглянула в лицо поэта «медузой» бурь и гроз, он сказал себе:

Скрывши лиру, блуждай в толпе с ней.
Выжидай тишины, дежуря.
Ты споешь им о буре песни,
Когда минует буря.

И стал заносить в свои «тетради», на которые «пала копоть» от пожара, об'явшего землю, легкими, любовными и слегка, по любовному, насмешливыми штрихами «стихи о России».

Эммануил Герман пустил свою Музу—«смуглокожую гречанку» (а она несомненно сродни древне-греческим музам, как и веселой музе Пушкина, которого Эммануил Герман очень часто вспоминает с горячей любовью и преклонением), он пустил свою музу в «скитания» по России, которая была, которая есть и «которая будет».

Пробегают столбы, полустанки,
Промелькнуло усадьбы крыльцо...
У моей смуглоокой гречанки
От жары запотело лицо.

Ясноглаза, стройна, смуглонога,
Ты глядишь в наплывающий мрак,
И ведет вековая дорога,
То на тихий погост, то в кабак.

Вязнут ноги в сетях павилики,
Труден путь в чужеземном краю.
Ты меняешь, лукавая, лики,
Но тебя я во всех узнаю.

В этих «скитаниях» поэт вспоминает о древней Руси, у которой

Легли узоры Византии
На ханом даренный халат,

которая наградила Россию «державным сифилисом Петра», что «бродит досель» в ее «бескрайнем чреве», вспоминает о

Москве татарской, чуть мужичьей
И офранцуженной слегка,

о Петергофе, «позолоченном ногте»,

На корявой мужицкой руке,

о России последних, предреволюционных лет, где

Веселье вольное запретной вечеринки.
В столице нищенской надменно пышный трон.
Парады. Ярмарки. Остроги. Храмы. Рынки.
И — колокольный перезвон.

И вдруг

... И Лазарь встал! Где чудо резче?
Неверьем мертвых крепок склеп.
А ты, вчера — провидец вещий,
Сегодня — нем, сегодня — слеп.

. . . . . . . . . . . . .

Стихают вьюг полярных вопли,
Восходят розы из-под мха...
Так! Полюс Северный растоплен
Пыланьем сердца и стиха.

И вот первые дни революции встают перед «скитающейся музой» Эммануила Германа.

На опрокинувшемся троне
Мятеж улегся, смел и груб.
И чернь веселая хоронит
Колосса рухнувшего труп.
Орлов растоптаны останки...
... А царь в вагонное окно
Прочел на скучном полустанке
Слегка насмешливое: «Дно».

А потом? А потом

Смолкает ружей перебранка.
«Ура»! Свершился гордый сон.
И царский камергер Родзянко
Выходит — к черни на балкон.

Но «муза», дальше. И вот уж

В седом Кремле, где инок истов,
Слова молитв заглушены —,
Вопит призыв социалистов
С полуразрушенной стены.

. . . . . . . . . . . .

... Нынче Кремль по новому священен
Седой толпе: в нем правит службу Ленин,
И заседает Совнарком.

. . . . . . . . . . . . . . .

И четок вензель: Р. С. Ф. С. Р.
Над вензелем последнего Второго,
И в «Москве Петра, Москве стрельца», «беседуя, Наркомы»
Выходят с Красного крыльца.

Мчась все дальше, все вперед, любопытная «муза» заглядывает в «Россию, которая будет» и видит, как

Под вялым солнцем русской лени
Встает, сбиваясь и спеша,
В крови зачатых поколений
Преображенная душа.

Много говорилось и писалось о России, но никто не отдавал себя ей так, целиком, как Эммануил Герман. И если кто хочет подумать над Россией, как то по новому взглянуть на нее, как то по новому полюбить ее, пусть побеседует с музой Эммануила Германа, шаловливой, но таящей в себе глубокую и светлую мудрость.

# БОГДАН ГОРДЕЕВ (Божидар).

Богдан Гордеев умер почти юношей, но в немногих его стихах он остался для нас жить стариком.

«Ущербное сердце», «утомился от волненья»...

Холодно в моросящей мокреди,
Холодно в тени будеп.

. . . . . . . . . . . . . . .

Я слезами изойду на землю все ту же,

и т. п.

Может быть это было старчество юности, т. е. старчество еще не искушенного ума, отступающего в растерянности перед диалектикой жизни, ума, принимающего часто «антитезу» за «тезу» и надламывающегося почти у порога «синтеза».

А что Богдан Гордеев был на пороге «синтеза» ясно из того призыва, которым он закончил свою жизнь.

В стихотворении, написанном за две недели до смерти (он умер 7 сентября 1914 г.) мы находим такие строки:

Брызни красною сутью живительной
В круточные стремления затени,
Затени, затени губительной.

Но «красная суть» жизни не успела вырвать его из «затени губительной», он достался смерти, той смерти, которую он несколько ранее считал своей спасительницей.

Вея неведомой мерностью
Смертью дух мой обуглился,
Вздымится верной верностью
Избудутся будни и улица.

Говорить о поэтических достижениях Богдана Гордеева не приходится— слишком мало его наследство, но и в десятке напечатанных им стихотворений мы находим такие строки, как

Плавные плыли линючие тучи —
Лебеди бледные ветрьяго озера.

И даже такое цельное стихотворение, как «Уличная», из которого мы привели уже последние четыре строки («Вея неведомой» и т. д.), и в котором есть еще такая строфа:

Скука кукует докучная
И гулкое эхо — улица.
Туфельница турчанка тучная
Скучная куколка смуглится.

Пользуясь поэтовой терминологией, можно сказать, что от «поэтизма» (искусства, лишенного познавательного начала) и от «поэтничанья» (нарочитой познавательности в искусстве) Богдан Гордеев подходил уже к подлинной поэзии, крохи которой мы находим в нескольких стихотворениях, оставленных нам жестокой смертью.

# ВАЛЕНТИН ГОРЯНСКИЙ.

Валентин Горянский не открывает новых миров, не ниспровергает старых, его слово не врезается глубоко в толщи мировых вопросов. Он—поэт богемно-мансардного уюта. Но какие теплые слова и настроения умеет находить он в этих ограниченных пределах!

Отогнулся одеяла край,
Целую душистые, теплые коленки,
— Лентяйка моя, вставай!
Какие вкусные сегодня на сливках пенки...

Но ты спишь, ты так хороша,
Жалею твой сладкий сон прогнать я,
Переступая тихо и еле дыша,
Привожу в порядок твои милые платья...

Ну, что мне делать только с тобой?..
На стол письменный, на серьезные книжки
Брошен лифчик твой голубой
И смешные твои штанишки.

Великого Пушкина гипсовый бюст
Украшают твои милые подвязки,
Но мне кажется, что с его добрых уст
Сейчас сорвется нежная улыбка ласки...

Я знаю, простит великий поэт
И меня, и мою маленькую Мушку...
Не потому ли приветливо солнечный свет
Упал на ее измятую подушку?..

Валентин Горянский знает, что вещи могут жить такою же глубокой жизнью, как и все вокруг, что «смешные штанишки» и «желтые подвязки» так же полны настроения, как и душа этой маленькой «Мушки» и так же могут служить источником поэтического вдохновения и любования.

Валентин Горянский предпочитает милый уют земли высокому парению в небесах. Книгу свою он назвал «Крылом по земле». Он не обманывает ни себя, ни нас, «высокими» словами. Ведь он знает во что обращаются вдохновенные строки поэта и с мягкой откровенностью говорит об этом:

...И если напишется удачное,
А как же иначе, когда я люблю —,
Я куплю тебе платье дачное
И нарядное манто куплю...
Еще шляпу на свои песни я
Подарю милой моей,
Чтобы она была всех интереснее,
И чтобы все улыбались ей...

Этот «комнатный» масштаб Валентин Горянский выносит и за пределы своей мансарды. С ним он подходит и к природе. Это не значит, что он не любит ее или не чувствует.

Кто сказал, что я живу, природы не чуя —,
Тот меня напрасно обидел.

Но чует природу он по своему, по «комнатному».

Есть у Валентина Горянского какие то особые «комнатные» слова, сравнения и образы. Все в мире кажется ему таким близким, знакомым, своим, таким родным и теплым.

К утесу тихо волна приляжет,
Взметнет накидкой кружевною.

Или

Стволы на липах, что голенища новые...

Солнце чувствует себя на небе по «домашнему».

Ласково причесало золотой гребенкой —
Солнце причесало далекий лес...

И еще лучше:

А солнце бросало и янтарь, и коралл,
И пекло в небе облачные баранки...

Вероятно сам Валентин Горянский, как и его Васютка из стихотворения «На дворе», искренно верит, что сообщение с «Богом» возможно только через водосточную трубу. «Ему—Васютке—хуже всех...»

Вот и нужно через водосточную трубу,
Вставши на колени, снявши шапку,
Пожаловаться Богу на сиротскую судьбу,
Помолиться за себя, сестру и пьяного папку...

Солнце похоже на Мушку, также причесывается гребенкой и печет баранки, а «Бог» так близко, что можно через водосточную трубу сказать ему о своих горестях больших и маленьких; чаще, конечно, маленьких, потому что особенно больших и не бывает в теплом и уютном мире Валентина Горянского.

Таково поэтическое постижение мира Валентином Горянским.

В стихотворении «Март» в весеннем томлении спрашивает он растерянно:

Чье же сердце зажгу я пожарами?

Вероятно сам он чувствует, что пожара ему не зажечь ни в одном сердце.

# НАТАЛИЯ ГРУШКО.

«Я—Ева», «Я—женщина», «Начало Всех Начал» заявляет Наталия Грушко.

И палачи мои, то жалкий раб, то царь,
А жертва — я сама, любовь моя — алтарь.

На этот алтарь принесла Наталия Грушко свое творчество.

Она прошла через все века, «отразила» все «лики»:

Вот я иду в веках — то скорбная Агарь,
То гордая Юдифь, с мечом в поднятой длани,

то Мессалина, вокруг которой «до зари звучали страсти стоны», то «маркиза», которой в Трианоне «украдкой принцы шептали»: «да—или нет», то «жена воеводы», что «ест калач и спит на перине пуховой», то «крестьянка», рождающая «первого Иванушку» в поле, на сенокосе, то «старая дева», что «состарилась без страсти, без побед», то гордая «лэди», вспоминающая что

Улыбаясь толстыми губами,
Юный негр склонился предо мной,
Это было где-то в Иокогаме,
В тихий вечер пыльно-дождевой,

то «танцовщица из Севильи», в которую «старик-король влюблен», то «черноокая гитана», кружащаяся «в пляске бурно-огневой», то «балерина», мчащаяся по сцене

В диагональном fouetté,

то «Шехеразада», прячущая свое лицо «за тысячу сказок», то «султанша», которой «падишах, улыбаясь, бросил платок», то «девочка», влюбленная,

В грозу, в себя, в ночной туман.

И во всех ликах в ней неизменно трепещет, то «грешная», то «святая» любовь.

Недаром в день об'явления войны она сочиняет стихотворение, в котором под многозначущим заголовком «1914 год» рассказывает, как она «в пенно-белой, прозрачной тунике», «курила с другом гашиш».

Там, за окнами, город взволнован,
Говорят — в целом мире война...

Бедный друг мой уже околдован,
Я печальна и гневом пьяна.
Тонут жизни ненужные звуки
В древней сказке индийских ковров,
Кто-то взял мои тонкие руки —
Это больше чем страсть и любовь.

Недаром в 1922 году она приветствует «новую эру» такими строками:

Дорогу сильным! Пусть льются слезы,
До пьяна землю напоит кровь,
Еще прекрасней и ярче розы,
Еще безумней зовет любовь.

И недаром ею овладевает иногда мечта—«кобылицей носиться по лугу».

И, купаясь в сочной ласковой траве,
Солнца пьяные лучи в себя впивать,
И, глядя как ястреб кружит в синеве,
Вдруг призывно и заливчато заржать;
Насторожив уши, слушать топот ног
Молодого, вороного скакуна...

Здесь пафос Евы—женщины уже переходит в пафос самки; в пафос растительных, животных сил природы, бьющихся в ее молодой и горячей крови.

# ЕЛЕНА ГУРО.

Правда в искусстве только одна—это правда перед самим собой. Ни слова лжи или лицемерья, никаких правил или уставов.

Творить из себя, из мельчайших крупинок своей души создавать легенды, все раскрыть, обнажить и запечатлеть в судорожном слове, зажечь свою душу гордым безумием полной вскрытости, говорить только своими словами и творить своюкрасоту—такова правда Елены Гуро.

Сколько душ, сколько, может быть, гордых, горячих, живых и трепетных душ, что могли звучать и петь, гореть и творить, замолкло в цепких лапах узаконенной формы, в безнадежных тисках запротоколенных уставов.

«Земля, скажи, почему одна душа смолоду замолкнет,—пишет Елена Гуро,—а другая душа поет, поет о тебе...

Как это так, живет, красуется и вдруг замолкнет и живет без голоса, точно ей уже нечего сказать во всю жизнь»...

Как же им жить, как же петь, как искать растерянную на пыльных дорогах жизни красоту, когда уставы и сила скопческой традиции, закоренелость во лжи и власть старых слов наложили на них печать молчания?

Елена Гуро взглянула на раскинувшийся перед ней в своей гордой чистоте мир другими глазами, она прикоснулась к нему своей трепещущей душой и сказала:

— «Здесь я даю обет: никогда не стыдиться настоящей самой себя!»—

И сразу очистилась ее душа от всей накипи привычных слов и открылась миру во всей своей нетронутости и чистоте, сразу спала пелена с ее глаз и она увидела мир «простым и ласковым, как голубь». Елена Гуро поняла вечную правду искусства, единственный нерушимо вечный канон его: высказать самого себя миру, высказать в судорожных словах свою душу, трепещущую от боли и радости истинного постижения жизни, истинной любви к ней.

«Я всегда люблю. Вы знаете какая может быть любовь? Она может быть везде и не в одном образе. Она тогда осеннее солнце. У нее право все прощать. Когда я так люблю, мне иногда кажется, что она проливается

сквозь меня в мир потоком сияния... И когда так любишь, так счастливо. что хотелось бы спрыгнуть с обрыва и разбиться».

Какой судорожный восторг души, которая истекает в мир сиянием любви! Разве не так же звучат те надрывно-нежные слова, которые вложил Ф. Достоевский в уста любимого своего героя, Льва Мышкина? В них говорится про такую же любовь, которая проливается в мир потоком сияния:

«Я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его. Говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его. О, я только не умею высказать,.. а сколько вещей на каждом шагу таких прекрасных... Посмотрите на ребенка, посмотрите на Божию зарю, посмотрите на травку, как она растет, посмотрите на глаза, которые на вас смотрят и вас любят...»

Замечательно, что то состояние, в котором бедный князь сказал эти слова, по признанию самого Достоевского («Дневник Писателя») отличалось тем, что душа его в этот момент внезапно озарялась отсветом какой-то новой, неведомой доселе правды, когда мир открывался больному взору души с непостижимой ясностью, во всей своей осиянности и красоте.

Вся короткая, неприласканная жизнь Елены Гуро—была одним таким длительно-жгучим моментом внезапного откровения. Она беспрерывно находилась в состоянии такого судорожного постижения жизни через свою любовь ко всем и ко всему.

Вот почему все на земле ей близко, все ей родное, за все болит ее теплое сердце, за все исходят слезами большие грустные глаза, все неприласканное в жизни, все больное, застенчивое, все «не тронь меня», как и все радостное, счастливое, упоенное сиянием солнечных лучей и звездным тихим мерцанием,—все отзывается в душе ее сладкой и трепетной болью.

«Боль, когда сердце любовью разрывается в пространстве—к дереву, вечеру, небу и кусту. И любит, потому, что не любить, что не любить оно не может...»

Отбросьте на миг рабскую привычку укладывать все в рамки раз установленные и закрепленные силою традиций и повторений, отбросьте нудные, намозолившие душу штампы, вверьтесь хоть раз порывному голосу вашей до дна встревоженной души и назовите мне еще одного поэта, у кого выговариваемое, запечатлеваемое в слове, так безраздельно, неразрывно сливалось бы с передаваемым, у кого факты жизни так неразличимо превращались бы в живые факты слова, превращались бы так полно, так убедительно живо, что самая грань между ними становится несуществующей.

И потому то такой детской нежностью переполнено сердце Елены Гуро к бедному Рыцарю Печального Образа, долговязому дворянину из Ламанча, что и он, как она сама, не с'умел в гордом безумии мечтательства своего удержаться на этой очарованной грани и в творческом дерзании своем поверил в действенную силу слова и хотел претворить его в жизнь

Потому то так нежно прильнула она душой ко всем ее «небесным верблюжатам», этим долговязым чудакам, таким неловким, угловатым и застенчивым.

Ах, чудаки вы милые, Дон-Кихоты наших серых будней, в ваших голубых глазах отразилось небо, потому что к выси его всегда запрокинута ваша голова, в мыслях ваших одно неустанное стремление к звездному полету, в душе вашей одна любовь, чистая и нежная ко всем, даже к обидчикам вашим, не понимающим вашей чистоты и нежности, смеющимися над вашей милой растерянностью и нелепостью.

... «На них щиблеты кажут ушки, панталоны вытянулись на коленках, а веснушки неуместно садятся на нос»...

Ну, вот подиж ты!.. А Елена Гуро полюбила их, приютила в своем сердце и усыновила их. Ведь это она выдумала себе сына, придумала ему имя, описала его нежно и грустно, даже книгу ему посвятила, ему, этому несуществующему сыну. Есть ли в русской литературе еще одна такая же трогательно прекрасная легенда? В этом рождении сына в мечтах сказалась вся Елена Гуро с ее способностью сливать воедино жизнь с творчеством.

И все равно, даже если сына и не было, все, что страдает и бьется здесь, на земле, все будет ей сыном, все пригреется на ее материнских руках, у ее теплого нежного сердца.

«Мне иногда кажется, что я мать всему.»

«Мать всему»—в этом пафос Елены Гуро.

Лучшая ее книга «Небесные верблюжата» вся проникнута этим пафосом материнства ко всему: к жизни. к одиноким людям, к веточке, травке, ко всему, что неприласкано и не пригрето на земле.

«Как мать закутывает шарфом горло сына, так я следила вылет кораблей ваших, гордые создания весны», говорит в начале книги Елена Гуро.

И в самом конце она повторяет:

«Видите ли, у меня нет детей—вот, может, почему я так нестерпимо люблю все живое».

«Нестерпимая любовь ко всему живому», к застенчивым—«верблюжатам», которые на людях неуклюжи, нелепы—а по «зарям»—пишут стихи и

молятся высоким елкам, любовь к этим елкам высоким и тонким, которые зовут к чистоте и верности, любовь к морю, которое отвечает ей своей «застенчивостью и лаской».

Своим сердцем, во все поверившим, все полюбившим она обнимает Васю, которого «год за годами лишали весны», лишали «звездочек лиловых в весеннем лесу, желтых бабочек утром, ромашек веселых, как солнышки в море земного травяного сока», она обнимает и жалеет сосну, у которой «разложили костер на корнях» и «выжгли сердцевину», она обнимает и любит бесприютного человека, который в дождь и холод «от горя забыл войти под крышу» и мок под «толстыми струями, лившими на него, пританцовывая и смеясь», она обнимает и любит всех рыцарей печального образа, которых били для того, «чтобы были приключения», чтобы «читать смешно», которым «худо в книжках», потому что «книжки лгут».

Елена Гуро своим словом живым от нежности приласкала этих одиноких «детей земли»: и Васю—«небесного верблюженка», и сосну,—клич к чистоте и искренности—и промокшего человека—бесприютную птицу, и Дон-Кихота, о котором Елена Гуро мечтает: «вдруг он в этом состоянии (слетевший с крыла мельницы) попал бы к русской Мавре, к настоящей нашей полевой русской Мавре, уж она ему бы примачивала, перевязывала, приговаривала:

— «Ах ты, мой болезный! Эх ты, роженый! Тебя тоже мать родила, сосунка глупого качала, горя не знала, а ты квакал, да сосал, да гулькал!»

Такая Мавра, которая приголубила землю и все, что на ней—сама Елена Гуро. Она сама стала Дон-Кихотом, беспомощным рыцарем печального образа, который смирился под ударами и колотушками и стал просто добрым безобидным мечтателем:

— «Нет, я не рыцарь! Вы образумили меня, я ведь знаю, теперь уже я не безумец гордый—я просто Алонзо Добрый».

Сколько их, этих Алонзо развелось в тяжелых сумерках до-октябрьских дней и всех их Елена Гуро приютила в своем сердце, богатом рыцарством безумия.

«Это был мой сын»—говорит Елена Гуро про того, который умер, промокнув под дождем.

«Да, это же был мой сын, мой сын»—кричит она про того, у которого отняли «голубые небесные луга с белыми утренними барашками и вместо всего мира дали на всю жизнь темный сырой, каменный ящик» за то, что ему пришлось с м е т ь в то время, как все кругом слишком много умели.

«Это же было мое дитя, мое бедное, выброшенное из дома в тюрьму,

дитя», причитает она про третьего, которого бросили в такой же темный каменный ящик только за то, что он посмел жалеть и любить.

И больше того. Всех, «с кем это сбудется», она любит, как сына.

Вы понимаете всю безумную красоту этого всечеловеческого материнства? И не только всечеловеческого, но и вселенского.

Потому что не только живых на земле готова Елена Гуро «примачивать и перевязывать». Для нее живо все: и вечер, и сосна, и дальняя веточка березы, и ветер, и горсточка песку, и солнечный «зайчик» и скамейка, да, простая скамейка в саду.

«Когда ветерок такой теплый, так
его хочется собрать в горсточку —,
ветерок мой ветерок...»

Или в другом месте:

«Облако мое милое,—облако мое милое, ласковое,—небесно-белый теленочек—сонный небесным сном...»

И еще:

«Ты моя радость.
Ты моя вершинка на берегу озера.
Моя струна. Мой вечер. Мой небосклон.
Моя чистая веточка в побледневшем небе.
Мой высокий—высокий небосклон вечера».

Откуда берет Елена Гуро теплоту этих весенне-нежных, весенне-радужных и солнечных слов?

«От счастья летнего,—говорит Елена Гуро,—рождаются слова!»

Да, такие слова могут родиться только в сердце, переполненном могучим счастьем бытия и непереживаемого ощущения солнца вокруг и в самой себе, «летним счастьем», от которого все вокруг становится беспомощно—детским и так хочется «собрать все в горсточку» и принежить, приласкать.

Жил был ботик - животик,
Воркотик,
Дуратик,
Котик пушатик,
Пушончик,
Беловатик,
Кошуратик,
Потасик.

Нелепо? Таких слов нет? А за то неужели вы не чувствуете, как от этих слов у вас, где то глубоко-глубоко, зарождается вдруг сладкая струйка легкой боли и нежности. Это сама жизнь заговорила с вами своим языком. Эти слова рождены творческим мечтательством, творческим строительством жизни. И в этом мечтательстве, как и в материнстве пафос Елены Гуро.

Это не то слюнявое мечтательство, которым кормили нас последнее десятилетие, это вдохновенная мечта, рождающая новые миры:

«А не знаешь,—говорит Елена Гуро,—что от единой мечты твоей родятся бури. А не знаешь, что от иной единой чистой мечты родятся бури».

Да, бурю новой жизни хочет пожать Елена Гуро, сея свою мечту.

«От моих песен люди станут лучше. Оттого ли, что в моих песнях будет вот эта стройная сосенка? Розовый прозрачный вереск, такой чисто-розовый, что никто не может не любить его? Если очень полюбить стройную вершинку, можно ли затем кого нибудь обмануть?»

И вздыхает тихо:

«Полюбят ли люди мои песни? Полюбят ли мою сосну?»

Сама же Елена Гуро полюбила мир и его детей всей своей трепетно-отзывчивой душой. Да и как же иначе?

«Теплыми словами потому касаюсь жизни, что какже иначе касаться раненого? Мне кажется, что всем существам так холодно, так холодно...»

В сумерках холодных безмерных пространств живет большой, неприласканный ребенок—это мир наш, седой, усталый мир с его людьми и людишками, человеками и человечишками, запутавшимися в мелкой сети бессмысленных противоречий, мелкой злобы и суеты, потерявшими в базарной толкучке каждого дня последние крупицы подлинно-человеческой души, затаскавшими понятия—добро, свет, истина—как старую ветошку.

Но ведь «мир прост и ласков, как голубь и если б его приголубили он стал бы летать».

И Елена Гуро прижала его к своей груди, приласкала, сказала несколько ласковых слов, несколько нежно-нелепых, бессмысленных внешне слов, и затих ребенок—мир усталый, он еще может отдохнуть и воскреснуть. В этом значение поэзии Елены Гуро, в этом ее красота, одною ею созданная, одной ей принадлежащая.

Чужой же красоты ей не надо, общих дорог она не знает. Что за подвиг идти по дороге, хотя бы и прямой и широкой, но проделанной чужими руками и протоптанной чужими ногами? Пусть ноги подкашиваются от боли и усталости, пусть руки ободраны цепкими колючими ветками, но путь Елены Гуро свой, ее душой открытый, ее любовью расчищенный. Может быть не

всегда ей удается выполнить свой обет, но об этом ее неустанная и горячая молитва:

«Боже, что-б не заниматься мне вечно чуждым, не сыпать чужих красивых слов, да еще со слезами энтузиазма в глазах!

Помоги мне! Ведь это самоубийство!

Боже, избавь меня от чужой красоты, я же в глубине прямая и горячая. Зачем синий, нежный в траве уйдет не обласканный, его красота невыносима—весенняя, уйдет не запечатленной,—жертва времени и чьей то плоскости, а я останусь виноватой со слезами чужой, холодной красоты на губах? Точно не дошли до меня небо и свет зелени.

Ведь это же убийство твоего земного, зеленого счастья. Это же убийство»...

Таков поэт:

«Не быть тебе угретым, поэт,—хотя бы имел два теплых одеяла, тьму знакомых и семь теток, не быть тебе ни сытым, ни угретым».

Такова и Елена Гуро. Сама неугретая, неуспокоенная, ноющая болью за каждую душу обиженную и неприласканную, мать всему, рождающая в творческой мечте новые ощущения жизни, она воскресила новую красоту.

«Я услышала миги живыми и душу их соединений; что будет воскресение каждой пушинки красоты—бесконечное, не закатное, не гаснущее, такое, как розовые цветочки вереска».

В предчувствии этого «бесконечного, незакатного, негаснущего», Елена Гуро дала нам теплый комочек души, все полюбившей, за все исходящей страданием, она дала нам почувствовать в мире не холодную красоту внешних его оболочек, а то внутреннее трепетание горячей и живой крови, что бьется, страдает и радуется в каждом цветке полевом, в каждой травинке, в каждой душе человеческой, хотя бы самой маленькой и незаметной.

# СЕРГЕЙ ЕСЕНИН.

Сколько певцов своей красоты вспоила-вскормила Русь, широкая и раздольная, на своей могучей груди! Сколько поэтов взманили ее широкие, ленивые реки, ее звенящие под солнцем поля, ее темные печальные деревни, ее алые закаты, грусть и радость ее песен, ее разбойная бунтарская краса и молитвенное умиленье!

Есть о чем спеть в грустной песне, есть что взять для звонкого стиха и прикрутить задорной рифмой!

И недаром Сергей Есенин говорит:

Если крикнет рать святая:
— Кинь ты Русь, живи в раю!
Я скажу: не надо рая,
Дайте родину мою.

Сергей Есенин прошел мимо «нищей России» (А. Блок), полюбив ее «синь», которая «сосет глаза», ее поля, ее «низенькие околицы», у которых «звонко чахнут тополя», ее церкви, где «пахнет яблоком и медом кроткий Спас», ее луга, где «гудит за корогодом веселый пляс», ее зеленя, ее «гречневые просторы» и «овсяную волю».

Но ведь есть же на свете стоны, горе?

Мимо! Мимо! Ведь

Если можно о чем скорбеть,.
Значит можно чему улыбаться.

Сам Сергей Есенин уходит от людских «скорбей» к звонким радостям и раздольям природы.

Позабыв людское горе,
Сплю на вырубках сучья,
Я молюсь на алы зори,
Причащаюсь у ручья.

Ушел к радостям «земного бытия», которые он нашел в крестьянской жизни, в копнах сена на покосе, в мудром страничестве Руси, в алых зорях над желтыми полями и во всей красоте земли, раскинувшейся перед ним в цветении своего обилия и щедрости.

Иду. В траве звенит мой посох,
В лицо махает шаль зари;
Сгребая сено на покосах,
Поют мне песни косари.

Глядя за кольца лычных прясел,
Одной лишь думой мыслю я:
Счастлив, кто жизнь свою украсил
Трудом земного бытия.

С улыбкой радостного счастья
Иду в другие берега,
Вкусив бесплотного причастья,
Молясь на копны и стога.

И цвет этого земного изобилия наливается в поэте полновесным плодом песни «падающим к чужим ногам».

Родился я с песнями в травном одеяле,
Зори меня вешние в радугу свивали.

Обогащенный всем мудрым мастерством, которое открылось Сергею Есенину в последнее время, всей его способностью к сложному, но прозрачному контрапункту образов, метафор и сравнений, он остается все тем же деревенским гусельником - песенником:

Буду петь, буду петь, буду петь.
Не обижу ни козы, ни зайца.
Если можно о чем скорбеть,
Значит можно чему улыбаться.

Все мы яблоко радости носим,
И разбойный нам близок свист.
Срезает мудрый садовник — осень
Головы моей желтый лист.

В сад зари лишь одна стезя,
Сгложет рощи октябрьский ветр.
Все познать, ничего не взять
Пришел в этот мир поэт.

Он пришел целовать коров,
Слушать сердцем овсяный хруст,
Глубже, глубже серпы стихов.
Сыпь черемухой, солнце — куст.

И как сказал он в начале своего страннического пути:

Чую радуницу Божью —
Не напрасно я живу,

так и теперь он остался, в глубине, таким же «чующим радуницу Божью» и «стелющим стихов злаченные рогожи» в желании сказать человеку «нежное».

Об этом он проговорился в одной из «шалостей» «деревенского озорника», в «Исповеди хулигана»:

Я все такой же,
Сердцем я все такой же,
Как васильки во ржи цветут мои глаза.

Стеля стихов злаченные рогожи
Мне хочется вам нежное сказать.

Революцию Сергей Есенин встретил «певучим звоном», восприняв ее по своему, по «мужичьи», по деревенски. В ней, рожденной (по Сергею Есенину) в «мужичьих яслях» он почувствовал новое «утро», новый «свет за горами», «Красного коня», который должен вывезти мир «на колею иную».

Сойди, явись нам, красный конь.
Впрягись в земли оглобли.
Нам горьким стало молоко
Под этой ветхой кровлей.

Пролей, пролей нам над водой
Твое глухое ржанье
И колокольчиком звездой
Холодное сияние.

Мы радугу тебе дугой,
Полярный круг на сбрую,
О, вывези наш шар земной
На колею иную!

Но, конечно, он не мог не почувствовать, что эта «колея иная» лежит в стороне от того мира, в котором он жил, что над тем миром уже березы «кадят листвой прощальную обедню», что идет уже «железный гость», который сметет последние листья», «соберет их в свою черную горсть».

Не живые, чужие ладони,
Этим песням при вас не жить, —

говорит он с грустью, ибо умирает под копытами «красного коня» любимая им его деревня и он, Сергей Есенин, возводивший свой поэтический род через «одетого светом», «вышедшего из монастырских врат», «избродившего весь край» Николая Клюева, к идущему «меж телок и коров» «в златой ряднине» Алексею Кольцову, он последний, не имеющий потомства, отпрыск этого рода.

Я последний поэт деревни,

Ведь он то знает, что «живых коней победила стальная конница» и что прошло, безвозвратно прошло то время,

Когда пару красивых степных россиянок
Отдавал за коня печенег.
По иному судьба на торгах перекрасила
Наш разбуженный скрежетом плес,
И за тысячи пудов конской кожи и мяса
Покупают теперь паровоз.

И понятно, что в поэзии Сергея Есенина появляются новые нотки, такие непохожие на того старого Сергея Есенина, которого «зори вешние в радугу свивали».

В одном из последних стихотворений он говорит:

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охвачен
Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться
Сердце, тронутое холодком,
И в страну березового ситца
Не заманишь шляться босиком.

Дух бродяжий, ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст —,
О, моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств!

Победит ли молодого и полного сил Сергея Есенина это губительное «увяданья золото» или и в нем проснется та могучая жажда жизни, что таким ослепительным звериным сиянием вспыхнула в Бурнове из «Пугачева» перед концом его:

Только для живых благословенны
Рощи, потоки, степи и зеленя.
Слушай, плевать мне на всю вселенную,
Если завтра здесь не будет меня!
Я хочу жить, жить, жить,
Жить до страха и боли.
Хоть карманником, хоть золоторотцем,
Лишь бы видеть, как мыши от радости прыгают
в поле
Лишь бы слышать, как лягушки от восторга поют
в колодце.
Яблоновым цветом брызжется душа моя белая.
В синее пламя ветер глаза раздул,
Ради Бога, научите меня,
Научи меня и я что угодно сделаю,
Сделаю что угодно, чтоб звенеть в человечьем саду!

И если Сергей Есенин поймет вместе с Бурновым, что «только для живых благословенны рощи, потоки, степи и зеленя», то он будет еще много и долго «звенеть в человечьем саду» своим звонким крепким, сияющим стихом.

# Н. ЗАХАРОВ-МЭНСКИЙ.

Последние стихи Н. Захарова-Мэнского датированы 1918—1921 г.г. И в эти годы, когда в грозе и буре революций рушился старый мир, когда на его месте упорные, крепкие руки стали воздвигать новый, поэт надел на себя иноческий клобук и ушел в одиночество кельи, чтобы там

...занавесив сторы,
Прясть кружева из грез на сказочной канве.

Н. Захаров-Мэнский не против революции, в ней он видит «явь, минувших дней мечты», но он вне ее.

Жизнь текла, как белый снег,
Роем звездочек — снежинок...
В ней бродил я — грустный инок,
Не вплетаясь в снежный бег.

Он также вне революции, как и вне жизни вообще. Его душа и сейчас живет в каком то странном гипнотическом сне.

Посмотрите, за что «цепляется» его творческое воображение:

«Былая Москва» с ее соборами, «бойницами на вековой стене», «рядами часовен», «Старый город» в его мрачном, средне-вековом колорите, «Замоскворечье» с его «купцами именитыми», «богомольными старушками», «нежными милыми девушками» или маркизы в пудренных париках, с «мушками», в «расшитых камзолах», с «лорнетом, украшенным опалом дорогим»,

...Старый дом
С гербом, а в залах круглые портреты,

«Менуэты», «менестрели», «дуэль за локоны», «кружевное жабо» и т. д.

Что это, как не сны с печальными пробуждениями, когда он сам говорит:

...Былое покидая
В двадцатый век бреду, минувшему внимая,

жалеть, что

...милый век балов и маскарадов,
Маркизы Помпадур, графини Монопсье,
Исчезнул ты, век царственных парядов
Забытых, как забыт и царственный лансье

и

В кадильном дыме грезить, как во сне
О том, что здесь, когда то были боры...
А после всенощной уйти на косогоры,
Купаться в мыслях, как плотва в Москве.

Н. Захаров-Мэнский опоздал родиться на 100—150 лет и в этом его беда.

# ВЕРА ЗВЯГИНЦЕВА.

Вера Звягинцева многого от вас и не хочет:

Можно звать и не звать поэтом,
Ту, которая плачет в стихах.

Она

Не пастушка и не Психея,
Просто женщина в старой тоске,
Сердце на солнце грея,
Что то пишет на белом листке.

Вера Звягинцева «просто женщина», она стоит «на мосту» жизни, следит движение ее быстрых вод

И, бумагу свернув свирелью,
Милому другу поет.

Ведь ей, конечно,

На свете страшно без любви

и она знает это и говорит о себе:

Я одна средь мертвых и надменных
В нежности и страсти глухо бьюсь.

Она знает, что жизнь сверкнет и минет и надо «спешить любить», надо наполнить свое женское одиночество любовью и нежностью до краев, потому что,

Милый, милый — там решетка,
Здесь — просторный белый свет.

Вера Звягинцева знает «радость земной переправы», радость этого «белого света».

Летите, летите земные долы,
На звонницах пой моя медь:
Недолго, недолго под твердью веселой
Грустить, опьяняться и петь.
Целую, целую горячие травы;
Вздыхаю и ночи и дни...

О, счастье короткой земной переправы!
Иные брега уж видны.

Замкнувшись в узкое кольцо личных радостей и болей, она должна испить их до конца, потому что ее личной жизни ей, конечно, ничто не вернет.

Революции, страсти, сугробы,
Каруселью несясь золотой,
Не поднимут крышки у гроба
Ни одной, ни одной, ни одной.

Разорвать это узкое кольцо Вера Звягинцева не в состоянии, душа ее опутана еще снами прошлого.

# В. ЗОРГЕНФРЕЙ.

В. Зоргенфрей—«беглец» от жизни, он трусливо прячется от нее в мире «теней» и призраков, которые преследуют его и в любви и в смерти. Весь мир, по мысли В. Зоргенфрея, поглощен какой-то «всепомрачающей скукой».

Страшно жить в мире В. Зергенфрея. Живыми мертвецами населен этот мир, живыми трупами, которых поэт вовлекает в «глушь» и «темноту» своих стихов

Чтобы глуше еще было и темней,
Чтобы души не щемило у теней.

Революция, смена миров, жестокая и упорная борьба, любовь, страсть и даже смерть, к которой В. Зоргенфрей так часто взывает и—даже, даже!—та неведомая сила, в руки которой предает он свой дух в минуты растерянности,—все это поэт обволакивает призрачным туманом, наплывающим в его стихи оттуда, «где сумерки серей», с «обрыва Ахерона», с «мертвой реки».

Свое сердце В. Зоргенфрей называет—«мертвым», свои мысли «бессмысленными», слова любви «поблекшими», «земные сны»—«тяжелыми», мгновенья—«лживыми», весну—«пустынной» и т. д.

И не мудрено, что революция обернулась для него все той же «всепомрачающей скукой».

Это она

Кривит зевотою уста
Трибуна, мечущего громы,
В извивах зыбкого хвоста
Струится сплетнею знакомой,
Пестрит мазками за окном,
Где мир, и Врангель, и Антанта,
И стынет масляным пятном
На бледном лике спекулянта.

Для В. Зоргенфрея ничто не изменилось в революционном Петербурге.

Сегодня то же, что вчера,
И Невский тот же, что Ямская,
И на коне, взамен Петра,
Сидит чудовище, зевая.

Это «чудовище» серых будней висящих над всем миром, в котором он живет, сковывает душу поэта каким-то тяжким «давним сном».

Вот любимая идет за гробом своего милого—какие мысли ткет в ее мозгу это «чудовище»?

Дорогой мой, милый мой, хороший
Я с тобой, не бойся, я иду...
Господи, опять текут галоши,
Простужусь, и так совсем в бреду!

Господи, верни его, родного!
Ненаглядный, добрый, умный, встань!
Третий час на Думе. Значит снова
Пропустила очередь на ткань.

И если так в мире В. Зоргенфрея думают влюбленные, то немудренно, что

Гражданина окликает гражданин:
— Что сегодня, гражданин,
На обед?
Прикреплялись, гражданин,
Или нет?
— Я сегодня, гражданин,
Плохо спал:
Душу я на керосин
Обменял.

В. Зоргенфрей знает про эту опустошенность своего мира, где у людей души выменяны на керосин, про «безвестность, бездумность, бедность» своей доли и, понятно, что в минуты, когда он особенно остро ощущает эту свою растерянность в мире, свое бессилие осмыслить истинные законы жизни, сорвать со своей души покровы обволакивающего ее сна, ему остается только

Окутаться сумраком топким.
Дрожать в непогоду и дождь
И славить дыханием робким
Твою милосердную мощь.

Он говорит тогда:

Я побежден неведомою силой,
Я приношу невидимому дань.

И понятно, что эту «высшую», «неведомую» и «невидимую» силу В. Зоргенфрей наделяет теми качествами, которых сам не имеет:

Ты, Сильный, Ты, Крепкий, Ты, Правый.

Узнать, постичь эту неведомую силу он, конечно, не может, хотя бы просто потому, что она есть излучение его бессилия, и он называет ее, эту силу «тяжкой премудростью Божьей».

И скоро, нужно думать, эта сила обманет его так же, как обманула «Лилит», к которой привела поэта «тоска его размеренной дремоты».

Тогда, может быть, поэт снова обратится к взволновавшему его раз вопросу:

Удел земли — и гнев, и боль, и стыд,
И чаянье отмстительного чуда,
И вот, доныне дерево дрожит,
К которому, смутясь, бежал Иуда.

И кто пророк? Кто скажет день и час,
Когда, сорвавшись с тягостного круга,
Она помчит к иным созвездьям нас,
Туда, где нет ни севера, ни юга?

Как долго ей, чудовищу без пут,
Разыскивать в веках себе могилу,
И как миры иные назовут
Ее пожаром вспыхнувшую силу.

И ответ на свой вопрос В. Зоргенфрей получит не в стремлении «к созвездьям иным», не в мечтах о долинах «мертвой реки», не в об'ятьях «Лилит», не в трусливом бегстве от жизни и земли, а именно в этой «пожаром вспыхнувшей» в них могучей силе.

# ГЕОРГИЙ ИВАНОВ.

Есть слепые души, которым не дано видеть цветения мира, его полнокровной, сочной красоты—они живут в грустных сумерках непонимания и растерянности.

Зачем без умолку свистят соловьи!
Зачем расцветают и гаснут закаты!
Зачем драгоценные плечи твои
Как жемчуг нежны и как небо покаты!

О, если бы стать восковою свечей!
О, если бы стать бездыханной звездою!
О, если бы тусклой закатной парчей,
Бессмысленно таять над темной водою! —

говорит Георгий Иванов и в другом месте повторяет:

О, если бы застыть в саду пустынном
Фонтаном, деревом иль изваяньем!

Не быть влюбленным и не быть поэтом
И, смутно грезя мучившим когда-то,
Прекрасным рисоваться силуэтом
На зареве осеннего заката...

«Не быть влюбленным и не быть поэтом», не быть земным, живущим в мире, не быть человеков, превратиться в «фонтан», «дерево», «звезду», «изваянье».

Потому что все земное, человеческое, в мире Георгия Иванова обречено на умирание «в разувереньи и позоре».

Я умираю, друг! Моя душа черна,
И черный парус виден в море.
Я умираю, друг! Мне гибель суждена
В разувереньи и позоре.

Нам гибель суждена и погибаем мы
За губы лживые, за солнце взора,
За этот свет, и лед, и розы, что из тьмы
Струит холодная Аврора.

Пусть другие «плачут и мечтают», живя и живут, плача и мечтая, пусть суровые крылья жизни веют над другими душами, волнуя их борьбой, разочарованиями, достижениями, победами, поражениями, душа Георгия Иванова наблюдает жизнь лишь издали.

Старинный друг, кто плачет, кто мечтает,
А я стою у этого ручья
И вижу, как горит и отцветает
Закатным облаком любовь моя.

Его душа живет только в грезах о прошлом,

В меланхолические вечера,
Когда прозрачны краски увяданья,
Как разрисованные веера
Вы раскрываетесь, воспоминанья!

В свете этих воспоминаний и земля становится ему желанной и «любимой».

И снова землю я люблю за то,
Что так торжественны лучи заката,
Что легкой кистью Антуан Ватто
Коснулся сердца моего когда-то.

Не потому ли Георгий Иванов любит воспринимать мир через вдохновение поэта или художника.

То «луна» у него выходит «совсем, как у Верлена», то море перед ним блеснет, как созданье «безумца Тернера», то шотландский ландшафт видится ему под кистью Генсборо и т. д.

Водимая ими душа Георгия Иванова блуждает в веках и странах, то появляясь в мире Гафиза, среди томной прелести и неги Гюльнар, Зарем, Зюлейк, то уносясь в светлый мир Диониса, Дианы, Авроры, Психеи, Андромеды, Персея, кружась в нем среди фавнов и нимф, то в одиночестве тоскует у старинных портретов и «старомодных пейзажей», то мечтает о старинных городах с их балаганами и парадами в час, когда,

Столица спит. Трамваи не звенят
И пахнет воздух ночью и весною.

Очарованная этими «воздушными» мирами, его душа «слепа» для бьющейся вокруг нас в муках и радостях жизни.

Я разлюбил взыскующую землю,
Ручьев не слышу и ветрам не внемлю,

А если любы сердцу моему,
Так те шелка, что продают в Крыму.

В них розаны, и ягоды, и зори
Сквозь пленное просвечивает море.

Вот, легкие летят из рук, шурша,
И пленная внимает им душа,

И прелестью воздушною томима
Всему чужда, всегда стремится мимо.

И, понятно, что чужим и «чуждым всему» бродит Георгий Иванов в мире, не любя его и не понимая его, с «тяжелою сумою», тоски, «разуверенья и позора».

Как путник, что искал ночлега
И не нашел его в пути,
Бредет с тяжелою сумою,
Так я с любовью и тоскою
О, муза, осужден итти.

Отринувший жизнь и сам отринутый ею, он пробует искать утешения в религии, он зажигает «лампады» у «сладко мерцающих в углу икон», он идет со своим «измученным сердцем» в «родные скиты»,

Где ясны криницы
В столетнем бору,
Родимые птицы
Поют по утру.

Но сильны зовы жизни и знает Георгий Иванов, что,

. . . увы! Дорогой зимней
Для молитвы и труда
Не уйти мне, не уйти мне
В Приволожье никогда...

Он замирает между обоими берегами, отплыв от одного и не пристав к другому и пускает по воде «венок» своих стихов.

Вот дымятся трубы фабрик,
Где-то паровоз ревет
И венок мой, как кораблик,
Прямо к берегу плывет.

К какому берегу? Этого нам Георгий Иванов не говорит.

Да, вероятно, в своей отрешенности и от'единенности от мира, он и сам этого не знает, но спящая душа его уже в тревоге, потому что чувствует она, что рождаемый в буре и грозе новый мир или разбудит, или совсем ее похоронит под обломками того старого мира, в котором она живет.

# РЮРИК ИВНЕВ.

Глазам Рюрика Ивнева открылась «лицевая сторона медали», для всех «закрытая зеленой плесенью» и он узнал «настоящее значение улиц гулких», узнал всю суетность и тленность нашей каждодневной арлекинады—жизни.

Земная кора — обратная сторона медали,
А лицевая закрыта зеленой плесенью,
За чьи-то преступления нас сюда послали
Под хлесткие удары и каторжные песни.
И все так важно — и ботинки, и разговоры,
И катанье на моторах, и сонные прогулки;
Только несколько сумасшедших разговоров
Знают настоящее значенье улиц гулких.

Все, что в наших глазах полно смысла и внутренней логичности, для него встает пустым, доводящим до исступления «верчением в колесе».

И все разумно: — вывески витрин,
И генерал, несущийся из штаба,
Портреты знаменитых балерин,
И молоком торгующая баба.

Лишь я один, не знающий на что
Истратить деньги — кровообращенье,
Верчусь как белка в колесе пустом
И брызгаю слюною иступленья.

Все встает перед Рюриком Ивневым как бы в тумане, покрытое пеленой холодной безразличности и безучастности, рожденное мыслью о смерти. Под ее иссушающим взором падает звено за звеном та сцепляющая цепь, что ряд случайных явлений, фактов и обстоятельств связывает в то большое, что зовется жизнью и ее огромное тело рассыпается, как игрушечный домик, на свои составные части. «Вывески витрин, генерал, несущийся из штаба, портреты балерин и молоком торгующая баба»—в этом нет связи, той связи, что делает эти разрозненные куски единым дышущим аппаратом.

Таково дыханье смерти. То, что билось на земле и дышало, что рождало слезы и улыбки, муки и радости, и само в них жило, мучилось и радовалось, теперь лежит грудой костей и горсточкой праха.

Такою явилась жизнь очам Рюрика Ивнева. Мысль о «земляном сне», о неизбежности, неотвратимости «тесного и единого дома» набрасывает на все пелену безразличия, от которой замирает жизнь и «выпадает из побелевших рук подаренный возлюбленой цветок». Недаром же эпиграфом к своей книге «Самосожжение» Рюрик Ивнев выбрал жуткую строчку из Апокалипсиса:

«Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв».

Смерть для Рюрика Ивнева не отвлеченность, не символ, а нечто близкое, реальное, «знакомое», какой-то «дядя в золотых очках». Это придает его мыслям о смерти особенную жуть.

Синевою губ перекошенных
Целую смерть в золотых очках.

И если говорить про жизнь телесную, плотскую, то Рюрик Ивнев мертв, подлинно мертв. Среди его стихов вы не встретите ни одной строчки, горящей пламенем жизни, ни одной буквы, в которой билась бы живая, горячая кровь. Его поэзия при всей сгущенности, нервности настроения—бескровна, безтелесна, бесплотна.

Плоть свою Рюрик Ивнев ненавидит:

Видишь — под рясою
Кожи — в липкой крови —
Черное душное мясо
Черной и душной любви.

Эта ненависть к своему телу «мясу и крови» обжигает все его существование каким-то острым мученичеством.

Ртом жадным и мерзлым
Унижений горячую влагу пью.
Губы раскрыв, как последние козыри,
Душу мученичеству отдаю.

Кровью этого мученичества облиты и его стихи.

Песня, что бритва. Весь рот
От этих песен в крови, —

и из его души вырывается отчаянный вопль:

Я задыхаюсь. Где-то воздух, воля,
Кузнечики молитвенно звенят.
За что, за что, как зверя в чистом поле,
За что, за что ты затравил меня?

Что же? Значит безнадежность? Значит, спасение в смерти? Значит опять старая песня декаданса? Значит в самом деле русская поэзия заключена в зачарованный круг мысли о спасительности смерти и напрасны все дерзкие порывы новой поэзии влить в ее склерозные сосуды горячие струи солнца, жизни и буйной, хмельной крови?

Нет! Рюрик Ивнев нашел свой путь к освобождению от уничтожающей тлетворности жизни и мечтал он о смерти только пока бился удивленный дух его в поисках выхода из тесной клетки смертного бытия. Выход нашел он в освобождении от тленной оболочки своего существа. Перестать быть «тлетворным татем» и вмиг «душа заголубеет» невиданно просветленной и очищенной новью жизни.

Но не в мрачной дыре смерти он видит спасенье, а в древней, опочившей в веках, мечте о «костре спасительном». Душа его зажглась ярким пламенем тоски по освобождающему «очистительному огню».

«Самосожжением» назвал Рюрик Ивнев одну из своих книг и в этом «самосожжении» увидел он свое освобождение от власти тленной плоти, приковавшей его к безнадежности земли, освобождение своего грядущего духа.

Тебе, Создатель, я молюсь,
Молюсь, как раб, немой, покорный,
Сегодня я, как тать тлетворный,
Но завтра я преображусь.

. . . . . . . . . . . . . .

Сгорит ненужный пепел — тело,
Но дух над миром воспарит.
Пусть плоть и кровь в огне горит
Душа моя заголубела!

Не смерть несет с собой эта мысль, не одряхление, не омертвение сосудов, мускулов и крови, а новую жизнь. В этом очищении «огнем пронзающим» душа Рюрика Ивнева познает «в томлении безмолвном» «новые незнанные начала», и если тело его сгорает в костре, то дух окрыляется «Божественной новью»,—таков тот путь, который наметил себе Рюрик Ивнев в запутанных чащах телесной жизни, такова та мысль, которая не привела его к смерти, а напротив, увела его от нее, взяв искупительной жертвой «ненужный пепел—тело».

Как нежно и трогательно говорит Рюрик Ивнев о своем теле, дрожащем и «поющем», «бледном, как мел», о своих «коленях худых», о руках ослабевших, о «бледном лике» и о себе «малюсеньком совсем».

Но дух его так напряженно жаждет освобождения, так упорно рвется, что даже и это тело—бескровное, бесплотное, испепеленное неустанной думой об огне—тяготит его и он жаждет полного очищения. Какая-то исступленная вера в этот огонь, в его высшую ничем непобедимую, освобождающую силу, что-то от древних раскольников, сжигавших себя на кострах в самозабвении религиозного экстаза есть в изломанно-тоскующих стихах Рюрика Ивнева, и что-то от древнего «юродства», от свойственной русской душе странно-сладкой потребности в самоумалении, самобичевании, самоунижении. Эта трогательная потребность пронизала все стихи Рюрика Ивнева, она бьется в каждой строке, в каждом слове. Уничтожить в себе последнее движение гордости, убить ее малейшее дыхание, упиться этим самым унижением своим, скрыться куда-нибудь, стать маленьким и незаметным.

Русь знает эти униженные молитвы, эти биения у каменных плит, это странничество и эти скитания, и эти сомнения. В Рюрике Ивневе, ищущем истины, Русь узнает своих юродивых, в пугливых туманах побрякивающих бубенцами своих страданий.

Захвачу я платочек рваный,  
Заверну в него сухари,  
И пойду пробивать туманы  
И бродить до зари.

И раз мысль блеснула ему (таков Рюрик Ивнев!) своим направляющим огоньком, он пойдет к ней прямо, не замечая боли в ногах и душе:

Я надену колпак дурацкий  
И пойду колесить по Руси...

Блеснут впереди белые стены монастыря, заплачет на перекрестке лесная часовенка, засмеется звонко, радостно быстро-бегущая дорожка, белая березка—вот та «иная жизнь», которую так напряженно ищет Рюрик Ивнев.

Он почувствовал те бесчисленные наслоения, что отягчили душу поэта: власть тела, власть мысли, власть души, запертой в тесную клетку непреложных законов, он почуял возможность жизни иной в очищении от этих вековых наслоений, изжеванных мыслей, переживаний и слов:

Вот все, что есть. И вот — пустыня,  
И нет в ней больше ничего...  
И только бьется, бьется синий  
Неумирающий огонь.

Конечно, эта нервная напряженность, доходящая до развинченности, не всякому близка, а отражение ее во внешней форме стиха не всякому понятно, но Рюрик Ивнев знает это:

Эта песнь звучит негромко,
И не всем понять ее напев.

Ведь над юродивым всегда смеялись на шумных дорогах жизни, что же, разве замолкла от этого их песня? Нет, еще ближе чувствовали они себя к правде и к обновляющей природе.

Может быть в ту минуту,
Когда отвернется родня,
Неразумное сердце кляня,
Шалью своею кутая,
Заря поцелует меня.

Пусть не близка нам песнь Рюрика Ивнева, но звучит она искренней болью замученной, намозоленной, жаждущей очищения души. Он сам многого не понимает в этом мире, в котором бродит, пробиваясь «через слезы, через кровь, через боли», и потому, может быть, слова его «понятны не всем», но они трогают, не могут не тронуть своей детской запутанностью и растерянностью и еще тем, что в напряженной жажде очищения мертвые значки черных строчек забились в судороге жизни и отозвались в ней тихими слезами и тихими улыбками.

## АЛЕКСАНДРА ИЛЬИНА (Сеферянц).

Стихи Александры Ильиной полны какой-то молитвенной влюбленности в землю, в ее весенние радостные тайны, в ее теплые влажные утехи.

Ладонями жадных рук
На весенней пашне
Я ласкаю набухшие борозды,
А сердце,
Орленок вчерашний,
Клюет овсяные звезды.

Мне начертан извечный круг
В адамантовых солнца дверях:
Жадно пить земляное вино,
Бросить песен моих якоря
На зовущее звездное дно.

Пусть исполнится мира срок. —
Уст моих не отрину от чаши...
Не приму воскресения даже,
Если больше не будет земли!

Пусть сгорю в час вселенской кончины,
Но сгорю на земном корабле!..

Какая здоровая, горячая кровь в этих стихах! Как могуче и радостно бьется пульс этой поэзии! Александра Ильина влила в свою душу «речные купола», «зачерпнула» полным «ковшем» «зари багрянец», припала к горячей груди «матери земли» и вдохнула в себя влажный аромат «жирного чернозема». И раз впитавши в себя земляную счастливую радость она отворачивается от неба, которое так манит всех больных и растерянных.

Зачем мне неба рваные лоскутья
Среди оскала небоскребов лиц?
Хочу ласкать лозиновые прутья,
Хочу к земле склонится ниц.

Ее молитвы только земле, ее литургия—«земляная», ее алтарь—«земляной», литию она служит «в полях овсяных», свечи затепляет «пред иконой полынных меж» и последнее целованье она дает все той-же, так страстно и нежно любимой, земле.

И понятно, что когда эта земля захотела сбросить с себя вериги, когда «в миру» прогремел своими могучими копытами «рыжий конь» революции, она не осталась, не могла остаться в стороне.

Разве можно упиться звучалями,
Когда Конь топотит в миру?
Я разбила свои скрижали
И за звоном копыт иду.

Она поняла, что «всем, умывшим руки», «не надевшим борьбы лат» грозит «гибель», что провалятся «в бездну» те, кто не будут знать на какой стороне они в час,

Когда мир раскололся на две половины.

И сжав «в руке винтовки ствол упорный», она бросилась в гущу жизни бороться за будущее своей земли, за ее чистое неосверняемое злом и неправдой, будущее.

В Александре Ильиной здоровая душа бойца и влюбленного в жизнь человека. Эту душу дал ей ее отец—«простой рабочий», мать-работница и любимая ею, могучая и счастливая солнцем, земля.

# ИЛЬЯ ИОНОВ.

Революция ввела в семью русских поэтов своих сынов, чьи песни писались не в уютных кабинетах, не на «поднебесных» чердаках, они писались

Не на воле у зеленых
Густолиственных лесов,
Не у солнцем озаренных,
Посветлевших берегов, —
А в неволе, за высокой
За гранитною стеной.

Просмотрите, например, книжку поэта Ильи Ионова: «Алое Поле» и вы увидите под стихами пометки: «Шлиссельбург», «Московский Централ», «Кресты», «село Тутура (ссылка)» и т. д., а над стихами заголовки: «Из песен ссыльного», «Узник», «Цветы казненных» и т. п.

Не потому ли стихи Ильи Ионова пропитаны дикой звериной тоской по жизни, нежащейся там за гранитными стенами шлиссельбургской могилы в об'ятиях солнца?

О, пустите меня,
Дайте лесом дышать,
Дайте яркости дня
Мою грудь обласкать.
Дайте в травы лугов
Опуститься уснуть,
У зеленых стогов
Отдохнуть, отдохнуть...

Не потому ли так часто в них предчувствие смерти?

Совладать ли с темной долей,
Сберегу ли я себя...
Ах, ты, степь, с раздольной волей,
Где ты песня соловья!
Ах, шелковые поляны
Зеленеющей травы,
Одолели сердце раны,

Не снесу я головы.
Поутру петля мне шею
С поцелуем обоймет,
Солнце ласково лелея,
Труп лучами уберет...

И, понятно, что здесь, в этих мрачных стенах, складывается понятие о поэзии несколько отличное от теоретических канонов утонченного эстетизма. Здесь слагаются песни-призывы, песни-лозунги,

Песни — острые стилеты,
Гневом пламенным напеты,
Песни — звон колоколов.
Песни — яркие призывы
Разливные, как приливы
У раздольных берегов.

Здесь же рождаются вольные и дерзкие мечты о «едином союзе народов мира» и о грядущей победе «стальной армии труда».

Пусть загорятся верой новой
Сердца усталых, и тогда
Порвет последние оковы
Стальная армия труда.

Взойдут алеющие зори
Над отдохнувшею землей,
И затрепещут на просторе
Знамена воли мировой.

И так понятно это победное ликование поэта в день праздника «вольного труда».

Пусть вешнее солнце заблещет над нами,
Пусть блещут на солнце полотна знамен...
Добыли мы волю своими руками,
Так пусть же победно гудит над рядами
Наш вольный труда перезвон.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Пусть в прошлое канут тоска и печали,
Греми, марсельеза, над гулом людским!..
Мы звонкие песни железа и стали
На плитах скрижалей навеки вписали
Трудом и упорством своим.

Конечно, Илье Ионову можно тут же сделать целую кучу указаний на его жестокие грехи перед «поэтикой» и «эстетикой», но не походили ли бы мы тогда на профессора пения, который делает замечания человеку, испускающему предсмертный крик, что голос у него неправильно «поставлен», «ударяет в маску», «упирается в диафрагму» или не уподобились бы мы преподавателю танцев, который пристает с «пуантами» и «батманами» к человеку, расскакавшемуся диким козленком где-нибудь на весеннем лугу просто от пьяной радости жизни и от веселья души, вырвавшейся из неволи?

# ВАСИЛИЙ КАЗИН.

Василий Казин—друг вечера, приятель ветра, товарищ солнца. Они для него покинули свои заоблачные высоты. Вот они идут втроем и тихо ведут песенку.

Ветер начал. Я ему попутно
Подтянул случайным голоском,
Солнышко втянулось, и уютно
Мы запели песенку втроем.

Ветер заливался голосом быстрым,
Я его старался слить со мной,
Солнышко рассыпало звончатые искры,
Увлекало песенку весной.

Шли и пели, пели по дороге,
Пели трое о сердечном, о своем,
И у каждого таяли, таяли тревоги, —
Потому что песенку пели втроем.

Вот как! Было время, когда они восседали недостижимыми и важными идолами, было время, когда один вид их приводил в трепет людей, которые, смягчая божественный гнев, приносили им человеческие жертвы. Но прошли века и надо было отшуметь войнам и революциям, надо было придти в мир новому хозяину жизни, чтобы эти идолы стали простыми и хорошими товарищами, с которыми можно песенку спеть, которые помогают тебе, но которым, при случае и ты поможешь.

И Василий Казин—хороший товарищ.

Увидел он, что «силится солнце мая на небо крепче приналечь» и его уж тянет «солнцу помочь».

За то и солнце отвечает Василию Казину тем же.

Попал раз Василий Казин в затруднительное положение. Из его каморки «не разглядеть»

Сегодня день плохой ли, хороший —
И вот бесспокойся: галоши
Надеть им или не надеть?

А солнце на что? Солнце выручает товарища.

Чу! — и комната вспыхнула от звона,
Вскипела комната в звончатом огне!
Ах, это не просто знакомый насчет поклона —
Это солнышко! Это солнышко позвонило мне!
Это солнышко, солнышко с небосклона
Позвонило по телефону
О чудесном дне.

Ах, как хорошо жить в казинском мире! Здесь все друг другу братья, здесь все друг другу товарищи, по труду, по любви, по радости. Даже на прогулку не ходят друг без друга.

Пошел Василий Казин погулять, а за ним, глядь, небосклон увязался. И не чтобы так, просто, пошататься с поэтом по улицам гулким, нет, а помочь ему «маленькому-маленькому».

Маленький, маленький по троттуарам
Я шагаю, рассыпаю теплый звон.
Толкает меня лучистым жаром
Голубой плечистый небосклон.

Шагает со мной небосклон плечистый,
Толкает в маленькое мое плечо,
Толкает в плечо, но и сердце лучится,
Лучится и сердце горячо.

А мимо мчится вагон за вагоном...
— Милый, лучистый, — не отставай —
Ах, как не хочется разлучиться с небосклоном,
Одному, маленькому, вскочить на трамвай.

И вообще все в этом лучистом, звонком мире трудится, по хорошему трудится, по-товарищески. Мир, то ведь, общий, рабочий, трудовой. Хозяина то ведь нет, ау, прогнали! Сами хозяева! Хозяева-товарищи. Ну, и работают.

Весна пришла? Починяй, природа, зимние прорехи!

А на дворе то после стуж
Такая же кипит починка!
Ой, сколько, сколько майских луж —
Обрезков голубого цинка!
Как громко по трубе капель
Постукивает молоточком
Какая звончатая трель
Гремит по ведрам и по бочкам!

А в небе тоже не зевают. Заработали небесные чеботари, ох, как заработали, во всю:

Чу! Стуки в тучах. Жаркий взмах —
И ослепительное шило
Вонзила
Молния впотьмах.

И радостно, без заминки,
Загрохотали мастера:
Ах вот, ах вот, она пора
Отрадной грозовой починки!

Со свежей дратвой дождевой
Пронзительно носилось шило,
Быстрый, брызжущий, живой,
Звончатый огонь крошило.

Там тоже зря время не пропадает. Вы думаете это гроза? Просто от безделья тучи сошлись и сшиблись лбами, так что из глаз искры посыпались? Как бы не так! Это же «небесный завод» работает, «синекаменный завод».

И высок и широк
Синекаменный завод.
Чу! Порывистый гудок
Пыльным голосом зовет.
И спешат со всех концов
В толстых блузах закопченных
Толпы мощных кузнецов,
Ветровым гудком сплоченных.
Все темней, темнее высь.
Толпы темные сошлись
И проворно
Молний горны
Душным жаром
Разожгли
И раскатистым ударом
Ширь завода потрясли.

Бывает, конечно, и подведут товарищи. Есть у Василия Казина любимая. Когда он собирается к ней, дядюшка его, Семен Сергеевич, портной по профессии, «сердечный, вечный самогонки друг», «ревностно» разглаживает ему брюки, что-б он «глазам любимой угодил». И вот эта то «любимая» в сумерках ждала своего «ненаглядного».

И тянулась нудная обуза...
Ох разлука!.. Вдруг — и синевы края.
Ближе... блуза... чья-то блуза...
Синяя... твоя... твоя...
Дверь шушукнула, и как во сне я,
Сладко затуманилась в сияньи дня.
Подошел, прильнул и — ну, синея,
Обнимать и обнимать меня.
Обнимал ты... И со страстью жадной
Я взглянула на тебя и — ах! —
Ах, и как я обозналась, ненаглядный:
Это вечер обнимал меня впотьмах.

И чтобы окончательно стереть разницу между небесным и земным, да не так, чтобы земному отвести глаза посулами небесного, а это небесное свести совсем и на всегда на землю, Василию Казину приснился сон, ах, какой душистый, «цветистый сон».

Снилось мне: зарниц и радуг сотни
Паровоз привез, свалил на двор.
— Что-ж, и радуги — промолвил плотник —
— Да и солнце мой возьмет топор.
Пусть томятся радуги, зарницы
По родимым небесам своим,
Если радостные светлицы
На земле мы выстроить хотим.

И, ведь, для нас он старается наш лучистый, наш звонкий Василий Казин. Ему самому не нужны эти «радостные светлицы», ему стоит песней залиться и вокруг него и каморка его убогая зацветает такими хоромами, что глазу больно от сияния, а сердцу тесно от радости.

И не замечу, слитый с песней,
Что кто-то стены уволок,
Что все небесней, все небесней
Сквозит и дышет потолок.

В этой вешней радости творческого растворения в мире, в этом «влажном вдохновеньи» Василий Казин сам становится «солнцем пьяным» и так «много жизни бьет в груди», что можно отцедить «на следующее поколение».

Но в этом упоении песней Василий Казин не забывает о вольном мастерстве своего цеха. И какие веселые ритмы, какие веселые звуки находит он для своих стихов.

Один его «Живей рубанок» чего стоит!

Живей рубанок, шибче шаркай,
Шушукай, пой за верстаком,
Чеши тесину сталью жаркой,
Стальным и жарким гребешком.

Вот он—поэт нового, по новому, по радостному зацветающего мира, вот он—поэт вольного, по вольному, по солнечному загорающегося труда.

Вот они—стружки новой поэзии, летящие из под «стального, жаркого гребешка» рубанка-друга.

Наступил «Рабочий май», когда будни превратились в вешние праздники труда и жизни в вольном братском, товарищеском, коммунистическом мире и пришел поэт этого мая, который сейчас, в трудные, жестокие дни борьбы за этот мир, провидел его своим творческим взором, прощупал его своим «мускулистым духом» и претворил его в свой веселый и играющий стих.

# ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ.

Кто кого выдумал? Кто родил кого? Василий Каменский—Стеньку Разина? Или удалой молодец Степан Тимофеевич вывалил из чрева своего могучего—рассейского парня Василья—свет Васильевича Каменского, «зайца из Каменки», берложного песнебойца, в первых громах бойни мировой почуявшего рокот волн воли приближающейся. Кто их разберет? Оба они гусляры-звонкоголосые, оба вольные, как ветер, в любви—звери, в песне—птицы, в жизни—дети.

Разве не также, как Степан, Василий Каменский—«огромен», «силен», «талантлив», «неожидан»? И разве не также, как Степан, он «неустроен», «мятется вечно» и «всегда взлохмачен»? И разве не так же, как Степан, он «необузданно—дик» или «в светло-глубинной мудрости спокоен и величав»? И разве не также, как Степан, он живет «вольной волей молодецкой», «пьет жизнь до дна», празднует каждую минуту ее, живет «во все колокола», всей ширью своей души, души гусляра, души поэта? И разве не так же, как Степан, он в трудную минуту, когда всколыхнулась душа вековым рабством обиженная, стал за «братьев своих угнетенных», против бояр, князей да палачей богатых? Не Стенькины ли песни удалые ожили в гимнах революции Василия Каменского.

«Я чую, верю, я жду,—скоро грянет победный час—и совершится великое чудо: богатырский русский народ, пасхально-звонными самоцветными радугами раскинет свои вольные дни по русской земле и сотворит жизнь, полную невиданных, неслыханных чудес.

Я жду и готовлюсь».

Это писалось Василием Каменским в 1915—16 г.г., в преддверии великой русской революции, в чутком предчувствии ее.

Почему именно Стеньку выбрал Василий Каменский, когда захотел передать трепет души, великого ожидающей? Почему Стенькины струги выплыли на гребнях волн, гневом народным вспененной?

Потому, что на остром носу стругов Стенькиных радостью звенела п е с н я. Потому, что Степан был не только революционером, но и п е в ц о м—песенником удалым.

Одаренный яркими талантами, Степан ясно чуял всей океанской внутренней силой своей великое значение и великую мощь русской песни для русской души и потому в неравной борьбе с многосильным врагом он быстро одерживал славные победы во имя песни.

И тогда кругом звучало:

Знать песня сильнее меча,
Коли трудное дело решила
Песня.
Песня.
Песня.

Всю жизнь свою он отдает звонкому слову песни:

Все — для песни. Для песни кую.

Стенька Разин—крепкий стержень поэзии Василия Каменского. Буйный поэт—певец-песнебоец, чующий радостное биение жизни своей вселенской душой, готовой обнять весь мир, алеющий зорями революционных пожаров, чующий природу, сам «сын природы»—вот любимое чудо для песен Василия Каменского.

Разве рыжебородый матрос Бамст из «Ставки на бессмертие» не тот же Стенька Разин?

Бамст — зверь — зверин,
Загарный пес,
Утроба,
Но Бамст добрей добрин,
Головотес,
До гроба.

. . . . . .

Бамст — сын природы.
Просто зверь-зверюга.
Все пароходы знают Бамста —
Матросовского друга.

. . . . . . . . .

Острым ятаганом
Чувств привязанности
Он отрезал и был обязан нести
Острой благодарности куски
Из своего сусека
За то, что видел в нем поэт
Зачатки будущего человека,

Когда, как Бамсту
Команда корабля
Покажется единой и вседружной
Вся красная земля.

Василий Каменский—поэт будущего человека, которому будет «единой и вседружной вся красная земля», поэт революции духа, утверждаемой в звонкой песне.

Его Иоиль («Здесь славят разум»)—поэт—безумец, восставший с топором и стихами против всех скопцов жизни, против всех, кто держит ее чудесную птицу в клетке, против всех «Вайнштейнов—королей ротационных машин», его Иоиль говорит:

Смотрите, смотрите
У меня за спиной
Крылья взмывают словами.
Сегодня — я лебедь,
А завтра — иной.
Мы еще встретимся с вами.
Имя мое — революции дух,
Легенда веков — беспредельность,
И пока мой огонь не потух,
Я поэт — красота — мироцельность.

Василий Каменский включил в свою душу всю жизнь—«луговое цветение», почуял «перелетную стаю» ее «дней-голубей», улетающих «в чудеса», но он знает, что этого еще мало, надо еще вылить все это в слово—вот главная задача поэта, как понимает ее Василий Каменский.

Жонглером слов, словотворцем, композитором буквенных симфоний, «рифмодаром» и «симфонаром», как говорит Василий Каменский,—должен быть поэт. В этом—его искусство, его ремесло. Через гибкость слова дать почувствовать гибкость души, через трепетание рифмы передать трепет современности, через цветение буквы пролить в жизнь цветение ее радостных дней—вот миссия поэта.

. . . Цель поэта — словострой.
И стройность рифмодара
И острых астр
Игра и рой
Спокойность симфонара.
Бросай,
Лови,

И барчум - ба
Лови и згара - амба.
Осай
Ови
И арчум - ба
Зови Икара - ямба.
(«Жонглер»).

Может быть никто, как Василий Каменский, не почуял букву, как самоцель, как самостоятельную радость.

«У каждой буквы,—говорит он,—своя судьба, своя песня, своя жизнь, свой цвет, свой характер, свой путь, свой запах, свое сердце, свое назначение».

Из букв он строит свои симфонии. Он, как «жонглер», подбрасывает их вверх, потом ловит, сцепляет, раз'единяет, ломает слова, извлекая из них отдельные буквы, строит из них новые слова и заливает вас своей радостной, сияющей музыкой слов и букв.

Вот «Цувамма», например:

Цамайра - цамайра
Цамм - цама
Цамм - цама.
Цувамма - Рай.
Жбра - мау Айя.
Заря полярная Зарай,
Цамайра цамм цама Тамайя.
Цвети сиянием Галайя,
Чурай слиянием, чурай.
Цамайра - дайра
Мадайра - марра
Остров поэтов
Цувамма май.
Марш Табатайра,
Жбра мау Зайра
Цаммай внимай.
. . . . . . . .

Здесь действительно буквы живут, послушные каким-то, одному поэту известным, своим законам. Ошибочно называют это «заумным языком». Наоборот, здесь возвращается языку его «ум, его душа, здесь восстанавливается его мудрость, его самоцельное жизнецветение, отнятое у него человеком.

Поэт вернул букве ее жизнь. И благодарная поэту она служит ему мягким воском для его лепки жизни.

«Сиять во что бы то ни стало—это лозунг сегодняшней жизни для жизни»,—говорит Василий Каменский.

Не сильный вообще в лозунгах, он наполняет эту несложную жизненную истину таким лирическим напряжением и сиянием, что вся его поэзия от «Землянки» до «Ставки на бессмертие» в каждой строчке искрится подлинной поэтической силой.

Почуявший в «Стеньке Разине» грядущее сияние всего мира, он сказал себе:

На! Конструируй жизнь!
Засучивай рукава!
Будь!
Существуй!

Потому что понял он, что в час, когда воздвигаются леса и по стропилам вверх ползут строители, когда на фабриках и заводах зацокали по железу молотки во славу новой жизни и нового человека, поэту не пристало стоять в стороне.

И в «Паровозной обедне» он устами паровоза сказал себе:

. . . . . . . . . . . . . . .
Я хочу, чтобы из тропиков леса
Каждый солнцем чудес воссиял,
Голубейтесь глаза на дороги идей
У нас руки стальные и ноги,
Мы раскинули сад первоцветных затей
И живем, как железные боги.

У Василия Каменского появляются новые герои—паровозы, шпалы, заклепки, винтики, уголь, нефть. Он сзывает на митинг-вечеринку производственный материал, из которого рабочие—«работнички полезные»—соберут паровоз—«двигатель прогресса».

Тот паровоз, который повезет в далекую и глухую тайгу, к изнывающим в шахтах рабочим, творящим материальную культуру, продукты культуры духовной, творимой поэтами, художниками, режиссерами и пропагандистами.

Эти новые герои, в величественном сознании своей миссии поют в «Паровозной обедне» свои песни. Они живут эти шпалы—«ребра прогресса».

Пролетарские амбалы,
Наши массы впереди,
Все мы — вкопанные шпалы,
Держим рельсы на груди.

Шпалы, шпалы, шпалы, шпалы,
Шпалы, шпалы, шпалы — мы.

Прочно путь умеем штопать
Миллионы всюду шпал,
Прискакали мы на копоть
Посмотреть на алый бал.

Шпалы, шпалы, шпалы, шпалы,
Шпалы, шпалы, шпалы — мы.

Густо путь усеян нами
И на благо всем, семьей
Развернулись мы волнами,
Окружили шар земной.

Шпалы, шпалы, шпалы, шпалы,
Шпалы, шпалы, шпалы — мы.

Средь болот, степей и леса,
Мы, как красная звезда,
Стали ребрами прогресса,
Пропуская поезда.

Шпалы, шпалы, шпалы, шпалы,
Шпалы, шпалы, шпалы — мы.

Настал час, когда «шпалы» «на благо всем» «окружили шар земной» и пропускают по рельсам поезда, наполненные продуктами вольного труда и искусства, когда весь мир забился единым сердцем.

Что нам еще? Целый мир в нашей власти —
Легенда из алых взывающих роз.
Строй и крепи свои жильные снасти —
Радио — золото — жизнь — паровоз.
Все с нами и в нас!
Ребра — шпалы из кедра,

Нервы — рельсы. И кровь — карусель.
Недра духа — земли красной недра.
Все единое сердце
И единая цель.

Таков Василий Каменский! Он почуял радость строительства, радость борьбы, он верит в приближение новой жизни и в предчувствии ее, он «славит разум» революции, и, хотя неясно представляет себе ее железные законы, все же он влагает в стихи ее творческие биения и нас зажигает ими и детской радостью своего сияющего, влюбленного в жизнь, стиха.

# ПИМЕН КАРПОВ.

Принять землю в ее светлых радостях, уйдя от ее мук и «колесований» — счастливый жребий поэта, но не всякому он выпадает. Пимен Карпов знает, что «неумолимой жизни стража» его, «отверженного свяжет и разорвет на колесе» и все же отдает ей, этой жизни, свои песни и силы.

Буйно-звездную и грозовую,
Я люблю мою темную землю.
Все: и пытку ее огневую,
И печальную радость приемлю.

Ей и песни и благословенья,
И проклятья мои и молитвы —
Отдаю я в слепом исступленьи
За огонь ее бури и битвы!

Отдаю ей последние силы...
За сохою — ей пот мой кровавый.
Буду страстным певцом до могилы
Торжества ее, мудрости, славы.

Знаю, что обагрю своей кровью
Темноликую мою землю,
Но за это - то с лютой любовью
Я целую ее и приемлю!..

В этой «лютой любви» к земле есть какое-то сектантское исступление, какое-то сладострастие мученичества. Недаром он говорит, что

... в том, чтоб жизнь в огне расплавить —
Мучительное счастье есть.

В этом мире, полном «юдоли и плача» он строит свои скиты «колдовской любви», где светит ему

Эайя — вымысел Бога,
Бред моей мысли больной.

Эта Эайя, созданная им в бреду исколесованной жизнью души, уводит его к «восторгам обожествленья».

В дому — юдоль и плачи,
Проклятие и кровь...
А здесь, звездой маяча,
Колдует мне любовь..
О светлое томленье!
О, пенье звучных струй!
Восторг обожествленья —
Эайи поцелуй!

В этом зачарованном мiру, куда нет дороги, «ни коварству, ни злобе», «ни мраку, ни лютой земле», он живет, отдавшись сладким утехам песни.

Пророчествам и гневам внемля,
Я только песнями живу, —
Рву над главою звезд траву,
А под ногою целую землю.

«Лесному отдаваясь шуму, в глаза целуя вешний лен», Пимен Карпов дает себе зарок:

Я вечно буду в цветозвоне
Любить, смеяться, петь и жить...

Цветезвон, цветозвездье, светословенно, огнепраздновать, весеннесинь— любимые слова Пимена Карпова и они говорят нам о том, цветущем весенней синью и светлыми праздничными огнями, мире, где он встретил Эайю и Лилюлю, околдовавших его любовью и научивших поэта светлому приятию земли в ее радостях и муках.

# ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВ.

То, что сказал Владимир Кириллов в предисловии к своей книжке «Стихотворения», стало уже классическим манифестом для всей новой рабочей поэзии. Здесь в каждой строчке точное и меткое определение самой сущности песен рабочего поэта, рожденных «в громком гуле огнеликих, необ'ятных городов», «в шуме фабрик, в криках стали, в злобном шелесте ремней», поэта, узнавшего,

. . . что мудрость мира, — вся вот в этом молотке,
В этой твердой, и упорной, и уверенной руке.
Чем сильнее звонкий молот будет бить, дробить, ковать,
Тем светлее будет радость в мире сумрачном сиять.
Чем проворней будут двигаться приводы, шестерни,
Тем пленительней и ярче загорятся наши дни...

«Эти песни» не родились в груди поэта, они вложены в него всей массой его товарищей по молоту и по станку.

«Эти песни мне пропели миллионы голосов», говорит Владимир Кириллов,—

Миллионы синеблузых, сильных, смелых кузнецов.

Мало того, что эти песни не являются продуктом индивидуальной воли и мысли поэта, мало того, что они рождены коллективной волей «миллионов кузнецов», но они созданы еще всей мудростью долгих веков, всей зрелостью многовековых напластований.

В своем стихотворении «Другу - Критику» Владимир Кириллов говорит:

Ты говорил: Владимир Тимофеев
Кириллов, тридцати годов,
Вот этих песен золото развеял
И книгу написал стихов.

Какая чушь. Какой мудрец грошевый
Все это выдумал. Не верь, мой друг, не верь, —
Я очень стар, я тридцати - вековый,

Древней чем Новгород, Москва, и Тверь.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Жизнь непрерывная во мне цветет и зреет
И не одна меня ласкала мать...

Вот почему:

Эти песни — зов могучий к солнцу, жизни и борьбе,
Это вызов непреклонный злобной, тягостной судьбе.

Вызов не на словах, а на деле. Вызов, бросаемый в «мятежном страстном хмеле» борьбы и ниспровержения всего дряхлого и отупевшего.

Мы сбросили тяжесть наследья гнетущего,
Обескровленной мудрости мы отвергли химеры:
Девушки в светлом царстве Грядущего
Будут прекрасней Милосской Венеры:
Слезы иссякли в очах наших, нежность убита,
Позабыли мы запах трав и весенних цветов.
Полюбили мы силу паров и мощь динамита,
Пенье сирен и движенье колес и валов.

Вот он смысл и пафос новой поэзии, вот оно ее новое содержание.

Вместо сентиментальности «слез», «нежности», «травы и цветов», вместо ложно-романтических «воздыханий при луне», вместо слащавой символики «узоров вымыслов недужных и призраков могильных слов»,—героическая, подлинная романтика «пара и динамита», «искусственных солнц», заводских «сирен» и вечно движущихся, творящих новую жизнь «валов и колес».

Разрушая старую красоту, новый поэт творит новую:

Он, убивая и разрушая,
Иной, прекрасный
Мир творит.

Да, этот творец, этот новый «спаситель» явился в мир в грохоте и громе разрушенья и борьбы,—явился не оттуда, откуда его ждали.

Думали явится в солнечных ризах,
В ореоле божественной тайны,
А он пришел к нам в дымах сизых,
С фабрик, с заводов, окраин.

Думали, явится в блеске и славе,
Кроткий, благостно - нежный,
А он подобно огненной лаве,
Пришел многоликий, мятежный...

Новый поэт покончил раз навсегда со всеми «археологами божественных тайн», со всеми легендами, баюкавшими человеческий разум.

Мы разучились вздыхать и томиться о небе. Жизнь творится на земле, а не на небе, и новая песнь должна биться тут же на земле, ее муками болея и ее радостями сияя.

Новые дали измерим
Взором прожекторов глаз,
Мы никогда не поверим
В сказочный райский Шираз.

Здесь на земле будем биться
В терниях, розах, крови,
Знаем, здесь загорится
Солнце вселенской любви.

Жизнь на земле расцветет небесами и населят их, эти земные небеса, земные боги - люди.

И когда суров и строг,
С неба взглянет древний Бог
И увидит мир иной —
Скажет с грустью и тоской:
Люди сами стали боги —
И уйдет в свои чертоги
На покой.

Это новый мир, «мир иной, прекрасный» куется «в терниях и крови», в «Красном Кремле», полном «мудрости предков и солнечной нови», рассылающем «радио - птицы» по всему миру и будящем всех, кто «в оковах» везде, «где ржавые тяжки затворы».

. . . Радио - птицы летят и летят из открытых бойниц
За моря, океаны и горы,
Где братья в оковах, где ржавые тяжки затворы,
Где лица опущены ниц,
Там яростный клекот огонь источающих птиц.
И падают, падают слов метеоры - ракеты:
«Ловите, ловите, дары непомерных щедрот,
Кометы посланий и звездные строки декретов,
Восстаньте, спешите, вас Кремль краснозвонный зовет...
Израненной Индии стоны
И вопли несметных раскосых рабов

Гнездятся под сенью твоих куполов,
Где молнии бурь начертали вселенной законы.
О, Новая Мекка! О, Ноев Ковчег
Бушующих дней мирового потока!
В крови и смятеньи Восток и Европа,
Но смел и уверен твой огненный бег.
Плыви, о, плыви, златокрылый корабль - исполин, —
Уж голубь несет долгожданную ветку спасенья,
И колокол древнего веча с твоих нерушимых вершин
Вещает народам, что близится день Воскресенья.

Этому «дню Воскресенья» и посвятил свои стихи Владимир Кириллов. Он сам назвал свои песни песнями «близких радостных веков», песнями золотых грядущих дней», он разгадал

Зари грядущей лик чудесный...

и отсветы этой «зари» расцветили поэзию Владимира Кириллова.

# ВЕНИАМИН КИСИН.

На каменных плитах города, на его «хромых тротуарах», среди «искусанных крыш», «кривых этажей», «горбатых заборов», в этом «обесчещенном» мире, «никем не оплаканный» живет «сын Достоевского»—Вениамин Кисин.

Достоевский гранитный не забьется в падучей,
не дрогнет
Глазом жестко-бесцветным, осужденно-косым,
Когда в слякотный день на расхлябанных дровнях
Никем не оплакан его собственный сын.

И как верный сын его он впитывает в себя из улиц и переулков города всю сочащуюся по ним горечь, весь яд тех соленых слез, что льют на его мокрых бульварах грязные и больные проститутки, всю боль тех измученных душ, что глушат свою тоску по угарным чайным, под пьяный визг цыганской песни.

Недаром владеет им этот ужас,

Ужас души,
Оставленной в темной улице
Во власть ветра и хлопающих ставней.
Когда кажется,
Что мертвецы сзади хватают холодными руками,
И волосы становятся дыбом от ужаса
На голове.

Недаром, охваченный этим ужасом, он в последней растерянности, бросается к «Богу».

И когда убеждается Вениамин Кисин в том, что «Бог» его, на которого он так надеялся, «продал» его «чорту» и даже не чорту, а просто «мелкому пакостнику», «неопрятному щенку», который готов увиться «за каждой юбкой-юбочкой», душу его охватывает полное отчаяние, в спазмах которого он вопит на весь мир:

Так роди же ты Ночь, огневое чудовище —
Пусть пожрет этот мир и меня вместе с ним,
И отравится язвами, кровью и гноищем, —
И само околеет под небом пустым.

Но вот грянула над землей гроза очищающая.

В крови и пламени багрово восстает
Свобода алая, рожденная громами.

И к ней обращается его измученная, усталая душа.

Я жребий мой безмолвно отдаю,
И молодость, живую песнь мою,
И первый цвет весенних воздыханий.

Отныне просветленный и зоркий бродит по миру творческий взор Вениамина Кисина.

Пред ним, как на кино-экране, проходят картины мира, но не в пышном великолепии символической отвлеченности, а в конкретных, простых и ясных образах: портной, иконописец, пастух, шарманщик, могильщик, живописец, водолив, сапожник, монах, купец, барин и т. д. и т. д.

И восклицает поэт:

Всех вас нести до самой смерти —
Где? В груди ли? В крови ли? Во сне? —
И воет вьюга. И ветер вертит.
Ко сну ли вертит иль к новой весне?

Опять «ко сну», если в этих распыленных, разрозненных образах не почует Вениамин Кисин ту движущую силу, которая сцепляет или сталкивает их в жизни, «к новой весне», если сам он проникнется ею и войдет в жизнь не как зритель, а как участник и творец ее.

# НИКОЛАЙ КЛЮЕВ.

Николай Клюев—деревнский «избяной» поэт.

Были у нас народные поэты, поэты крестьянские, но до Николая Клюева не было поэтов русской деревни, никто до него не нашел в бездонной деревенской кошнице тех слов, которыми, как жемчугами, унизал Николай Клюев свои стихи.

Он сумел нащупать самый пульс деревенской жизни, которую он поставил выше искусства.

Свить сенный воз мудрее, чем создать
«Войну и Мир» иль Шиллера балладу.

И всю красоту этой «мудрой» жизни он передал в своем крепком и ярком слове.

Вешние капели, солнепек и хмара,
На соловом иле первая гагара,
Дух хвои, бересты, проглянувший щебень,
Темью - сонь - ли пуша, россказни, да гребень,
Тихий, мерный ужин, для ночлега лавка,
За оконцем месяц — Божья камилавка,
Сон сладимей сбитня, петухи с просонок,
В зыбке снигиренком пискнувший ребенок,
Над избой сутемка — дедовская шапка,
И в углу божничком с лестовкою бабка...
От печного дыма ладан пущ сладимый,
Молвь отшельниц елей: «иже херувимы».
Вновь капели бусы, солнепека складень...
Дум гагар пролетных не исчислить за день,
Пни — лесные деды, в дуплах гуд осиный,
И от лыж пролужья на тропе лосиной.

Не дает ли вам это стихотворение почувствовать красоту северной деревни лучше, чем сотни и тысячи этнографических трудов?

Николай Клюев нашел свою красоту, свои формы и свои слова, он услышал в жизни звук, «понуждающий» создать песню. Он сам говорит, что «в малый миг»

Родимой речи таинство постиг,
Прозрел, что в языке поруганном моем
Живет синайский глас и высший трубный гром;
Что песнью мужика: «В зеленах лузях»
Создать понудил звук, и тайнозренья страх.

А жизнь, к которой он подошел с этими дарами, он знает хорошо.

...Души печи и телеги
В моих колдующих зрачках,
И ледовитый плеск Онеги
В самосожженческих стихах.

Его «избяные песни» точно шаг за шагом передают своеобразную жизнь избы, особенности ее быта, обычая, ее радостей и печалей, звон смеха и грусть ее слез, ее религиозные верования и суеверия, ее языческое любование жизнью, так причудливо переплетающееся с христианским смирением и аскетизмом.

Как много в клюевских стихах своеобразной языческо-христианской мифологии.

То четыре вдовицы «в поминальных платках», обходящих с ковригою печь, посыпающие пеплом «куричий хвост», то журавли, уносящие душу страдалицы-крестьянки в ее особенный, крестьянский рай, где в красном покое на дубовых столах расставлены миски с киселем, где святых наряжают в «камлот и атлас» и поят их с «ендовы росписной» «живой иорданской водой», то закат, приносящий стихирь и устраивающий вынос тела, то крестьянские святые—Митрий Солунский, Микола, Влас, Иван Креститель, Илья-громовник, Ерема-запрягальник, Аверкий-банный согреватель, Селентий-Калужник, Олексий-пролужник и т. д., то мифологические образы природы: Сентябрь-скопидом, ссыпающий медяки желтых листов, содранных его сыном Листодером, в сундуки котловин, Заря, качающая Солнцеву зыбку, закат-золотарь с Сутемкой, Зарянкой и внучкой Звездой и т. п.

Своими стихами Николай Клюев вплотную вводит нас в своеобразную поэзию этой жизни:

Стихов кошели полны липовым медом,
Подковами радуг, лесными «ау».

Набрасывая штрих за штрихом, передвигая медленные ритмы своих стихов, он передает только то, что сам прочно впитал в себя, как подлинное и непреложное. Вот он пишет каждодневную, трудную жизнь крестьянки:

Ко полуночи квашенку раствори,
К петухам парную баню истопи,
К утру-свету лен повыпряди,
К полудню вытки белью белые холсты,
В сутеменьках муженьку сготовь порты,
У портищ, чтобы были строчены рубцы...

Недаром замирает жизнь деревенской избы со смертью крестьянки:

Лежанка ждет кота, пузан-горшок — хозяйку,
Об'явятся они, как в солнечную старь,
Мурлыке будет блин, а печку многозпайку
Насытят щаный пар и гречневая гарь.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Увы, напрасен сон. Кудахчет тщетно рябка,
Что крошек нет в зобу, что сумрак так уныл,
Хозяйка в небесах, с мурлыки сшита шапка,
Чтоб дедовских седин буран не леденил.

Здесь в самом ритме, в самой словесной и буквенной игре передалась та долгая дрема, та снотворная лень, что таится в зимние дни и ночи в каждом углу избы.

Но вот стукнула в окно весна и

. . . за окном чета доверчивых сорок
Стрекочет: «близок май, про то, дружок, узнай,
Узнай, что снигири в лесу справляют свадьбу,
У дятла-кузнеца облез от стука зоб,
Что вверивши жуку подземную усадьбу
На солнце вылез крот — угрюмый рудокоп,
Что тянут журавли, что проболталась галка
Воришке-воробью про первое яйцо»...

Также по деревенски, как почуял Николай Клюев природу, как описал он деревенскую зиму и деревенскую весну, так, по деревенски же, встретил он и войну, и революцию.

Войну он увидел, когда в его родной деревне «август-дед подарил гармониста ружьем», когда услышал он «поминные приплачки» и медный стон тальянки, «насулившей войну».

Луговые потемки, омежки, стога,
На пригорке ракита — сохачьи рога,
Захлебнулась тальянка горючею мглой,
Голосит, как в поминок, семья по родной:

«Та-ля-ля, та-ля-ля, ти-ли-ли».
Сенокосные зори прошли,
Август — дед, бородище снопом,
Подарил гармониста ружьем.
Эх-ма, старый, не грызла-б печаль,
Да родимой сторонушки жаль.
Чует медное сердце мое,
Что погубит парнюгу ружье,
Что от пули ему умереть,
Мне-ж поминные приплачки петь...
Луговые потемки, как плат;
Будет с парня пригожий солдат,
Только стог — бородач да поля
Не услышат ночного «та-ля»...

Медным плачем будя тишину,
Насулила тальянка войну.

Много горя свалила эта безумная война на плечи старушки - деревни. И Николай Клюев всем сердцем болеет за сердечную, за «нивушку - чернешеньку, не взрастившую ржи - гуменницы, к солнцу выгнавший чедняк-траву с горькой пестушкой», он скорбит душой. что «пошатилася изба» без «избяного хозяина», без «доможирщика».

Знает он, что

В этот год за святыми обеднями
Строже лики и свечи чадней,
И выходят на паперть последними
Детвора да гурьба матерей.

На завалинах рать сарафанная,
Что ни баба, то горе-вдова;
Вечерами же мглица багряная
Поминальные шепчет слова.

Был грех; заражался и Николай Клюев общим треском барабанным, лже-патриотическим военным угаром и он в общем хоре подпевал о «басурманах». о «злом вороне», о «волчьей повадке, рысьем мяуканьи, вое», о «Муромцах, Дюках, Потоках, что Русь и поныне блюдут», о «войне за сирых братов», и т. д., и т. д., но, ведь, спел он песню и про слезный плат, что раскинулся над Русью, песню скорбную от души измученной и искупила она, эта песня, его грех перед вдовами и сиротами, эта песня, стоном во-

шедшая, плачем излившаяся, песня про плат, который «дождиком не мочит, подкопытным песком не заносит».

На тебе ж, словно рос на покосе,
Не исчислить болезных слезинок.

Потому может-быть встретил он «красным звоном» колоколов революцию, что в ней почуял солнце, которое взошло над миром, чтобы осушить его слезы невинные.

В революции он увидел народную радость, землю освобожденную, народ пробужденный и «ярый гнев» в нем проснувшийся:

Пролетела над Русью жар - птица,
Ярый гнев зажигая в груди...
Богородица наша землица, —
Вольный хлеб мужику уроди.
Сбылись думы и давние слухи
Пробудился народ — Святогор;
Будет мед на домашней краюхе,
И на скатерти ярок узор.

Эту «тальяночную» деревенскую марсельезу о понятой по своему революции, о «Народе-Святогоре», о Народе—«воскрешенном Иисусе» грянул весь клюевский мир, ограниченный покосившимися заборами и воротами крестьянского двора.

«Вставай подымайся» — старуха поет,
В потемках телега и петли ворот...

Конечно, и Николай Клюев знает про всемирность, всечеловечность нашей револции:

Многоплеменный каравай
Поделят с братом брат, —

но больше всего стих его ликует от того, что красную радость революции почувствовала его родная, деревенская изба. О ней не забыл он даже в этот час всемирной, солнечной радости.

Ниоклай Клюев «мужицкий поэт», поэт избы, он день за днем следит ее трудную жизнь и передает ее в тугом и трудном слове, но сквозь подслеповатое оконце своей избы он видит землю, радующуюся жизни, людьми оскверненную, но людьми же и очищаемую от скверны, видит поля и луга, раскинувшиеся в светлых муках «вольных урожаев» и небо голубое, засиявшее красными зорями горячих солнц любви и свободы, уже бросающих свои лучи из-за повитых еще «сутемками» горных цепей.

# СЕРГЕЙ КЛЫЧКОВ.

В резных и разукрашенных хоромах старых сказаний, легенд и поверий родились песни Сергея Клычкова.

Старый Дед меж толстых кряжей
Клал в простенки пух лебяжий,
Чтоб резные терема
Не морозила зима.

И действительно в этих резных теплицах стихи его укрылись от лютых морозов жизни. «Сад мой цвел во всем году», говорит Сергей Клычков. В этих «теремах» он играет на «гуслях - дивах» звонкие «небылицы» о старцах, колдунках, леших, о Ладе и Бове, о красногривом Горбунке, о сторожах с «серебряными бородами», о лебедях с «беломраморной грудью», о богатырях, сладко спящих «возле гор на коврах златотканных» и т. п. В песнях своих он с'умел побрататься с природой:

В очах далекие края,
В руках моих — березка,
Садятся птицы на меня
И зверь мне брат и тезка...

Но почему в этих песнях не гаснет печаль?

Я все пою — ведь я певец,
Не вывожу пером строки,
Брожу в лесу, пасу овец
В тумане раннем у реки...

Прошел по селам дальний слух
И часто манят на крыльцо,
И улыбаются в лицо
Мне очи зорких молодух.

Но я печаль мою таю
И в певчем сердце тишина
И так мне жаль печаль мою,
Не зная, кто и где она...

Он часто жалуется на эту свою печаль, не зная «кто и где она», где ее истоки и корни, не понимая, что зарождается она именно в этих «резных теремах», закононаченцых «старым дедом», именно в этой лирической от'единенности от мира, про которую он говорит:

Нет в мой сад дороги другу,
Нет пути врагу!..

И понятно, что Сергей Клычков, замкнувшийся в своем лирическом саду, больно ощущает свое одиночество и даже в счастливые минуты слышит, как «у окон плачут совы».

И, он чувствует, что счастье и радость не в этой от'единенности, а в том, чтобы прильнуть к жизни, «принять» ее радости и уйти с ними в «безбрежную новь».

... И верю я, идя безбрежной новью,
Что сладко жить, неся благую весть:
Есть в мире радость, есть: принять и перенесть,
И словно облаку закатному доцвесть,
Стряхнув с крыла последний луч с любовью...

И пусть зовет Сергея Клычкова —голубая Улесь» снова туда, где «былые предки глядят, склонивши седины», где «сквозь туман синеют села» и «пылает призрачная Русь», пусть пытается удержать его в своем «плену веселом»,—раз познавший радости земные, раз увидевший новые зори и почуявший открывшуюся миру «безбрежную новь», он не вернется в ее «резные терема» никогда.

# МИХАИЛ КОЗЫРЕВ.

«В потертом пальто с чужого плеча» бродит городской «король»—Михаил Козырев по улицам и закоулкам города.

Медленно, избегая «слишком резких толчков», проходит он мимо домов, где бьются, как испуганные птицы, человеческие чувства и мысли и жадно, ненасытно впитывает их в себя.

Михаил Козырев знает, как это трудно—извлечь из запыленных городом душ таящиеся в них подлинные радости и муки. Для этого надо «сбросить лохмотья слов», увидеть жизнь очищенную, «такой какая есть»,—

И люди не будут
повернутые одним боком,
знакомые — незнакомые,
одетые хорошо и дурно,
различаемые цветом волос.
Увижу каждого человека,
его небо и землю
и еще его тайну,
в которой сознаться
он не смеет даже себе.

Для этого нужно иметь душу поэта, душу открытую настежь, душу, в которую вошло «нежданное».

Поздним вечером приходит нежданное,
Вбежит и забудет дверь закрыть.
И в душе зародится волнение странное —
Ничего в ней ни спрятать, ни скрыть.

Так и останешься на веки вечные
С открытой дверью и раскрытой душой
И сердце взволнованное, светло безпечное,
Наполнится радостью слишком большой.

И его не заставишь биться размеренно,
Запрыгает быстро, как обрадованный зверь.

Так навеки останешься с душой растерянной,
Как будто в комнате открыта дверь.

И, конечно, такое «сердце взволнованное» прилепляется к каждой «малой незаметинке», к каждой «пылинке живого», оно

...входит в раскрытые окна,
Плывет в извивных глубинах душ.

«Ненасытным взглядом ребенка» смотрит на мир Михаил Козырев, поэтому так светел и радостен ему «неблагодарный труд поэта». Увидев человека «до дна», почувствовав его своей вскрытой и взволнованной душой, Михаил Козырев светится в своих стихах «улыбкой большой и светлой», которой «не закрыть никакой тучей», хоть и часто они набегают на его нервные, «прыгающие быстро», «растерянные» строки.

# А. КРУЧЕНЫХ.

«Слова умирают, мир вечно юн. Художник увидел мир по новому, и, как Адам, дает всему свои имена. Лилия—прекрасна, но безобразно слово—«лилия», захватанное и «изнасилованное». Поэтому я называю лилию—«еуы» и первоначальная чистота восстановлена»,—говорит А. Крученых.

Между первосозданным, девственным миром и поэтом встало слово, «захватанное» и «изнасилованное» и заслонило собой всю изначальную чистоту и красоту его. Поэты стали воспринимать мир не в явлениях, а в словах.

Бунтарская, адамова, дикарья душа А. Крученых затосковала по истокам, по началам, по высотам, еще не оскорбленным ничьими прикосновениями.

Вчера
в ½ минуты пополудни
мир скончался на моих руках.
Я вскочил в испуге
и стал шептать
пустые слова —
телеман... злосте шу...
скуе...

Вот в чем пафос А. Крученых! Мир, растворившийся в затасканных, обезличенных и обесцвеченных словах «скончался на его руках» и он «стал шептать» пустые слова.

«Пустые», бессмысленные, внесмысленные, надсмысленные, «заумные» слова, в которых он почувствовал мир в его адамовой чистоте.

Попробуйте произнести его «Высоты» раздельно и внятно—

е у ю
и а о
о а
о а е е и с я
о а
е у и е и
и е е
и и ы и е и и ы

и если вы способны хоть на минуту отвлечься от привычного вам «словесного» мира, то, может быть, и вы с'умеете почувствовать эту первозданную, «вселенскую» чистоту.

Когда А. Крученых пытается сочинять стихи на обыкновенном, смысловом, «умном» языке, то вы чувствуете, как он беспомощно барахтается в этом «шитом не по нем платье», но стоит ему сбросить это «платье» с себя, как произведения его (не будем называть их «стихами») приобретают какую-то неожиданную, внутреннюю силу и убедительность.

Котеро
Перо
Бясо
Муро
Коро
Поро
Ндоро
Ро

(«Песня шамана»).

Здесь есть какая-то детская простота и непосредственность, соединенные с детской силой и выразительностью.

Сравните, например, эту «Песню Шамана» с детской игрой Вятской губ., приведенной в книге Е. А. Покровского «Детские игры»:

Перо
Перо
Уго
Теро
Пято
Сото
Иво
Сиво
Дуб
Крест,

или с такой же детской игрой Тульской губ.:

Перо
Ера
Чуха
Луха
Пяти

Соти
Сиви
Или
Пень.

И пока все поэты тосковали по этой детской чистоте и непосредственности слова (см., например, статью Виктора Шкловского «О поэзии и заумном языке» в сборнике «Поэтика»), жалуясь на свое «косноязычье», А. Крученых смело «выплюнул слова», презрев причитания «сонных мудрирей» от поэзии и науки.

Мы звучавцы, мы звукуем
Среди сонных мудрирей.

Может быть, то, что делает А. Крученых не поэзия, может быть, оно меньше поэзии (а, может быть, и больше?) но, во всяком случае, в его книжках трепещет жажда здорового (без посредников) восприятия мира и звучания его в детски-ярком и адамово-новом слове.

# АЛЕКСАНДР КУСИКОВ.

Александр Кусиков—гость в печальных полях нашей северной поэзии. Его муза родилась в аулах за Кубанью, «в разбитой сакле у родной реки», была выкормлена черкешенкой Галимой, от которой она получила свое белое молоко лиризма и горячую, но медлительно-ленивую кровь радостного бунтарства, была выпянчена «на обрубленных плечах» «старого пня», отца-черкеса, у которого она научилась молчанию и слушанию затаенности природы и мудрому знанию ее жизни.

О, знал я как тандыкает
Перед дождем гигикалка,
И белой песней никнет как
В лесу черешня дикая.

Я знал, как терен красными
Царапается пальцами,
И как подсолнух заспанный
На солнце просыпается.

Я слушал, как мне радуга
Читала строки дождика,
Как за речной оградою
Волнастругала ножиком.

Все разгадал, все выслущал
Весь мир познал в навозе я,
Намокший облак высушил
На камышевом озере.

Мне небо улыбается
Сноп солнца распоясанный,
А радость дней бодается
Бычек - бодунчик с яслями.

Но от солнечного Закубанья Александр Кусиков, «с гор снесенный пото-

ком», пришел к «новой Мекке», в «город вз'ерошенный», в «город чужой», где

Гулко,
Всклокоченно - гулко,
Чужие
Чужие
Кругом,

где

Визгло вывески висли
Карусельным застывши скоком.
Четкий топот копыт,
Скач,
Грохочущий плач,
Шины шипят — змеи города...

Он пришел к нашим северным рекам, впитавшим в себя всю печаль наших бескрайно раскинувшихся полей, всю грусть наших полыхающих закатов, всю нежность и тоску нашей песни, и они влились в душу Александра Кусикова со всеми своими богатыми грузами, слившись там с бурливыми и страстными потоками его родных рек.

Кубань и Волга, Енисей и Терек,
В меня впадают, как один приток.

И две веры слились в его душе, два восприятия мира—Коран и Евангелие, восточная языческая мудрость и христианское смирение, восточная эротика и христианский аскетизм, восточное любованье жизнью и христианское отречение от нее, восточное цветение плоти и крови и христианское умерщвление их во имя цветения духа.

Зачитаю душу строками Корана,
Опьяню свой страх Евангельским вином —
Свою жизнь несу я жертвенным бараном
И распятым вздохом, зная об ином.

И две родины-отчизны получил поэт:

Есть у меня и родина Кубань,
Есть и отчизна — вздыбленная Русь.

Этот «один приток», в который слились в его душе все эти реки Александр Кусиков назвал «Коевангелиераном».

Звездный купол церквей,
Минарет в облаках,

Звон дрожащий в затоне
И крик муэдзина.
Вездесущий Господь,
Милосердный Аллах: —
Ля иля илья - ль Ла,
И во имя Отца
Святого Духа,
И Сына.

**
*

Два Сердца,
Два Сердца,
Два сердца живых,
Два сердца, трепещущих разно,
Молитвенно бьются в моей рассеченной груди, —
Вот закутанный в проседь черкес,
Вот под спицами няня,
И мне было рассказано,
Что у Господа Сын есть любимый,
Что Аллах в облаках один.

Александр Кусиков думал, что ничто не с'умеет «природнить бедуина к заветам фабричных труб», что никогда не «проскрипит на Арбате» его родная «арба» и он рвался на родину своих мыслей и чувств, к колыбели своих образов, к родимой Кубани.

То белый конь мой — ветер неподкованный
Мчит гриву — мысль на Закубанский брег.

И еще:

Мне бы только вернуться в родимый аул,
Семь небес затрепещут от стрел моих слов.

Но он не знал еще, что его слово зацветет в садах русской поэзии таким полным цветом, он не знал еще, что ростки его образов привьются на нашей северной почве.

«Имажинизм» Александра Кусикова не случайное определение себя в той или иной «школе», в той или иной группе,—это «имажинизм» его пышной восточной крови, это цветущая образность ленивой восточной речи.

Сам поэт

В черной бурке пещерных легенд,
В папахе вз'ерошенных мыслей,

его думы—табуны «кабардинок», у его возлюбленной плечи из «Песни Песней», у нее «библейская поступь»,

Брови — черное утро сов,
Губы — свежая рана мюрида,

его коврик «жемчугом, слезами сердца вышит».

И так же образно цветет вокруг него вся природа:

Облак атласной туфлей Аллаха
Тонет в ковре бирюзовом,
Я слышу с востока восходные зовы,
Ветра в лохматой папахе.
. . . . . . . . . . . . .
Месяц - пастух запрокинул свой красный башлык,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Щиплет шерсть на матрацы туман.

С этим чисто восточным «имажинизмом» Александра Кусикова причудливо соединяется подлинно-северный, напряженный лиризм, который медленно зреет и наливается в поэтовой душе и туго расцветает в слове.

Такое состояние Александр Кусиков очень точно описал в двух строках:

Знаю, что просятся строки,
Но подолгу не знаю о чем.

И когда, наконец, эти строки изливаются в мир, они насыщены трепетным лиризмом, которому кажется, что он первороден, первосоздан в этом мире.

Я первый влюбленный,
Серебряный Лебедь,
Хочу в эту синюю
Грусть
Заплыть.

Пролетевший над миром «Красный Ураган» Александр Кусиков встретил мудрым восточным приветом:

Кто победит — Иран или Туран — я знаю.
Пройдет все страны Красный Ураган — я знаю.

Этот «Красный Ураган» «зарябил» душу поэта, зажег его «костром новых дум», на котором он готов уже сжечь «и Коран, и Евангелие», и мы не боимся за поэта, мы не боимя, что после этого костра в душе его останется только пепел от сожженных ветхих страниц.

Кто садиться на коня умеет,
Тот умеет и слезать.

Ловким джигитом «сел» Александр Кусков на своего коня, взнуздал его крепким словом, подхлестнул уверенным ритмом и пришпорил пышным образом.

Так же ловко и красиво «слезет» поэт с этого коня, если ему захотелось другого, более горячего и могучего, но и более зрелого и уверенного в своих силах, коня, который примчит его в мир новой жизни и новых образов.

# КОНСТАНТИН ЛИПСКЕРОВ.

Зримый мир для Константина Липскерова лишь «дым густой», что вьется из трубки мечтателя—курильщика. Все в нем хрупко и призрачно, мимолетно и неверно.

Его «душистая», «звездная», «одетая в атласный халат» восточная плясунья—«муза», подала ему «услужливый бамбук в серебряной оправе» и вот

...проходят мимо
Земные образы. Но сладко мне взирать
На этот прошлый мир. Я знаю: все, что зримо:
Ограды и сады, песков пустынных гладь,
Могилы и базар, дома родного края,
Луна влекущая опять, опять, опять,
Все, что несет людей, баюкая, качая,
Все только дым пустой. Его я вижу. Вот, —
Из трубки медленной курильщика плывет.

И человек в этом «хрупком мире» только «мимолетная, тающая тень», «призрак».

Мир скользит, — и ты скользи по миру.
Сядь в ладью скитаний золотую.
Поплывем от острова к другому —
Призраки по призрачному царству.

В этом, созданном его творческим воображением, мире Константин Липскеров проходит с высоким и холодным равнодушием мудреца, которому «все равно» «как принять печаль и радость».

Этой мудрости он учится у природы, которую видит именно такой радостно-мудрой.

Посмотри, как спокойно о земь
Задевает летящий лист.
Как молитвенно всходит озимь!
Как младенческий вечер чист!

Как над шумным янтарным долом
Тишины серебрится сень!
Мудрым стань ты и стань веселым,
Как осенний, блаженный день!

И как бы обращаясь к своей музе Константин Липскеров говорит:

Будем петь о том, что весело
На морях и на земле.

Таким мудро-веселым, цветистым краем раскинулся перед ним знойный Восток, на который его творческая мечта натолкнулась не случайно.

Восток ответил душе Константина Липскерова всем своим мудрым покоем, своим внутренним ритмом, своими безлюдными пустынями, своей солнечной многокрасочностью.

Как слитно - многокрасочен Восток!
Как грустен нескончаемый песок
Как движутся размерно караваны!
Как манят неизведанные страны!
Как опьяняет юный аромат,
И росной розы розовый наряд!
Моей мечты — подобие Восток,
Моей тоски подобие — песок,
Моих стихов подобье — караваны,
Моих надежд — неведомые страны,
Моей любви подобье — аромат,
И росной розы розовый наряд!

И в самом деле Восток напитал жадную мечту Константина Липскерова своими «великолепиями», своей «немой» цветистостью, своим «безлюдием».

Как хороши вершин лиловые цепи!
Как золотой обширен кругозор!
Но больше всех твоих великолепий
Твое безлюдье радует мне взор.

Одни пески, одни немые груды!
Покорствую кочующей судьбе,
Мои мечты, как мерные верблюды,
Проходят, колыхаясь по тебе.

Ритм этих мерных, медлительно-колышащихся «неспешных» степных караванов передался и стихам Константина Липскерова вместе с ширью

туркестанских пустынь, которые стали «мудрой опорой» его «напевам», его второй родиной, его «страной».

И туда, в эту страну, где «медленны минуты», «пышны просторы» и «широки пески» убегает мечта Константина Липскерова от вседневной смуты жизни. Везде, и в «улицах людных» города, где,

Шелестя по рельсам,
Звякает трамвай,

он «глаза закрывши», видит «образ Кришны, в позолотах ниши грезящий в тиши».

Неужели даже налетевший «самум», взвивший в своем огненном вихре весь мир, не помешает Константину Липскерову «тихо спать» и грезить о «таинственной тиши садов», о прохладных «фонтанах» и «порхающих» над ними «птицах»?

# АЛЕКСЕЙ ЛОЗИНА-ЛОЗИНСКИЙ.

В какой тоске по смерти и в то же время страхе перед ней жил Алексей Лозина-Лозинский, этот странный угловатый мыслитель-поэт! В стихах его то и дело всплывают какие-то призраки смерти. Он не то предчувствовал, не то просто предрешил свой трагический конец. *)

Я с интересом все слежу и замечаю,
Я апплодирую, презрительно свищу
И знаю про себя, что ничего не знаю,
Но и познания я больше не ищу.

И смертью странною иллюзий и событий
Доволен я теперь. Иду, иду вперед
От старых тщетных дум к тщете других открытий
Пока на полпути все смерть не оборвет.

Трагедия Алексея Лозина-Лозинского в странной раздвоенности всего его душевного склада, так мучительно полно отразившейся в его творчестве.

Острый, измученный вечными противоречиями жизни, ум боролся в нем с движениями сердца, в глубине своем нежного и тосковавшего по любви.

Движения эти Алексей Лозина-Лозинский находил в себе странными, «необычайными».

Да, это было так: глухой бульвар, окрайна.
Я ночью шел... Зачем? Я шел любить, мечтать,
Я почему-то был совсем необычайно
И странно ласковым, готовым все обнять.

Сердце его было все в «запекшейся крови» и безудержно рвалось к «простой, не мыслящей, бессмысленной любви», «простой» и нежной, как наигрыш пастушьей свирели, «не мыслящей», потому что устал ум его, изнемог под невыносимым бременем логических выкладок и построений, «бессмысленной», потому что устал поэт искать во всем смысла, устал быть «верблюдом, черезчур нагруженным, упавшим под тюками в пыли», измученным беспрестанными ударами своего проводника—«ума», раздраженного и печального «изгнанника земли».

---

*) Алексей Лозина-Лозинский окончил жизнь самоубийством.

Тяжелы на истертых плечах
Драгоценности рынков далеких,
Как он хлещет меня мой феллах,
Между глаз, утомленно - глубоких.

Короткий жизненный путь Алексея Лозина-Лозинского весь исполнен мучительных исканий души, изнемогающей под ударами этого «феллаха»— раздраженного и озлобленного ума. В неутомимой жажде по какой-то примиряющей истине бродит он по миру и отдельные пункты его «Благочестивых путешествий» это только этапы его исканий.

Неаполь, Капри, Помпея, Кастелламаре, Позитано, Салерно, Санкт-Петербург, Ферровия... и что же?

Как глаз Кальмара кругл, недвижен и неверен,
Сверкает газа шар... Спят люди в темноте...
Но тайный смысл вещей внезапно мной утерян
И все вокруг ненужно мне...

Так вся недолгая жизнь Алексея Лозина-Лозинского, этого «шатуна по свету», этого сегодняшнего Гамлета под уродливой маской развеселого гаера, прошла в бесконечных метаниях от слез к улыбкам, от печального приятия мира к его отрицанию, от «старых тщетных дум к тщете других открытий», пока смерть, дикая, нелепая дико и нелепо не оборвала эту жизнь.

# М. ЛОЗИНСКИЙ.

Не всякому дано быть ярким, радовать душу звонким чудом стиха, печалить медлительной грустью или потрясать гневными проклятиями. Есть души, что свиты из тонких паутинок, чуть трепещущих в закатных, вечерних лучах. И их песня не может быть звонкой и яркой, она чуть слышна, как далекая свирель, как далекая свирель в вечерний час.

И все равно «человек не может перестать звучать. Он всегда должен петь свою человеческую душу, хотя бы тихо, чуть слышно». *)

Таков М. Лозинский. Его стихи—словно сон, пришедший просто и легко, без хмурых видений и тяжелых кошмаров. Лишь «небывавшей влюбленностью» может взволноваться его душа и воображение его затрагивает лишь «далекий огонь». Все слишком близкое, реальное, всякое, даже самое легкое, касание кажется ему грубым. Даже в прошлом, ничего «бывшего», совершившегося.

И все, что прошло, только снилось,
Мы снова, как дети с тобой...

Даже дыхание называет М. Лозинский—«нежным бременем», а душу «навязанной ему, как докучный недуг». И от этого «бремени» хотел бы он избавиться, чтобы даже в настоящем быть не существующим, а легким и прозрачным сном.

Он отрекается от всего, что может сделать его земным, телесным, прежде всего от своего тела, грубого, злого, а потом даже от души и даже от сердца, чтобы стать «лишь эхом бестелесных сил».

В плывущих струях, в вечной смене
Я гордость сердца расточил,
Чтоб быть лишь отзвуком мгновений,
Лишь эхом безтелесных сил.

И все прозрачней, все чудесней
Их отдаваясь волшебству,
Вдруг услыхать как в дальней песне,
Что это я, что я — живу.

*) Петер Альтенберг, „Первобытная".

Реальная жизнь для него это только весть с чужой стороны, «дальняя песня».

Факты жизни, лишь «сны, отраженных в снах», а сам он «тень среди теней». Конечно, он знает, что есть «недвижная мгла» и «темные раны», он видит непроглядный мрак жизни, ее тяготы, печали и муки, но он не проклинает их. М. Лозинский пьет из «легкой чаши» светлого примирения с жизнью в легком и радостном сне:

Итти, дышать, лелея хрупкий час
И заклинать оснеженные дали,
Чтоб звон не смолк, чтоб медленнее гас
Небесный жемчуг в зеркале печали.

А когда муза позовет к себе «ночь» и «слепоту» и над поэтом встанет «тьма», к которой он «никогда не примыкал еще губами»,

В замершие глаза все тот же хлынет свет,
Все тот же царственный неодолимый бред
Пустынной площади и ветра золотого.

«Горные ключи» стихов М. Лозинского спадают в долины жизни холодными, светлыми и прозрачными струями с тех высот, где эта жизнь переживается, как «дальняя песнь», как «сон, отраженный в сне».

# СЕРГЕЙ МАЛАШКИН.

Сергей Малашкин—поэт пролетариата. В этом его значение и сила, в этом его пафос. Он идет вместе со своим классом и перед ним растилаются гигантские панорамы мировых пожаров, классовых сдвигов, вековых напластований.

Что ему, ослепленному этими могучими космическими вихрями, что ему до столь излюбленных поэтами страданий и радостей отдельных людей, которые в этих вихрях не более, чем пылинки, приобретающие силу только при сцеплении в коллектив?

Поэтому у Сергея Малашкина почти нет песен об отдельном человеке, не слитом в массу. Ему он предпочитает гимны мускулам, которые под звуки набата, пушек и ружей, проклиная «прошедшие века», борятся со старым миром старой красоты и в огне восстания строят новый мир, «к солнцу стремясь».

Кружится вихрем восстанья набат,
Рвутся снаряды в огне баррикад,
Лязгают дула дымящихся ружей,
Мнутся от бури деревья, цветы,
Века красоты.
Валятся главы церквей, образа
В теплые, темно - кровавые лужи,
Где поднимая безумно глаза,
Глубже вдыхая восстанье, как жизни бальзам,
Грубо бросая проклятье прошедшим векам,
Корчатся мускулы, к солнцу стремясь...

Вся поэзия Сергея Малашкина это «проклятье прошедшим векам» и слава новой красоте, неизведанной еще и невиданной, красоте мускулов, играющих радостью вольного труда, слава этому труду—цементу, скрепляющему устои новой жизни и творцу ее—пролетариату.

Слава труду,
Мышцам играющим слава.
Слава в металл перелившим руду.
Слава хватившим в набат
Слава тебе, творец - пролетариат.

В предисловии к одно' из своих книжек Сергей Малашкин так определил свой поэтический путь:

Хочу скользнуть глазами по вселенной,
Мятущейся и гневной.
Забраться к жизни новой в закрома,
Где в муках слова радость приобресть,
Цветами острого терновника расцвесть,
Рдяными, похожими па кровь,
И песнь, пикем не петую, пропеть
Про едва в экстазе мук рожденную любовь.

Правда, эта песнь еще не закована в те могучие формы, которые соответствовали бы ее гигантскому обхвату, но они ищутся—эти формы. Их не могло быть в годы рабства, когда им, молодым поэтам пролетариата

Ночи читали приказ,
За приказом приказ;
«Песен веселых не петь,
Песен своих не иметь».

Но сейчас «ночи» ушли, новая заря забрезжила над миром, и в лучах этой зари поэт пролетариата ищет новых форм для своей песни, так же, как сам пролетариат ищет новых форм для жизни. Он знает, что передать только содержание, только пафос—этого мало, надо еще уловить ритм, найти слово.

И Сергей Малашкин ищет. В гуле заводских машин, в свисте приводных ремней, в лязге железа и стали, в неумолчном говоре рычагов и кранов, в стуке кузнечного молота он ищет эти новые ритмы, новые слова и образы.

Воспевая труд, творческий, упорный и напряженный, поэт сам растворяется в его «восторге и экстазе», сам «кружится» в его радостном танце.

О, круг труда, твое круженье,
И твой восторг, и твой экстаз
Я славлю всюду, каждый час
Поэмой бурной песнопенья.

И, славя, сам в тебе кружусь,
Руками грубыми держусь
За труд, вздымая над собой
Коммуны факел боевой.

Но вот настал светлый праздник коммуны, пролита кровь и закончена борьба, и над дымящимися от пороха и крови площадями и улицами реет светлое знамя, реет красное знамя грядущего коммунизма и поэт, захваченный этим бурным хороводом веселья, создает свои «коммунистические празднества», пропитанные экстазом победы, экстазом радости и солнца.

Эти песни ликования родились в сердце поэта, «влюбленного в товарища, точно как в брата», родились в радости братской, товарищеской любви, когда отдельные сердца сливаются в одно могучее сердце, бьющееся одним биением, живущее одним дыханием, поющее одной светлой радостью.

Слушаю я не один.
Вокруг меня штукатур, каменщик, плотник, что в жизни кружась по лесам воздвигали со мной города;
Вокруг меня слесарь и токарь, что вместе со мной за токарным станком за работой снаряда потели;
Вокруг меня смазчик, масленщик, монтер, машинист, что вдунули душу в машины, в цилиндры вложили со мной свой мозг,
Вокруг меня тысяча тысяч рабочих разных профессий труда.
В кругу их,
Буйных, молодых,
Я буйный кричу на весь мир: это братья мои и товарищи! Все они вместе со мною!

Это чувство саморастворения в радостном творческом коллективе особенно характерно для Сергея Малашкина.

Товарищ среди товарищей, брат среди братьев, он душу свою пронзил их радостями и печалями, он сердце свое пропитал их потом и слезами, в глазах его сияют их радостные улыбки, в голосе его поют их звонкие и радостные голоса, мозолистой рукой своей он высоко-высоко держит алое знамя счастливого братства и любви. Вобрав в себя дым и копоть заводов, черную пыль пропитанной потом земли, ужас и проклятье труда подневольного и

счастье вольного труда, он все это вложил в свои буйные песни «Вихря труда», в свои грозные песни «Мятежей», в свои злые песни «Коммунистических Празднеств».

Пронесшийся по миру вихрь опрокинул старые устои жизни, и они исчезли и как реальные факты и как об'ект для творчества. Цепкое вдохновение поэта не остапавливается у гнилых вех отжившего мира, ему нужны новые источники и они есть.

Эти источники—труд и товарищество, социализм и коммуна.

# АНАТОЛИЙ МАРИЕНГОФ.

Анатолий Мариенгоф—дитя городской площади, кривых городских улиц и переулков. Их хмурая слякотная красота отразилась в стихах этого одного из немногих русских городских поэтов. Кривые, вымученные улыбки, обостренные чувствования, нервная любовь, подчеркнутая рассудочность, переходящая часто в истеричность, угрюмая затаенная злоба к жизни и надуманная, показная любовь к ней, хмурость разочарования, ранняя усталость, прикрытая взвинченностью, искусственным взбудораживанием «утихшей плоти»—вот поэтический скелет Анатолия Мариенгофа, прикрытый его плотной словесной ткапью.

Анатолий Мариенгоф сам называет себя «асфальтовых змей выкидышем», «недоноском проклятиями утрамбованных площадей».

И когда на этих «асфальтовых» улицах и площадях родилась революция, поэт принял ее с каким-то кровавым восторгом злобы, с какой-то истерической кровожадностью, которыми он разрядил мрачный сгусток ненависти, свернувшийся в его душе от векового уклада городских мещанских будней, полетевших в провалы революции.

С какой-то радостной злобой он следил, как под разрывами и визгом шрапнельных «каруселей»

Жители с подоконников
Уносят герани.
И слякотно: «сохрапи нам копеечки жизни, Бог»...

С каким мрачным злорадством он

Лунные пейсы седые обрезал у Бога и камилавку
С черепа мудрого сдернул.

Богоотрицание у Анатолия Мариенгофа переходит в какое-то мстительное богонадругательство:

Кровью плюем зазорно
богу в юродивый взор.

. . . . . . . . . .

Кто-то Бога схватил за локти
И бросил под колеса извозчику.

В революции он увидел «разнузданного коня», ударившего в «небо копытами, «бешеный автомобиль», под колесами которого погибло «вчерашнее».

В небо ударил копытами грозно
Разнузданный конь русский

. . . . . . . . . . .

Глупые головы,
Разве вчерашнее не раздавлено, как голубь,
Автомобилем,
Бешено выпрыгнувшим из гаража?

И он рад вонзить штык в это дряблое «тряпло» вчерашнего, он не хочет «революции бескровной», он злорадствует, что

Кровь, кровь, кровь в миру хлещет,
Как вода в бане
Из перевернутой разом лоханки.

Кровь и огонь—вот что увидел в революции Анатолий Мариенгоф:

Ветошь, всю ветошь в груду
И, как Савонаролла, под песнопенья
Огню . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Тысячелетьями прелый
Огню
Предаю навоз.

Этот огненно-кровавый разрушительный смерч, Анатолий Мариенгоф со свойственной ему взвинченностью и истеричностью, принял как подлинную революцию точно также, как обостренную похотливую страсть он принимает за любовь.

Нам ли, нам ли с тобой спасаться,
Когда корчится похоть, как женщина в родах?

И может ли быть иной любовь, рождающаяся в этих узких, бессолнечных клетках города?

Слушай, ухом к груди,
Как хрипло водопроводами город дышит...
Как же любить тебя, Магдалина, в нем мне?

Конечно, такая любовь изливается в непобедимую, звериную тоску:

Где-то там у памяти в святцах —
— Магдалина.
В зеленые льдины
Выси
Тоски хобот.

Вообще тоска неотступный спутник поэта:

Ужасно тоскливо последнему Величеству на белом
свете. —

говорит Анатолий Мариенгоф—и эту тоску проносит по путям своей поэзии, как тяжелый неизбежный крест.

Но несмотря на эту напитанность болью, насыщенность нервной атмосферой города, поэзия Анатолия Мариенгофа в общем холодна и рассудочна.

Рассудок разливая по стаканам,
Чтобы пьянее пенилось вино, —

он все свои стихи пропитал холодной и суровой строгостью мастерства, которое у Анатолия Мариенгофа сквозит в каждой его строке.

Под Мариенгофским черным вымпелом
На северный безгласный полюс
Флот образовав
Сурово держит курс.
И чопорен и строг словесный экипаж.

Поэзия Мариенгофа стоит, как яблоня, вся в белом цвету образов. Нет ни одной мысли, ни одного предложения, ни даже части его, которые бы не были одеты цветистым нарядом образа. Вся природа, все вещи, все вокруг живет в образах: вот осень заваливает облаками голубую площадь неба, вот поэт мчит любовь по черному тракту строк, вот плечи - фонтаны льют белые струи - реки, вот рассвет выдернул желтую ногу из сапога ночи, вот вечер - швейцар в голубой ливрее подает Петербургу огненное пальто зари, вот желтые руки закатов обвили жилистые шеи улиц и т. д., и т. п.

Анатолий Мариенгоф жонглирует образами, «развратничает с вдохновением», «чванствует» своими стихами, рассыпает «благовест» своего поэтического «вранья», прядет «пряжу» своих стихов, «точит серебряные лясы», но отравлено городом его веселое ремесло, пропитано его горечью и безумием, его проклятиями и страданиями.

# ГЕОРГИЙ МАСЛОВ.

Нужно было поэту умереть не достигши и «двадцати пяти годов» «на незнакомой земле», «в краю изгнанья и разлуки», в далеких снегах Красноярска, в тяжелом бреду тифа, чтобы его стихи ожили перед нами, чтобы о нем рассказал критик *) и чтобы его имя зазвенело, сорвавшись с надгробной плиты.

В посвящении к поэме «Аврора», своему единственному (если не считать нескольких мало значительных, разбросанных по разным сборникам и альманахам, стихотворений) вполне законченному произведению, Георгий Маслов, как бы предчувствуя свою гибель, пишет:

Пронесся вихрь, мечтанья руша,
Расстаться было суждено,
И не сольются наши души
В неиз'яснимое одно.

Поэт, полюбивший Пушкина, Дельвига, Баратынского «до физического чувства их стихов», «почти реально» живший в Петербурге 20-х годов, в своей любви к Пушкину дошедший до чувственного обмана: «увидеть на площади или у набережной его самого», избрал, конечно, для своих творческих вдохновений

. . . старинные пиитики,
Где чувство нимф и пастухов.

Понятно, что и для своей, ставшей единственной, поэмы он избрал героиней Аврору Шернваль, знаменитую красавицу 20—40 г.г., которой писал когда-то Баратынский:

Выдь, дохни нам упоеньем,
Соименница зари,
Всех румяным появленьем
Оживи и озари,

и за которым спустя сто лет повторил, ссылаясь на Вяземского, Языкова и А. Тургенева, Георгий Маслов:

---

*) *Ю. Тынянов.* Предисловие к поэме „Аврора“

Ты шла не опуская взора,
В толпу кидая сноп зарниц.
С твоим явлением, Аврора,
Бежала тень с угрюмых лиц.
Тебя князь Вяземский заметил,
Языков был пленен тобой,
И Александр Тургенев встретил
Веселым смехом лепет твой...

Эту жизнь, которая не была так «поэтически» настроена и не «веселым смехом», а жестокими ударами сопровождала красавицу на ее пути,—описал в своей поэме Георгий Маслов.

«В невестах» она была дважды «печальной вдовицей». Женившийся на ней старый чудак—граф, спустя четыре года,

. . . . где-то в северном курорте
Скончался на ее руках.

Сломленной жизнью и уже стареющей ей встречается молодой Андрей Карамзин, сын знаменитого историка. Как ни противились его родители, но «любовь восторжествовала над супротивною силой», как писал князь Вяземский, и

. . . на ступенях алтаря,
Несчастья вестница, Аврора,
Передзакатная заря.

И этот брак был недолог. «Недостойная жестокость, как назвал Тютчев гибель молодого Карамзина, пресекла снова недолгое счастье «несчастья вестницы, Авроры».

Но Георгий Маслов не был бы достойным «сыном» Пушкина, если бы его герои не умели «хорошо расставаться с горем».

Как хорошо расстаться с горем,
Когда горячим днем идешь,
И буйным желтоводным морем
Тебя кругом ласкает рожь.
Заснул ленивый оборванец
У солнцем залитой межи,
Разлился по небу румянец,
Шныряют легкие стрижи.
Вдали веселой речки блестки,
Сторожки вьющийся дымок.
И треплет серебро прически
Сухой восточный ветерок.

Уже этих строк достаточно, чтобы увидеть, как полно усвоил молодой поэт, которому не дано было налиться и созреть, пушкинские заветы. Веселая ясность пушкинского стиха, незатейливая, но чуткая и точная рифма, мудрая радость и светлая печаль мысли и чувства—вот недоразвитые, правда, но уже зревшие в зачатке, достоинства Георгия Маслова.

И может быть даже эта недоразвитость, недозрелость поэта нам милее, чем законченность и завершенность, которые могли бы при этом устремлении Георгия Маслова назад, к истокам русской поэзии, а не вперед, к широким морям новых, вольных достижений—при этом устремлении могли бы выродиться в дряхлое и беззубое творчество.

# А. И. МАШИРОВ (Самобытник).

Самобытник один из первых рабочих певцов. Свою песню запел он, когда еще густые сумраки ночи окутывали землю и сквозь хмурые туманы пробивались еще слабые, еще чуть видные лучи рассвета.

Мы первой радости дыханье, —

говорит Самобытник,—

Мы первой зелени расцвет.

Разрушив черные оконца, —
Мы жаждем миром опьянеть.
Еще не нам, не знавшим солнца,
Вершиной гордою шуметь.

. . . . . . . . . . . .

Но будет миг, порыв созреет,
Заблещет солнцем наша цель —
Поэта мощного взлелеет
Рабочих песен колыбель.

В первых лучах солнца и зацвели эти первые рабочие песни:

Нас вскормили, нас согрели
В мягкой снежной колыбели
Солнца первые лучи.

А у гулких машин, к которым жизнь привела его «от зелени пахучей, от простора и цветов», эти песни прокалились железом и огнем.

И подслушал я смущенье
Грозно - дышащих машин:
В сводах сумрачных рожденье
Многотысячных дружин...
Я подслушал клич призывный
Новой жизни кузнецов,
Вместо песни заунывной —
Песню смелую борцов.

И с этих пор его песня становится историей этой борьбы. Отдельные части его книги—это этапы рабочей борьбы, которая полыхала в «грозных силах» «Зарниц» 10—14 г.г., что «дрожали, дрожали со всех сторон», в весенних грозах первых лет войны, отразившихся в «Весенних песнях» 15—16 г.г., когда «сталь под властью молота пела на весь завод»:

Проснись кругом, что молодо,
Весна, весна идет! —

В алых песнях «На рассвете», когда уже рождалась вера в близость солнечного восхода:

И он придет, мы это знаем,
Светило мощное взойдет!
И мы свободные, растаем
Средь голубых своих высот.

И, наконец, в звонких песнях «К вечному солнцу», загремевших, когда «весь мир» загорелся «в об'ятиях железных».

Не будем искать в песнях Самобытника новых образов, новых слов, рифм, метафор, ритмов и т. п., ведь в «суровых днях» борьбы певцу-бойцу было не до этого, да и сам Самобытник вовсе не ждет, чтобы мы его венчали гордым именем «поэта».

Его песни только «колыбель» будущего «мощного поэта», который скажет это новое слово, найдет эти новые ритмы и передает в них весь трепет, всю мощь новой жизни, построенной мускулистыми руками рабочего, первые песни о котором все же спел Самобытник.

# ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ.

Поэзия Владимира Маяковского, напоенная невскими туманами и бульварной слякотью Москвы, задушившей поэта кольцом своих «бесконечных Садовых», родилась с душой-отдушиной, через которую мир освобождается от томящих его мук и страданий. Она родилась на улицах города в огнях кинемо, в «чулке ажурном у кофеен», родилась она, сдавленная серыми гробами многоэтажных громад, среди «провалившихся носами», среди сестер своих, грубо накрашенных проституток, чью последнюю улыбку проглотил сырой осенний туман, среди замученных и издерганных, «из'еденных бессонницей», забывших веселую радость смеха и чарования весны; родилась среди тех, кто головы поднимает к небу только для исступленных проклятий, среди тех, кто сквозь серые завесы тумана прямых проспектов и кривых закоулков города несет стоны свои и муки.

Как было не пропитаться этим ядом мучительным, как было не отравить свои строчки этими туманами и слезами, не взрыть ровную гладь их судорогами мук и страданий, как было уберечь душу свою от безумия?

Конечно, в равновесии пребывать куда как хорошо, а главное спокойно и Владимир Маяковский тоже думал послужить своими песнями «красивому богу», он тоже и, может быть, красивее других спел бы про «весну» и «любовь», про «травки» и «цветочки». И в душе его, разрывавшейся клочьями о «копья домов», не раз вставала скорбная мысль о возможности для поэта иной доли, иного пути, более светлого и радостного и иных песен, не таких жестоких и угловатых.

Думал, —
Радостный буду,
Блестящий глазами
Сяду на трон,
Изнеженный телом грек.

Вон как: «изнеженный телом», «блестящий глазами», «радостный»!.. Чем не равновесие?

Но из всех закоулков серого города, этого великолепного музея великих и крохотных горь, пришли грязные женщины с распухшими глазами и принесли поэту страшные дары,—свои «слезинки, слезы и слезищи».

И хоть испугался поэт этих даров, хоть встретил их криком, последним криком отчаяния, но не отрекся от них. Он взял на себя эту «ношу», хоть и тяжка она:

Нести не могу —
И несу мою ношу.
Хочу ее бросить —
И знаю,
Не брошу.

Поэт не мог бросить и не бросил этой боли и муки, хоть и окровавили они его душу, истерзали ранами неизлечимыми,—нет—еще теснее прижался он к измученной земле, еще ближе приник к ее старой «лысеющей голове» и принял в себя ее корчи и судороги, превратившись в «чудо анатомии»— одно «сплошное сердце».

Я — где боль, везде;
На каждой капле слезовой течи
Распял себя на кресте.

Так жизнь его из радостной, солнечной мистерии превратилась в бредовую трагедию, которой имя: «Владимир Маяковский».

До солнца ли тут, до цветов ли, когда душа истекает кровью за каждую слезинку, пролитую в тишине бессонной ночи или в гуле и грохоте суетливого дня?

Владимир Маяковский проклял ту лже-гармонию и лже-красоту, которыми хотели заменить в той мрачной и кровавой жизни подлинную гармонию и подлинную красоту и почувствовал приближение «года», когда расцветет на земле их сияющее царство:

Вижу идущего через горы времени,
Которого не видит никто.
Где глаз людей обрывается куцый
Главой голодных орд,
В терновом венце революций
Грядет шестнадцатый год.

Это было сказано Владимиром Маяковским в первый год войны, против которой он «единственный человечий, средь воя, средь визга» поднял голос:

Спешите!
Каждый
Ненужный даже, —
Должен жить,
Нельзя,

Нельзя же его
В могилы траншей и блиндажей
Вкопать заживо —
Убийцы!

И когда он пришел этот год, опоздав на несколько месяцев, пришел, чтобы смести все старое, чтобы высушить «слезинки, слезы, и слезищи», отомстить за кровь, невинно пролитую, за боли и муки, вернуть солнце тем, у кого оно было отнято, поэт встретил революцию своим «поэтовым»—«О, четырежды славься, благословенная!»—и стащил с неба того бога, который привык к сладенькому сиропцу славословий и молитв, которому он предложил когда-то «натащить со всех бульваров красивейших девочек» и устроить «веселенькую карусель на древе познания добра и зла», стащил его на землю.

Нам написали Евангелие,
Коран,
Потерянный и возвращенный рай
и еще
и еще
многое множество книжек —
каждая радость загробную сулит умна и хитра.
Здесь,
на земле хотим
не выше жить
и не ниже
всех этих елей, домов, дорог, лошадей и трав.

Он сказал себе: наш бог не

Боже железный,
огненный Боже,
Боже не Марсов,
Нептунов и Вег
Боже из мяса —
Бог — человек.

В чаянии этого нового, настоящего человека, который будет «Бога самого милосердней и лучше», в вещем предчувствии его создает Владимир Маяковский свою вещь «Человек», где этот грядущий человек, «необ'яснимое чудо», «сплошная невидаль» еще томится в «дневном иге», но душу этого человека он поднимает уже грозным знаменем новой красоты, потому что в ней слились души всех раздавленных «городом-лепрозорием», и еще потому,

что в ней колышется и бьется такая сгущенная красота, перед которой меркнут солнце и луны и становятся действительно годными, только в качестве блестящих брошек...

Мы,
каторжане города - лепрозория,
где золото и грязь из'явили проказу, —
мы чище венецианского лазорья,
морями и солнцами омытого сразу.
Плевать, что нет
у Гомеров и Овидиев
людей, как мы,
от копоти в оспе —
я знаю —
солнце померкло бы увидев
наших душ золотые россыпи.

Умерла красота старинных барских усадеб, дорожек, усыпанных гравием, барышень в белых, кисейных платьицах, порхающих при луне и звездах под звуки Ланнеровского вальса в круглом зале с колоннами. Исчезла вся старая жизнь и во всем мире, в муках и болях, в стонах и корчах рождается новая, светлая и радостная.

Голодая и ноя
города расступаются
и над пылью проспектовой
солнцем встает бытие иное.

В могучей жажде этого «иного бытия», в густых сумерках «бытия» старого родились эти «не слова—судороги, слипшиеся комом» и в них чувствуется трепетная душа человека, воистину могущего в любви своей всех выкупать, сумевшего «стереть разницу между лицами своих и чужих», сумевшего открытой душой своей коснуться жизни, принять в себя ее корчи и судороги, принять в себя чужие муки и страдания, сумевшего почувствовать, как «мельчайшую пылинку живого», так и все, что бьется и мучится на этой старой «лысеющей земле», своим судорожным словом сумевшего обласкать всякого маленького, безнадежно затерянного в гулких улицах и бульварах города, и возродить в этих душах волю к сильной и смелой грядущей жизни, где уже не будет ни крови, ни слез, ни всего, что оскорбляет цветущую и радостную землю.

# АРСЕНИЙ МИТРОФАНОВ.

В нескольких стихотворениях Арсения Митрофанова, напечатанных в изданном в Н.-Новгороде альманахе «Без муз», отразилась больная и трепетная душа изломанного жизнью поэта.

В предрассветной тьме военных годов он почуял мир

...так ярко сочетавший
Лик падшей с душою мученицы.

В этой страшной и кровавой мгле он почувствовал, что нельзя «оставаться похожим на Бога», «заболевши тоской человечьей».

Но эта «тоска человечья» сломила его.

Арсений Митрофанов говорит в своих стихах «о недуге тяжелом», о том, что он «почти что мертвый», он ищет забвенья в наркотике.

Мне теперь ничего не надо;
Среди скучных и бледных лиц...
Осталась одна отрада, —
Стихи, кокаин и шприц.

Он не верит в Бога, о «котором когда-то мечтал», он разочаровался в любви:

Говорила ненужные речи,
Но я не верил им.
В том же зеркале видел плечи,
Отражавшиеся чужим...

Все это накладывает на его стихи печать какой-то тревожной, тоскливой нежности к самому себе, безвинно сломленному жизнью, и ко всему миру, задыхающемуся в этом кровавом тумане.

Мы не знаем как и о чем пишет Арсений Митрофанов сейчас, когда революция кусок за куском вырывает мир из этих цепких лап, когда разразившаяся над миром гроза значительно разрядила эту атмосферу, но эти стихи его, помеченные страшным 1914—1916 годами, жутко отразили в себе их растерянное и кровавое лицо.

Сколько еще таких «счастливых принцев» эти годы сделали «почти что мертвыми»!

# М. МОДЗАЛЕВСКИЙ.

Вырвавшись из душных клеток и закуток старого мира, новая поэзия звонкой песней зацвела в устах нового поэта—творца новой жизни, разлилась по безбрежному раздолью вольного мира «Волгой всемирных минут», мчащей свои веселые валы в широкое море всенародного братства.

Такова и поэзия И. Модзалевского. Такова его «Волга».

И не беда, что

Заливные луга сизоватою дымкой
Уплывают в далекое море лесов,
Где туманы под шапкой своей невидимкой
Прячут темные тайны прошедших веков.

Там еще первобытно и сказочно - тихо
И оттуда миллионом невидящих глаз
Сквозь туманы веков Одноглазое Лихо
Недоверчиво - пристально смотрит на нас.

И не беда, что сильна еще «комариная сила реки», которая

Шумит - жужжит, толкается
Над трудовой рекой
Комарино - гудящей толпой...
Толкается — встречается,
Встречаясь, рассыпается
Повседневно - пылящей трухой,
Тараторя трещеткой пустой...

Не беда, потому что обе эти силы—и залегшая за «далекими лесами», в глуши первобытных сел и деревень, вековая, дремотная темнота, «недоверчиво» щурящаяся на пробивающийся и к ней небывалый и невиданный свет, и трусливая, боязливая обывательщина, плывущая «меж старым и новым без руля и весла»,—обе эти силы не страшны этой новой трудовой Волге, которая мчит, кричит, посвистывает:

— Берегись, старина! —
Не своротишь с дороги —
Захлестнет трудовая волна
И, как мусор, умчит твоих дум погребальные дроги.

На эти же «погребальные дроги» сваливает И. Модзалевский и старое «похоронное» искусство, которое испуганно пряталось от жизни в «соловьиные песни», в «старинные элегии», в «тонкое кружево скорбей».

Новый поэт знает:

Сад искусства похоронного
Свой кончает листопад...

На смену ему идет новое искусство, не уходящее и уводящее от жизни, а цветущее в самой гуще ее, искусство, которое творится вместе с жизнью и само «в рдяном облаке паров», в могучем «трудовом напряжении», само творит эту жизнь.

Правда, ему не хватает мастерства, этому новому искусству, правда, оно часто щеголяет «в лохмотьях с чужого плеча», часто болеет «бессилием слов», но ведь, это мастерство легко давалось только тем, кто отдавал искусству все свое время, а не жалкие крохи досуга. А новый поэт сегодня пишет стихи, а завтра отбивается на фронте от «Колчака - палача», сегодня скачет на уездный с'езд, а завтра собирает по деревням хлеб для голодной городской бедноты, а потом, когда снова наступает время отложить в сторону винтовку и взяться за перо, его силы уже надорваны и он пишет, как И. Модзалевский под своей «Волгой:

«Эскизы к неоконченной работе, прерванной тяжелой болезнью автора».

До мастерства ли тут, до филигранной ли отделки?

Но зато он, как рядовой этой великой трудовой армии строителей и кузнецов, борясь с ними плечом к плечу и сердцем к сердцу, дыша с ними одной грудью, он знает, он чует всем своим существом, что

Вольной жизни красота
Не далекая мечта.

Это сознание зажигает его слово тысячью огней, и оно горит и рассыпает по миру горячие «искры - зовы», которые должны помочь строителю на стройке, кузнецу у станка, рабочему за машиной, бойцу в бою, матросу на корабле и всем, кто камень за камнем, кирпич за кирпичем закладывает фундамент новой жизни и новой красоты, олицетворенной И. Модзалевским в его «Волге», где есть этот пафос трудового движения, где «Сегодня» выполняет уроки «Вчера» и тем самым готовит «великое Завтра».

И он верит в то, что

И Рейн и Темзу взволнует Волгой
Октябрьский ветер когда - нибудь.

«Взволновать Рейн и Темзу Волгой», «обнять, зажечь всю землю и весь мир», построить «новый мир», для «всех, кто братья»,—этому И. Модзалевский отдает все напряжение своей мечты и мысли, весь свой творческий трепет.

Недаром, обращаясь к Коммунистическому Интернационалу он говорит:

Я труба твоя всемирный
Революции орган.

Слово «мировой», «всенародный», «всемирный»,—самые употребительные в словаре И. Модзалевского. «Мировая душа», «мировые просторы», «мировое раздолье», «всенародные реки, поля и раздолья», «Волга всемирных минут», «колосья труда, как всемирные братья» и т. д.

Эту «всемирность», «всебратство» чувствует И. Модзалевский во всем, в каждом «отблеске», в каждом «луче», к которым он приходит как брат, видя в них что-то родное, бывшее раньше чуждым и недоступным. И это чувство опьяняет его и он кричит теперь на весь мир:

Все возьмем, все будет наше: —
Каждый отблеск, каждый луч!
В голубой искристой чаше
Буйной воли хмель могуч.

Будем веселы без песен.
Будем пьяны без вина.
Мир не беден и не тесен.
Чаша радостей без дна.

«Мир не беден и тесен». Есть где разгуляться рабочему, творческому духу. Все богатства мира лежат перед ним нетронутой целиной и из них он построит новую жизнь.

Красная Русь — мастерская одна,
Грудь ее — горы, а рука ее — молот.
Новую жизнь, раскалив до красна,
Может ковать в ней, кто сам не расколот.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Куйте новую жизнь, куйте радостно, смело,
В мастерской, канцелярии, всюду спеша,
Полюбите рабочую душу и тело, —
В этом теле живет мировая душа.

В дни тяжелой и упорной борьбы и «мелкого хозяйственого труда», И. Модзалевский, сам участник этой борьбы и этого труда, почуял «мировую душу» новой жизни, заря которого уже глядит на нас, «подымая веки».

И это радостное предчувствие, этот отсвет далекой зари, зажигает его стихи, наполняет их какой-то солнечной счастливой ширью, и они льются по зацветающему новой песней миру, вливая в него бодрость, радость и силу.

# МАРИЯ МОРАВСКАЯ.

Мария Моравская назвала себя Золушкой.

«Я Золушка грустная, взрослая».

И в этих двух, так тяжело, как осенние слезы, упавших эпитетах, есть признание в маленькой лжи перед собой, в небольшом невинном маскараде. Конечно, это уже не та Золушка, «романтическую тень» которой мы несем в грузах детских лет: Золушка наивная, мечтательная, доверчивая. Разве в тесных каменных об'ятиях «города-спрута» могут жить такие «Золушки»? Конечно, нет!

«Золушка» Марии Моравской прошла через долгие века, и на бесчисленных путях жизни одну за другой растеряла все блестки своей сказочности и романтичности.

Я золушка, только городская
И за мной не придут феи.

Правда, она, как и прежде, живет в мечтах о «прекрасном принце». Но вместе с тем со всей болью она сознает всю бесплодность этой мечты, в глубине души ее уже живет злая змейка сомнения, что принц, как и феи, прийти не может. Он остался там, на первых тропинках. И жить он может только в сказке, только в мечте.

О, Принц, ведь вы моя сказка,
О, Принц, ведь вы не живой.

Мечта обманула на первых же шагах и Золушка—Мария Моравская устает мечтать. В ней забилась живая кровь, она почувствовала «тягу земную».

Всегда мечтать — это слишком жутко,
Боюсь, боюсь жизнь мою проспать.

Жизнь непреклонно позвала ее, в минуту раздумья властно постучала железным перстнем в ее наглухо замкнутое окно. И она обращается к жизни, хочет войти в нее, слиться с ее веселыми и грустными волнами, почувствовать в себе ее живой, задорный пульс и перекликнуться веселыми перекличками с ее далекими, манящими зовами.

Но в кипящей волне жизни бедную Золушку затолкали грубые локти беспрерывной, суетливой толкучки, цепкие прикосновения стерли с нее последние блестки невинности и непосредственности. Золушке больно среди людей, она чувствует свою оторванность от них, свою одинокость.

В этих бурлящих волнах жизни она впервые так ярко почувствовала боль одиночества. Ведь быть одинокой в грезах не так больно, не так тяжело, как быть одинокой среди людей. Снова взметнулась ее душа, вспугнутая этой внезапной болью, и с ее бледных уст сорвался крик:

Я не могу жить с такой болью,
Я не могу одиноко жить.

И если Золушка обманулась в ожидании сказочного принца, если отчаялась ее душа в возможности его прихода, то жгучая боль одиночества заставляет ее искать в этой быстробегущей толпе, среди мелькающих, как на ленте экрана, людей—воплощенного Принца. В «любовном плену» она хочет найти спасенье от того одиночества жизни, которое она так больно почувствовала в душные предгрозовые годы.

Но ведь только ныне, в этом душном строе,
В этом тесном строе, где жить все же пусто,
Надо, чтобы двое, — непременно двое —
Жались сердце к сердцу, в ужасе от грусти.

Но опять оскорблена нежная душа Золушки. Грубая, земная любовь не может быть исцелением от грусти, от тоски одиночества. В ней нет мечты в этой любви. «Кукольное тело» Золушки боится того, что люди зовут любовью. И снова в тоске ее душа, снова рвется из душного плена, в который попала она в поисках «принца».

Оставьте меня одну,
Душно в любовном плену.

Спасая свою хрупкую, нежную душу от прикосновений жизни, Золушка снова приходит к одинокой мечте.

Так завершился круг блужданий грустной Золушки, жившей в дни, когда все уже накалялось приближавшейся бурей. Только пройдя через жизнь и не научившись жить, она узнала, что и мечта не дается без жертвы.

Но долгая мечта нужна,
Ожидание, далекий путь,
Чтобы душу до самого дна,
До самого дна всколыхнуть.

В этой долгой, напряженной мечте, в слиянности души своей с радостями и печалями земли, в тихой и робкой песне о ее нежных тайнах, находит Золушка «утешение» от «обид» жизни:

Да, для утешения есть ясные слезинки,
Пою, и за окошком стал сумрак голубей...
Звезды сияют и падают росинки,
На березовой лодке плыву к любви своей.

Единственная известная нам книга Марии Моравской «Золушка думает» посвящена памяти Елены Гуро. И есть что-то общее с ней у Моравской, у этой Золушки современности. Их отчасти роднит робкая, нежная любовь к голубому сумраку, к сияющим, трепетным звездам, к хрупким, как душа самой Золушки, росинкам и приверженность мечте.

Но и только. В глубине же оне настолько расходятся, что даже стираются и эти незначительные признаки сходства.

Как не похожа, например, на углубленную женственность Гуро эта «женскость» Марии Моравской. Ведь поэзия Гуро вся проникнута каким-то страстным трепетом материнства, неусыпной жаждой всех и все пригреть и приласкать. Моравской это чуждо. Грустная Золушка современности не знает этой страстной жажды. Целый цикл стихов об'единен под названием «Ужас материнства», где Мария Моравская со свойственной ей слегка манерной искренностью говорит открыто о том, что многие скрывают в себе.

Мне страшно, что зародыш копошится,
Словно червь бьется живое тело...
В этих схватках уродливых биться.
Лучше б страсть навек омертвела!

А разве не характерны для выражения этой самой «женскости» стыдливые мечты Моравской о «лоскутном рае?»

Ах, теплый мех, ласковые ткани...
Немного стыдно об этом мечтать...

«Золушка думает»—это поэма о женской душе, прошедшей страдный путь от легкой мечты о Принце, через тягу земную, через тяжкий «любовный плен», к углубленной мечте о жизни, к примиренности с ней.

Пусть больно ранят прикосновения жизни, пусть отравляют душу ее сумерки и больные туманы, пусть в узком кругу своей жизни Золушка не нашла покоя и насыщения своей мечты, но сама жизнь, радость борьбы и достижений зовут ее к себе.

Я несчастливая, но жизнь хорошая,
Я знаю, можно жить изумительно!
Любви не брошу, борьбы не брошу.
Не обезволюсь в печали длительной.

# ВЛАДИМИР НАРБУТ.

В поэзии Вл. Нарбут есть какое-то звериное начало. «Душой медвежий, а телом гад», он сумел проникнуть в тайны звериной плоти.

В каком мире образов живет «звериная муза» Владимира Нарбут? Откармливаемые для убоя животные, живущие по животному или умирающие от порчи и болезни люди, вскрываемые в больницах и моргах трупы, и т. п.

С каким-то сладострастием погружается Владимир Нарбут в этот мир, подбирая для него такие увесистые, жирные «плотские» слова, сравнения, метафоры:

Сопя и хрюкая, коротким рылом
кабан копается, а индюки
в соседстве с ним, в плену своем бескрылом,
овес в желудочные прут мешки.
Того не ведая, что скоро казни
наступит срок — и загудит огонь
и, облизнувшись жалами задразнит
снегов великопостных, хлябких вонь;
того не ведая, они о плоти
пекутся, чтобы жиром уснастив
тела, в слезящий студень позолоте
сиять меж тортов, вин, цукатных слив...
К чему им знать, что шеи с ожерельем
подвешенным как сизые бобы,
вот тут-же, тут, пред западнею - кельей,
отрубят вдруг по самые зобы,
и схваченная судорогой туша,
расплескивая кляксы сургуча,
запрыгает, как под платком кликуша,
в неистовстве хрипя и клокоча.
И кабану уж вялому от сала,
забронированному тяжко им,
ужель весна хоть смутно подсказала,
что ждет его холодный нож и дым?..

Не поэтично? Вместо «цветочков» кабанье сало и желудочные индюшьи мешки, вместо «соловья»—свиное сопенье и хрюканье, вместо «любовных мук»—схваченные судорогой жирные туши? Но Вл. Нарбут считает, вероятно, что убиваемый людьми («утробой») кабан или зажариваемая щука такой же материал для поэзии, как умирающий от любви Ромео или исходящая в liebestod Изольда.

Почему же пестует так Вл. Нарбут эту «звериную» и «порченую» плоть, почему для своих творческих вдохновений он избрал этих гнойных, нарывных, распотрошенных, с липкой, вытекшей сукровицей, с вывалившимися кишками? Разве нет на земле здоровых, сильных, могучих, ярких?

Да, он знает и о них, он пишет и о них, и в его мире есть и солнце и радуги:

Как солнце есть, есть ветер, зной и слякоть,
и радуги зеленой полоса.
Так отчего же нам чураться злака,
не жить, как вепрь, как ястреб, как оса?
Дыши поглубже. Поприлежней щупай.
Попристальней гляди.
Живи,
чтоб купол позолоченной залупой
увил колонны и твоей любви.

Раз на земле вместе с здоровой плотью есть и больная, рядом с живущей—умирающая, рядом с цветущей—порченная, то может ли поэт, возлюбивший плоть, «чураться» ее во всех ее видах и проявлениях.

Ведь не «чурается» же земля живущих на ней гадов, а Вл. Нарбут слился с землей в одно неразрывное целое:

Земля - праматерь!
Мы слились:
твое — мое, я — ты, ты — я.

И разве не к матери - земле взывает вся эта плоть?

Какому божеству, смывая грязи,
жиров и пота тускнущий налет,
в глухом, самодовлеющем экстазе
из вас хвалу — осанну всякий шлет?
Не матери - земле-ль, чтоб из навоза
создать земной, а не небесный рай.

Этот «земной рай» увидел Вл. Нарбут, когда в жизнь вошли и стали «под облаком, темя грея», творцы новой жизни—«мужик и рабочий».

И ягоды соком зреют,
и радость полощет очи...
Под облаком, темя грея,
стоят мужик и рабочий.
И этот в дырявой блузе,
и тот в лаптях и ряднине:
рассказывают о пузе
по-русски и по-латыни.
В березах гниет кладбище,
и снятся поля иные...

В этих «иных полях»,—в этой иной жизни сольется в «единый земной ком» и здоровая солнечная радость молодой играющей плоти и та, больная и порченная плоть, жизнь которой Владимир Нарбут поднял до высоты эпоса или, как он сам говорит «быто-эпоса». Она послужит «навозом», из которого будет построен «весенний терем» новой жизни, в которую поверил поэт:

Мы только в мозоли поверим,
да в наши жилы, в нашу кровь!
Да здравствует весенний терем,
трудом поимая любовь!
Пчела, сосущая сережку,
девченка с веткой, босиком, —
все на одну плывет дорожку,
и все — земной единый ком.

# СЕРГЕЙ НЕЛЬДИХИН.

Прочно засосан Сергей Нельдихин тем болотцем, в которое с детства окунули его «родители, люди самые обыкновенные».

Как высоко не взлетает, порою, его мысль, тяжелым камнем она возвращается снова в свое привычное, родимое болотце.

Горным воздухом повеяло с одной страницы:

— В послерабочее время,  
Все должны выходить на площади и в леса  
На общенародные гулянья, —  
И когда завздыхают органы,  
Всякий почувствует себя свободным и сильным,  
Здоровым, простым и бессмертным, —

и вот уж затхлостью болота повеяло с другой:

— Было б сейчас совсем хорошо,  
Если бы со мной сидела на коврике женщина, —  
Когда так тепло и покойно,  
Невольно хочется любовных удовольствий...

Много тины наплывает из этого болотца на стихи Сергея Нельдихина. Не оттуда ли мысли о том, что «первопричина всякой грусти—любовная неудовлетворенность», что люди делятся на любящих его, Сергея Нельдихина, и «на всех остальных людей», не оттого ли он стал

Требующим только одного от своих современников —  
— Они должны знать мою фамилию.

Он рвется к большим и смелым мыслям, к героическим темам, но то и дело срывается в свое липкое болото.

Вот почувствовал он себя первотворцом, новым Адамом и гордой силой зазвучали его строки:

Мне не надо готовых садов с кружевными ветвями,  
Сам свой собственный сад для себя я сумею создать,  
Не слезая с горы обхвачу я кирки рукоять,  
Сам один отпихну раскрасневшийся солнечный камень;

И очищу я быстро поверхность земли от развалин
И в живой океан побросаю обломки и пыль;
Птицы те, что высоко весь день над горами летали
Будут ночью слетаться ко мне на горящий фитиль...

Но тут же сомненьица и колебаньица:

— Как же я дотянусь до луны и до солнца руками? —
Ведь и я — человек, как и все, трехаршинный, худой,
У мень есть и спальня...

С гибнущего в «кривых минных загражденьях» корабля, с «холодного и жуткого моря», где

Норд-ост проклятый дует целый день,
Торчат везде лебедки, трубы, будки,

он приходит к прокисшему уюту «полутемного, надушенного» будуара.

И так будет до тех пор, пока не поймет поэт, что не только мыслью надо рваться из затхлого болотца обывательщины, а и самому вылезть из него, прислушиваясь к тем могучим голосам жизни, которые звучат там, где кончаются его топкие берега и начинается твердая почва борьбы и молодого строительства.

# С. ОБРАДОВИЧ.

С. Обрадович—певец рабочего класса. Вместе с ним он стонет у станка в тисках подневольного труда, вместе с ним он борется на баррикадах, одной грудью с ним он поет его рабочие песни победы, одной душой с ним он страдает от «пыток», которыми пытают его молодое тело голод, нужда и болезни, одной верой с ним он верит, что и эти пытки минуют так-же, как миновали века рабства и горьких мук.

Зорким взором следит он за жизнью и видит, как всходят зароненные «Великим Октябрем» ростки новой жизни, буйно пробивающиеся к солнцу.

В старых городах, на улицах которых еще густым слоем лежит вековая «пыль тоски», уже звенят новые слова:

Заросший город в тупиках - веках.
Но в говоре—слова иных значений:
Стремительное, как полая река,
«ВЦИК», весенне-грозовое «Ленин».

И рядом:

Все тот же призрачно туманный
И величавый Петроград,
Гранитной поступью с утра
Стремительный и неустанный.

Но

. . . ветром без конца влекомый
И ветром вьющийся в лучах,
Республиканский реет стяг
Над Петроградским Исполкомом.

Еще так недавно в этих городах гудела «кафе-шантанная толпа»,

Коленопреклоненая пред старым богом
Над золотом и акциями бирж,
Торгующая на прокат душой убогой,
Горластой глоткой афиш!..

Еще так недавно в них:

Горланили о войне, о последнем манифесте «Вести»,
О новой симфонии, о папиросах «Дюшес»
И шептали: «Волненье в предместьи
Подавлено... повешено шесть»...

И вот прошелестел

Шаг осторожных ног...
Кто там?.. Проклятье... выстрелы... тишь...
Кто-то кого-то во тьме подстерег,
Не различишь.

Замер зловещих пуль
Долгий пчелиный ноющий лет...
Мерно проходит безмолвный патруль
Пятый обход:

— Смены, товарищи, нет!..
Знай: на счету — и штык, и заряд... —
Тишь... Ночь... Сон... Скоро в рассветном огне
Вспыхнет заря...

И вот уже «вспыхнула», и занялась во всю свою алую мочь,

Когда октябрьской страницей двадцать пятой
Открылась Книга Бытия,

Когда стал

Сердцем Интернационала — Кремль,
Красным исходом — Москва.
Как в море, в мире не дремлет
России Девятый Вал.

Тот «Девятый Вал», который хлестнул свою пенную и буйную волну через горы, реки и моря и занес радостные, солнечные брызги во все концы мира:

Слышишь: верным братом
Отзывается запад и юг...

Там, где под бег оленей
Северные огни цветут,
О коммуне, о Марксе, о Ленине
Заговорил якут...

И китаец с плечами Урала
Взором раскосым приник:
Третьего Интернационала
Поступь завидел старик...

В Америке, Англии, Франции,
В мире звучит о Труде
Аппаратами радио-станций
Марсельеза наших сердец.

Бросим зовы в ток Эдиссона:
И Австралии в огне гореть,
Африка знойно-сонная
Впишет в знамена «Со-Ре»...

Это мы, это мы взрываем
И строим вновь, и вновь...
Это нашим рабочим Маем
Всходит Новь!..

Страшны ли этому могучему порыву те пытки, на которые обрекли его евнухи старого мира?

Нет, не страшны.

В этих сердцах есть терпенье, выкованное веками и есть воля к победе, вспоенная вековым рабством и ненавистью.

Были тяжелые годы:

Трава, как плесень в мостовую улиц...
С утра, с дрожащими ладонями,
С изглоданным цынгою ртом,
Поступью жуткой разгуливая,
Проходит голод городом.

А вокруг двери с петел сорваны,
В черных язвах окон — копошащийся вошью тиф...
Над городом дни, как зловещие вороны
Над умирающим в пути.

И что же? Сломилась ли воля? Потухли ли надежды?

Нет, конечно, нет!

И слышу — сквозь крик, базарный и грубый,
За стеной, беспечны, как ручей и весна
По складам читающие губы
Разучивают Интернационал...

Было время—подкошенные голодом и нищетой стояли заводы:

Полгода скованный покоем
И холодом бетонных стен,
Молчал с глубокой тоскою
Над ржавчиной железных тел...

. . . . . . . . . . . . .

И дни брели глухой походкой
По настороженной земле...
Монометр цепенел над топкой,
На холодеющем нуле...

И что-же? Погасла ли вера? Ослабли ли мускулы?
Нет, конечно, нет!

И вот, однажды, в день весенний
Запоры сбросила рука,
И с свистом взвит, приводы вспенил
Победный бег маховика.

Полгода голодом и мором
Был обессилен, мертв... и вдруг.
Гудят моторы за мотором
Под взмахами сердец и рук.

Вновь огненные рельсы режут
Зубами пил и там и тут
И там и тут, под крик и скрежет,
В поту, в чаду, кую-куют...

. . . . . . . . . . .

Раскованный рукою жаркой,
Завод, сжигая немощь лет,
Встал торжествующий и яркий
Весенним солнцем на земле...

Но вот грянула новая беда: беспощадное, сухое солнце выжгло хлебную грудь Приволжских полей и миллионы людей полегли на иссохшую землю.

Как вялый колос — мускулы и грудь...
По выжженному желтому простору
Весь день брели сквозь солнечную муть,
И вот — в асфальтовом тумане город.

Какая боль!.. А в памяти укором —
Взор впалый брошенной избы...
Как каркал над пустой дорогой ворон,
Как будто голым горлом вой трубы...

Обугленный, стыл запад... Крались тени...
Пустели сумеречные пути...
Затрепетав бессильно на коленях,
Грудь с криком прокусив, сын стих...

И долго, тупо, почернелым взглядом
Смотрел забор, как грузно в душной мгле
Мать грудью высохшей припала рядом
К морщинистой и высохшей земле.

И билась до утра над сыном полумертвым,
И грудь рвала свою и грудь земли,
Пылавшую в рассвете желтом
Бесплодную, сухую грудь земли.

И, проклинающая, не слыхала,
Что вместе с ней в глухом тревожном сне
Земля стонала, земля изнемогала
В томительной и знойной тишине...

И что-же? Склонились ли головы борцов? Выпало ли из рук оружие? Нет, конечно, нет!

С верой и надеждой поэт спрашивает:

Россия Октября!.. Тебе-ль, бессменной,
Тебе-ль последней пытки не избыть?

Конечно, «избудет», конечно—победит!

Сердце кричать не устанет,
Ураганами не задушить
Пылающий крик восстаний
И взлет окрыленной души.

Этот «взлет окрыленной души» зажигает стихи С. Обрадовича огненными цветами напоенных рабочей кровью побед и вспаханных рабочим трудом новей.

# ИРИНА ОДОЕВЦЕВА.

У Ирины Одоевцевой веселая, «ребячья» душа, душа—Саламандра, которая по ночам бежит к озеру, на цветущий луг и там весело резвится с тритонами, лягушками и змеями.

Занялась веселой игрою
Толпа картавых лягушат
И прыгала под луною,
Саламандру мою тормоша.
Какая милая у меня душа!
Она носится, словно летая,
Вот свернулась кольцом и ловит хвост,
Вот во весь выпрямляется рост.
Милая, смешная,
Как я люблю ее, Боже мой!

И эта резвая, звериная душа должна жить в городе, где не знаешь даже, что «зима», где «живут в домах рассчетливые люди», где «нельзя смеяться и спокойно жить, надо притворяться, ссориться, грустить», живет в городе, когда рядом в солнечном великолепии цветет здоровая, лесная жизнь.

А в лесу морозно, солнечно и тихо.
Выйдет на прогулку круглая ежиха,

На снегу блестящем колыхнется тень —
Из еловой чащи выглянет олень.
Осторожно вьется рыжая лисица
И поводит носом: чем бы поживиться.

Звери корма ищут, на небо глядят,
На румяный, ясный, ледяной закат,
И в глазах их мысли тайные, простые, —
И совсем небесные и совсем земные.

Ирина Одоевцева любит это зверье и часто пишет про него. Она верит, что в зверях живут человечьи души, печальные души людей, много страдавших на земле, и много стихов она посвящает этой ночной жизни души - оборотня.

Даже себя она часто видит таким «оборотнем»: то тритон, «ища от врага защиты», вползает в нее и она становится «беспокойной и злой», то она называет себя «черным котом»—«Робертом Пентегью», который прожил «так много кошачьих дней» и который ждет «когда же умрет» его возлюбленная - кошка «Молли Грей», то от любовной боли она становится каменной статуей, думая, что «каменное сердце не болит»,

Губы шевелиться перестали
И в груди не слышу теплый стук.
Я стою на белом пьедестале,
Щит в руках и за плечами лук.

Утро... С молоком проходят бабы;
Дети и чиновники спешат;
Звон трамваев, дождь и ветер слабый
И такой обычный Петроград.

Господи!.. И вдруг стало мне ясно:
Мне любимого не разлюбить
Каменною стала я напрасно,
Камень будет дольше тела жить.

Но бесплодны ее попытки уйти от земной жизни, сбросить с себя земную оболочку. Да она и не ищет этого.

Ирина Одоевцева, несмотря на то, что ей «не за что любить» окружающую ее городскую, «рассчетливую» жизнь, в которой она чувствует себя «всему чужою», все же тоскует по живой жизни и хочет «вечно жить» и этой мечтою наполняет свои стихи:

Всегда всему я здесь была чужою.
Уж вечность без меня жила земля.
Народы гибли и цвели поля,
Построили и разорили Трою.

И жизнь мою мне не за что любить.
Но мне милы ребяческие бредни,
О, если б можно было вечно жить,
Родиться первой, умереть последней,
Сродниться с этим миром навсегда
И вместе с ним исчезнуть без следа!

# ИННОКЕНТИЙ ОКСЕНОВ.

Иннокентий Оксенов—певец жизни. «Голосом нежности и металла» он «бесконечно» благословляет жизнь во всем ее многообразии, во всем ее бурном цветении.

Радуйся Жизнь моя
Благословенная!

С этим радостным жизнеощущением он вплетается в веселый хоровод жизни, сливается с его «чудесным праздником» и отдается «весь всему».

Я знал: где кончаются сосны,
Камни и стружки тростника,
Где вплетаются корни в откосы
Рыхлого желтого песка —
Приготовлен чудесный праздник:
Волны, ветер и соль.
Бесконечно, нежно, напрасно
Ударяет волна в песок.
Вся трепещет, дрожит живая
Пронизанная солнцем ртуть.
Всего себя всему отдавая,
Вытянуться и вздохнуть!

Для него природа «совсем живая», не «равнодушная», не «слепая», а горячая и живая.

Не только свежесть, не только холод,
Не только набегающий шум ветвей,
Не только теплый и медовый
Запах зрелых полей —
Ветер, прилетающий издалека,
Ты совсем живой!
В струях воздушного потока
Я купаюсь с головой.

И вновь стою, и глотаю воздух,
И вглядываюсь в облака,
И знаю, что в ветре и звездах
Дорога будет легка.

Этой «легкой дорогой» идет Иннокентий Оксенов сквозь жизнь и даже ее «земные казни» он воспринимает с душевной легкостью, простотой и бодростью потому что верит в конечное торжество ее живых и радостных сил.

Нам суждено сквозь все земные казни
Справлять земной неповторимый праздник.

Поэтому не страшен ему «железный жребий» наших дней. Он знает, что «это нужно земле».

Выдерживать железный жребий,
Сердце щитом закрыть;
Если тело кричит о хлебе,
Досыта душу кормить.

Итти, разрывая и строя,
Ощупью, в дикой мгле —
Вот это достойно героя,
Вот это нужно земле.

И тем легче ему нести этот «железный жребий», что в лишениях этих он не один, он вместе с народом, несущим великую страду, вместе со всей республикой, «взятой в кольцо врага»; тем радостнее, что он верит «в победный день», верит, что от этих «полыхающих костров сияет небо мировое».

Взята республика в кольцо врага.
Но власть народная к врагам строга.
Как долго длится лихорадка!
Но мы затопим наши берега,
В победный день нам будет сладко.
Затем, что каждый ко всему готов.
Мы взвесили всю тяжесть наших слов.
Вы знаете, что мы — герои,
От наших полыхающих костров
Сияет небо мировое.

Этой верой, этой радостью жизни, этой жадностью к ней, «перешедшей в бурный поток», полны стихи Иннокентия Оксенова, отдавшего жизни всю свою кровь.

# ПЕТР ОРЕШИН.

Веками нищавшая, изнывавшая под «царевой опричиной», разостлавшая свои длинные «страничьи» пути, свои широкие «невыхоженные» нивы, пьяная, убогая Русь подарила Петру Орешину чудесную «Дулейку»:

На дулейке только заиграю,
Все поля, вздохнув, заколосятся.
Потемнеет нива золотая,
Зашуршит, — и сны ей тут приснятся.

Позабудут странники убоги
Долгий путь к Угоднику Николе,
Соберутся, сядут при дороге,
Во широком златозвонном поле.

Я возьму чудесную дулейку,
Заиграю звонким переливом.
— Ой, ходила туча - лиходейка
По родным невыхоженным нивам!

— Ой, гуляли буйные ватаги,
Русь ковали в тяжкие оковы.
— Ой, гуляли хмельные от браги
По Руси опричники царевы!

— Ой, томились пойманные птахи
По родному радостному краю,
Отрубили голову на плахе
Всенародно парню - краснобаю!

— Ой, взгляните, люди, за покосы,
Не столбы ли виселицы видно?
— Ой, не волк ли пьет Господни росы,
Не седой ли плачется ехидно?

Зашумело вызревшее просо,
Распахнула зорюшка шубейку,
Положивши голову на посох,
Хвалят слезно странники дулейку.

Было о чем поплакать грустной «дулейке» Петра Орешина, было о чем рассказать и этому «вызревшему просу» и этим «нивам» и этим «странникам убогим».

Не раз заливалась этой скорбной «песней» русская «дулейка».

Под гармонику падают в степь облака.
Месяц над избами — светлая сталь.
Чу, не пахарь ли плачет в углу кабака?
Песня? Не песня, а скорбь и печаль!

О чем поет она, вспоминая былую Русь? О нищете, прокатившейся по родным селам и деревням, о голоде, сушившем народную грудь, о болезнях, белой коростой наросших на крестьянском теле, о грязи, о непробудной темноте, о диком, разгульном пьянстве, дарованном «свыше», о царской, помещичьей и кулачьей опричнине, от которой-то и все зло на Руси пошло.

Широка полоса богатея,
Ненасытна царева казна.
Вся деревня под игом злодея,
Вся раздета, темна, и пьяна.

Но вот над дремавшей веками крестьянской Русью, зажглась широкая заря, восстал гигантский «алый храм». И наивная, темнотой навеянная, светом нетронутая еще, вера приняла эту «зарю», как дарованную «свыше».

В Небесной Канцелярии
Господа нашего Исуса Христа
В феврале месяце
Тысяча девятьсот семнадцатого года
Село Святое Солнце
За зеленый письменный стол
И, в озеро Балтийское перо обмакнув,
Вывело и серебряно расчеркнулось:
С в о б о д а!

С поля вернулся Исус под утро,
Сел за муравчатый стол, —
Утомился, родной, наверно, —
Взял со стола Солнцем написанный свиток,
И только всего и сумел добавить:
С подлинным верно!

Первые дни свободы, принесенной «Февралем» и скрепленной «Господом», захлестнули сердце Петра Орешина алой радостью:

Долой же скорбные морщины,
Отныне светел я и смел.
Все бездны, ямы и пучины
Свободы Ангел пролетел!

Но очень быстро «скорбные морщины» снова набежали на его чело и новые «думы» одолели крестьянского поэта:

Красные зори обняли грешную землю,
Русь подняла свой окровавленный стяг.
Крику набата сердцем надорванным внемлю:
Бедный народ все-же по прежнему наг!
. . . . . . . . . . . . . . .
Шмыгают полем те же разбитые лапти,
Падает с плеч старый в заплатах кафтан.
Вы, фабриканты, что же задумались?—грабьте,
Грабьте смелее наших голодных сельчан!
. . . . . . . . . . . . . . .
Темные избы пламенем алым об'яты,
Жаркая степь запахом сена пьяна.
Где-то с надсадом горланят солдаты,
Где-то опять душно хохочет война.

«Царскую опричину» смахнула февральская революция, но длинный хвост ее—война, помещики,фабриканты—все еще волочился по измученным селам и деревням. И крепкую думушку задумали широкие русские просторы. И иную песню спела «дулейка» Петра Орешина.

Братцы, есть лишь один ворог истовый:
Богачи, государевы бражники.
Богачи во миру хуже пристава,
Хуже всякого царского стражника.
. . . . . . . . . . . . .
От него богатея — распутника,
Береги, брат, добытую волюшку.
Не ищи в нем ни брата, ни спутника,
Не поможет он нашему горюшку.

Не ходи ко всесветному знахарю,
Не пытай колдуна, не выспрашивай,
Помни крепко: земля — только пахарю,
Златокудрому, пахарю нашему.

И кликнула суровый клич беднота крестьянская:

— Сторонись, богач — размыка!
Что-о? Не сдвинешь ни на шаг?
Сдвинешь, погоди-ка!

Сказал, и стал древний Микула во весь свой вековой могучий рост, взял кистень и пошел чесать по всей нечисти «купецкой», да кулацкой, что захотела отнять у него «волюшку добытую».

В радостном угарном похмельи выместили Микулины сыновья свою вековую злобу на дворцах, да особняках, и хоть и безрассудно, и не по хозяйски (свое ведь, народное!), но попотрошили богатеево добро, крестьянским потом и кровью добытое.

Про эти буйные, похмельные дни спел Петр Орешин «под тальянку»:

Батя, глянь - ка:
Как никак —
Занимаем особняк.

Из деревни
Во дворец
Едет в гости мой отец.

— Кушай, тятька,
Осетрину.
Повезло родному сыну.

Жили - были
Во хлевах,
Ныне — в мраморных дворцах.

Брось ненужный
Разговор.
Ляг, родимый, на ковер!

Я за письменным
Столом
Напишу письмо пером.

— Мамка,
Тетюшка и сват,
Приезжайте в Петроград.

В зипуне,
Хотя и рваном,
Все равно здесь будешь паном.

Встречу вас я
На крыльце,
Во царевом — во дворце.

Спи, родимый,
Спи, не бойся,
Лисьим мехом принакройся.

Брось из лыка
Лапотки,
Надень шолковы чулки.

Слушай, батя,
Знай сноровку,
А я вычищу винтовку.

В окнах звезды,
Свету нет.
Завтра выступим чуть свет.

Или — Воля
Голытьбе.
Или — в поле на столбе!

Поверила «голытьба» крестьянская в «рабочую силу» и пошла за ней и вместе с ней обороняться от «белой Европы».

Слушайте, Октябрьские кони
Храпят, вывозя Россию.
И в судорогах последних стонет
Белая европейская сила!

Наше знамя октябрьское ало.
— В ногу, в ногу, шагай рабочий!
Это Красное Солнце восстало
Против всемирной ночи!

Белая не надейся Европа
На наши отчаянные неурожаи.
Не слопать, не слопать, не слопать
Тебе русского ржаного края!

. . . . . . . . . . . .

Проростает мечта рабочих
И крестьян, что вцепились в землю.
Нашей Красной Руси пророчество,
Как весеннюю весть, приемлю.

Этот крепкий союз рабочих, зажегших свою «железную мечту» и крестьян, крепко «вцепившихся в землю» для Петра Орешина залог победы и будущего расцвета и обилия, жаждой которого дышет его ржаная крестьянская воля.

В красный жар затрепещут колосья,
И цветы загорятся нежней.
Семя красное весело бросим
Под оркестры весенних дождей!

Будет поле в июль колосисто,
И заломятся шапкой скирды.
За спиной силача - коммуниста
Не узнаешь бывалой беды!

Мы построим двбрцы и палаты.
Проведем электричество в них.
Духом братства светлы и богаты,
Заживем на раздольях ржаных!

Петр Орешин видит впереди этот расцвет свободного крестьянства и его «дулейка» на все лады выводит одну радостную песню про «вольно дышащие травы», про «всходящие озимя», про «полные закрома», куда «новый хлеб преогромными мерами» убирается «по зерну», про «карасищи по целому пуду», которые плещутся «в прудах и в озерах» и про все чем зацветут крестьянские поля и раздолья под солнцем новой культуры, которую создаст новый человек, когда отобьется от своих бесчисленных «ворогов».

Так от грустных, тоскливых песен об убогой нищете крестьянской Руси перешла «дулейка» Петра Орешина к звонкой вере в грядущую солнечную радость, которую скуют на земле крепкие рабоче-крестьянские руки.

# НИКОЛАЙ ОЦУП.

Откуда это темное отчаяние в стихах Николая Оцуп?

И скользкое бревно обняв за шею,
Глотая волн кипящее вино,
Я не могу дышать и цепенею,
И смытый, наконец, иду на дно.

Ведь эти строки писались поэтом в 21 г., когда во всем мире закипала борьба за новую жизнь, когда зацветали цветы самых смелых мечтаний, эти строки писались в России, где уже закладывались первые кирпичи этой новой жизни, откуда же это мрачное чувство гибели, разложения?

Откуда этот страх, преследующий Ник. Оцуп даже в часы любви?

И, если с небом в глазах
Я тело твое сожму,
То знай: это только страх,
Чтоб тонуть не одному.

Такое отчаяние и такой страх могли только родиться в душе, боящейся этой грядущей новой жизни, отрицающей ее, чуждой ей.

И, действительно, Ник. Оцуп бежит всего, что напоминает ему «нашу эпоху», которая, как он иронически говорит:

...покажется наверно
Историку восторженному эрой
Великих преступлений и геройств,

он хочет забыть,

Что мы живем в особенное время,

он бежит в деревню, где встают милые его сердцу призраки прошлого, где

...найдется даже
Аббат с непостоянством роялиста,
Принявший облик русского попа.
В воспоминаньи французских строчек
Я даже место нахожу свое —
Поэта - зрителя и мещанина,

Спасающего свой живот от смерти,
И прохожу в избу к блинам овсяным
Крестьянина — Вандейского потомка.

И еще более понятным становится и это «отчаяние», и этот «страх», когда мы узнаем, что Ник. Оцуп «отроком радостно подрастал на парадах в Царском Селе», проигрывая на скачках деньги, присланные братом—владельцем гвоздильного завода»,—ведь, милый его сердцу мир, гибнет под напором новой, свежей и здоровой силы, ведь, Царского Села уже нет, ведь «крестьян—вандейских потомков» становится все меньше, а попы, которые обладают «непостоянством роялистов» спасают вместе с «поэтами - мещанами» «свой живот от смерти», уходят от бурь настоящего к грезам о прошлом. или «идут ко дну», «глотая волн кипящее вино».

# НАДЕЖДА ПАВЛОВИЧ.

В какую глухую и темную ночь погружена душа Надежды Павлович! Покровом этой «недоброй» ночи прикрыт для нее весь мир, приглушены все слова, притушены все чувства и желанья.

Свою «музу» Надежда Павлович называет «убогой», таящей «в складках губ» «звук неисцелимого страданья».

Этот «звук»—доминанта всех песен Надежды Павлович.

Как ночное небо, жизнь моя, —

говорит Надежда Павлович, бродя в миру «странницей убогой», потерявшей во тьме путь свой.

Чужому горю не помочь,
Свое не сможешь извести...
Куда брести
В сырую ночь?

Вихрь жизни мчит ее по неведомым ей путям. Молчаливо и покорно отдается она его могучей силе:

И куда уносит конь
Нам не знать.

Сквозь «мертвый холод» нависшей над ней ночи смотрит Надежда Павлович на мир, на природу, которая кажется ей «суровой», «угрюмой», «безнадежной», полной «извечной печали».

Извечную печаль таит в себе природа,
О, смуглый лик луны над вырезом дерев
И звезд едва мерцающий посев
На черноземе тучном небосвода,
И белый камень в серебре полей,
Невыразимые таящий думы,
И моря шум тревожный и угрюмый,
И слезы на листве упругой тополей!

Так же печальна, мрачна и сурова и любовь Надежды Павлович:

Моя любовь сурова, как суров
Мой север обнищалый и голодный...

И жизнь ее, как «дым», и душа ее «мертва».

Но ведь бьется кругом иная жизнь? Ведь есть же свет, преодолевающий мрак, есть же день, идущий на смену ночи?

Да, есть. И Надежда Повлович это знает.

Или эти песни только снятся
И моя любовь?
Но лучи порхают и кружатся
И живая каплет кровь.

И даже больше. От этой «живой крови», от «простого» и ясного света, что льется над миром, ей становится «стыдно» той темной ночи, что окутала ее стихи:

А небо все в серебряном огне,
А небо все в таком простом сиянье,
Что стыдно тосковать и плакать мне
И даже помнить о страданье...

Не потому ли ей и «не страшен» тот «счет», который ей пред'являет «память» в «итоге жизни прожитой»?

За счастье заплатила я сполна,
И на сердце покой и тишина.

Но о каком покое говорит Надежда Павлович?

Если это «покой и тишина» пред'утреннего часа, то за ними придет шумное и бурное утро жизни и полный солнца и тепла день.

Если же это покой вечерних, закатных часов, то душа Надежды Павлович снова погрузится в мрак и холод беспросветной ночи.

# ВАЛЕНТИН ПАРНАХ.

В жгучем вихре могучих и мрачных самумов и сирокко живет творческая душа Валентина Парнах.

Смерчи морей, сирокко и самумы,
О музыка крушения, орган
Величия, гул непостижной думы!

У Лиссабона пряпет Океан,
Кавказ и Индию покроют чумы.
И яро разверзается вулкан —

И бьется хрип подземного безумия,
Восторг и клокотание Везувия!

Весь мир предстает перед Валентином Парнах в этом безумном клокотании своих предсмертных часов, которое рождает в душе поэта ужас восторга, восторг отчаянья.

Он называет это клокотание мира «могучим и дивным паром», могучее и дивней которого только «беспощадный ад поэзии».

Душа Валентина Парнах, ослепленная этими вихрями, бьется в созданном ею самой мире, не находя выхода.

То бросается она в лапы дурмана, забвения, которыми хочет заглушить овевающую ее «меланхолию»:

Восточной песней душу одурманивать,
В тот миг не помнить ничего другого,
В ночную музыку себя заманивать
И радостно ловить гортанный говор!

То вздыхает о прошлом:

Где ваш оплот, разлеты строф, гимн ярый?
Умолкли спутники широких од,
Лады и доли, флейты и кифары.

Стих рыцарей! где лютни перебор?
Где мавританский строй, гортанный, чарый,
Щемящий, как Абенсарага взор?

И не находя щели, отдушины, погружается в какой-то цветистый, экзотический сон, в котором дивными видениями вставали перед ним

Благоуханий и крушений слава,
Великолепья древняя основа,
Павлины мозаик и пальм сады!

В его стихах длинной вереницей проходят видения этих снов: «красавицы ночных стран», над которыми «покачивались мерно на стволах тяжелые густые опахала», «ночи Стамбула и Каира», «женщины Дамаска», «цыганок и арабов меланхолия», «Вассанские дебри», «Венеция и бред Востока», Палермо, Неаполь, Египет, Вавилон, Афины, и снова Палермо, и снова ночные красавицы и их жгучие пляски под «вихрь быстрых зурн».

Какой-то сомкнутый наглухо круг!

Нашел ли Валентин Парнах в этом глухом сне то забвение, которого искал? Нет, не нашел.

Но горько преданный одной химере,
Я нес себе безжалостный закон.
И было здесь отчаянье потери
Прав на гармонию. Тюремный сон!

«Тюремный сон!» Не гармония, а иллюзия гармонии, химера, дурман. И чувствует Валентин Парнах, что не в них спасение, а в прикосновении к той жизни, которая кипит и бьется за стенами его экзотической тюрьмы.

# БОРИС ПАСТЕРНАК.

... «Действительность, разлагаясь, собирается у двух противоположных полюсов: Лирики и Истории» ...

... «Поэзия подыскивает мелодию природы среди шума словаря, и подобрав ее, как подбирают мотив, предается затем импровизации на эту тему» ...

... «Задача искусства в том единственно, чтобы оно было исполнено блестяще» ...

... «Искусство не фонтан, а губка» ...

Эти четыре мысли, высказанные Борисом Пастернак в одной из его теоретических статей, сплавлены в его творчестве в тот холодный, «стеклянный», по солнечный стержень, па котором вращаются все его стихи, про которые он говорит («Про эти стихи»):

На троттуарах истолку
С стеклом и солнцем пополам,
Зимой открою потолку
И дам читать сырым углам.

Задекламирует чердак
С поклоном раме и зиме,
К карнизам прянет чехарда
Чудачеств, бедствий и замет.

Ну, разве здесь не «действительность», стянувшаяся к одному из своих «полюсов»? Что это—стихи или сама жизнь «с стеклом и солнцем пополам»? Что это—поэт пишет или «чердак декламирует» «с поклоном раме и зиме»?

Ведь недаром же жизнь спустилась в эпиграф к его книге:

Для этой книги на эпиграф
Пустыни сипли,
Ревели львы и к ратям тигров
Тянулся Киплинг.

Ведь недаром же жизнь он назвал «своей сестрой»:

Сестра моя жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех.

Ведь недаром же он «в Дарьял, как к другу, вхож», «с Байроном курил» и «пил с Эдгардом По».

Для Бориса Пастернак факты жизни, природы и истории не более, как материал для стиха, как «мелодия», которую надо найти «среди шума словаря», чтобы потом «блестяще»—обязательно «блестяще», иначе это не искусство,—чтобы потом «блестяще» «импровизировать на эту тему».

Вслушайтесь в его «Плачущий сад».

Ужасный! — Каппет и вслушается,
Все он ли один па свете,
Мнет ветку в окне, как кружевце,
Или есть свидетель.

Но давится внятно от тягости
Отеков — земля ноздревая
И слышно: далеко, как в августе,
Полуночь в полях назревает.

Ни звука. И нет соглядатаев.
В пустынности удостоверясь,
Берется за старое — скатывается
По кровле, за желоб, и через.

К губам поднесу, и прислушаюсь,
Все ли я один на свете,
Готовый навзрыд при случае,
Или есть свидетель.

Но тишь. И листок не шелохнется,
Ни признака зги, кроме жутких
Глотков и плесканья в шлепанцах
И вздохов и слез в промежутке.

Что это? Описание осеннего (весеннего?) сада? Нет, это мелодия сада, подслушанная чутким ухом поэта, подысканная, затем, в шуме словаря, и блестяще с'импровизированная искусными и гибкими пальцами поэта. Это не описáние сада в образах, не олицетворение, а живое существование в образах и лицах, только не в живой жизни, а на белой бумаге книги.

И часто эта импровизация так далеко уносится от первоначальной темы, что вы только в звуках уловите ее отдаленный рокот, только в ритме почувствуете ее дыхание.

Так сел бы вихрь, чтоб на пари
Порыв паров в пути
И мглу и иглы, как мюрид,
Не жмуря глаз снести.

И об'явить, что не скакун,
Не шалый шопот гор,
По эти розы на боку
Несут во весь опор.

Не он, не он, не шопот гор,
Не он, не топ подков,
Но только то, но только то,
Что — стянута платком.

И только то, что тюль и ток
Душа, кушак и в такт
Смерчу умчавшийся посок,
Несут, шумя в мечтах.

Перечтите еще и еще раз и вы с трудом уловите смысловое значение этих строк, но стремительный поток этих «п»—«р» и «г»—«я» сначала, «т»—«п» и «к»—«ш» потом, захлестывает вас, сбивает с ног и увлекает ритмом и музыкой этой скачки «во весь опор».

Поток этих букв часто уносит Бориса Пастернак далеко от того смысла, который может быть дан в их сцепленьи. Он сливает их в бурные и шумные ручьи своей лирики, подчиняя их своей воле, своему хотению.

«Шум словаря» податливая глина в руках мастера - поэта. «Искусство не фонтан, а губка»,—говорит Борис Пастернак. Оно должно вбирать в себя, а не отдавать от себя. Да, жизнь—«сестра», но лирика твердый стержень, к которому она стремится и превосходство лирики над жизнью часто утверждает Борис Пастернак.

Как усыпительна жизнь!
Как откровенья бессонны!

И поэтому «откровеньями» он часто хочет пробудить сонную «жизнь».

Моей тоскою выняньчен
И от тебя в шипах,
Он ожил ночью нынешней,
Забормотал, запах.

Всю ночь в окошко торкался,
И ставень дребезжал,
Вдруг дух сырой прогорклости
По платью пробежал.

Разбужен чудным перечнем
Тех прозвищ и времен,
Обводит день теперешний
Глазами анемон.

Здесь сад оживает «выняньченный» тоской поэта, здесь день пробуждается от того «перечня прозвищ», которые дает ему поэт, здесь лирика рождает и пробуждает явления жизни.

И жизнь, все же существующая и вне воли Бориса Пастернак, мстит поэту тем, что дается ему только в внешнем звучании, скрывая от него свой бьющийся нерв и свою трепещущую мысль.

Поэтому холодным, равнодушным и растерянным бродит Борис Пастернак в чащах жизни. Он тонко и чутко слышит каждый, даже самый неразличимый, шорох и шелест, он с изумительным, подчас ошеломляющим мастерством, переливает их в свои строки, но осмыслить совершающееся вокруг него, почувствовать биение живого пульса, он не может.

Наяву ли все? Время ли разгуливать?
Лучше видно спать, спать, спать, спать,
И не видеть снов.

Пустая страница

Открываю певучий букварь,
Знать по самому буреву дней,
Во былинах такая ж туга,
Как дивес соловьиная смерть.

Все стихи Григория Петникова полны этого страшного на первый взгляд соединения древне-славянских речений с новейшим словотворчеством.

Он любит «отрыть» какое-нибудь забытое древне-славянское словцо или корень.

И дичая и в чащах роясь,
Загораться с рябиновых слов —

вот что пленяет поэта и он «устилает» «русскую младу»

Распевом простым радоуста.

Ища и «роясь» в чащах слова, производя словесные опыты, Григорий Петников часто «певческую ладью» направляет к берегам словесных изысканий, научных раскопок и тогда его лицо, как поэта, скрывается от нас.

Но стоит ему вспомнить, что он не только собиратель слов, но и поэт— «певческий данник» «немой яви» мирозданья—и песня его зацветает радостной «перекличкой листов, сердец и ковылей».

Еще гроза не переспорит снов
Косожских золотых песков,
Но чуется твое преображенье
И в ливне лиственных речей
Над лирнем радугой сближенья.

И перекинешься тогда
На степь такою перекличкой
Листов, сердец и ковылей
Неизбываемое величье.

И также будет ветр гореть
Упругим летом лен тревожа,
И с смуглых плеч ее морей
Опальный летень голубь сгложет.

И горы голубые грома
Нагромоздив в гудящей полумгле,
Бросаешься в небесный омут,
В младенчестве апрельских лет.

Почуяв «незабываемое величье» мира, Григорий Петников не отгораживается от него и, роясь в «буреве дней», он тоже пытается «косноязычьем человечьим» передать их «величье», «вещать октября пожар» и «иные новины небес»,

Пой и пой в весеннем дыме
Иные новины небес,
Твое светлеющее имя
Полями веющую песнь.

Вся поэзия Григория Петникова—такая «полями веющая песнь». «Небосиний певческий ветер» надувает своим «упругим летом» «зацветающий парус» его стихов.

Пустая страница

Н. Полетаев уходит снова в город, отравивший его своим больным дыханием. Он уходит в свой подвал

...чтоб там в дыму и в тряпках
Сплетать венки из плесени весне.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Уйду в подвал, зароюся в лохмотья
И буду бредить, буду жить весной.

Но «ни гнилые лапы» города, ни «комнатная слизь» не убивают в нем живого чувства природы.

Он не любуется природой, он не стоит возле нее сторонним наблюдателем, он не вне ее, а в ней самой, он живет в ней, он чувствует ее биение.

Вот так бы на траву упасть
И пить сырую эту сладость.

И жить, и млеть, и изнывать
В потемках полосатых платья,
Чтоб жар, чтоб тень, чтоб благодать,
Чтоб солнце, тяжесть, и зачатье.

Н. Полетаев не понимает, как можно быть равнодушным к природе, как можно только «жалковать» над «задыхающейся розой» и не припикнуть к ней, «страстной и одинокой» со всем пылом живой любви.

А я б вцепился, я бы влип
В ее дурманящее брюхо.
И целовал бы, мял бы, грыз
Живые, сладостные губы.
И пал бы с розой пьяной вдруг,
Как в кабаке поденщик грубый.

Так сквозь городскую слякоть и туманы пронес Н. Полетаев нетронутой и трепетной свою горячую любовь к живой, по живому близкой ему и родной, жизни, цветущей там, за стенами города, куда не доходит его «грохот безобразный и крик, и вихрь, и звон и стон».

# ЕЛИЗАВЕТА ПОЛОНСКАЯ.

«Страшная волна» жизни «выхлестнула» Елизавету Полонскую на берег и отдала ее «на жертву» «одиночеству, и холоду, и зною, и голоду».

Но прадедов суровое упорство
У внуков ветренных еще цветет в крови,
И голос родовой, настойчивый и черствый
Еще твердит упрямое — живи! —

И мы живем, и Робинзону Крузо
Подобные — за каждый бьемся час,
И верный Пятница — Лирическая Муза
В изгнании не покидает нас.

Елизавета Полонская пытается уйти от жизни со своим «Пятницей— Лирической Музой», в прозрачные миры волшебных снов и уединенного мечтательства, где «ничто не волнует», где «солнце льет уныние», где любовь уводит

Сквозь прозрачный призрак дыма
В створчатые зеркала,

где даже стих становится каким-то «чужим».

Но как тут уйти, когда жизнь упорно стучится в двери?

И легкой пылью будничных работ
Нас каждый час упорно обдает.

И она погружается в иные «сны»

. . . про голод и беду,
Про черный хлеб, про смрадное жилище.

Она узнает «цену»

Друзьям смиренным, преданным, безгласным:
Березовым поленьям, горсти соли,
Кувшину с молоком и небогатым
Плодам земли, убогой и суровой.

Мудрено ли, что ее «бедным глазам» непонятен и страшен «слепительный свет слишком буйной весны», что расцвела над миром?

Бедным глазам страшна,
Ты, — неожиданная весна!

Мудрено ли, что она не приемлет эту «весну», что строительство новой жизни она считает «рабским трудом», хранит «память царственной страны», «испепеленной» «губительными днями разгрома» и плачет о «гибели корабля», что застигла ее «в комнатах уютных и домашних»?

Елизавета Полонская знает, что

Быть мертвым средь живых нельзя,

но «в сонной дремоте» она бродит среди людей и только сквозь туман, застилающий ее сознанье, она слышит призывы к труду и борьбе:

Быть мертвым среди живых нельзя,
Вставайте!
Вставайте!
Не спите!
К работе!
К винтовке!
К защите!
. . . . . . .
Вставайте! Не спите! Вас много.
Вас ждут.
Вы рано заснули,
Не кончился труд.
Идите! Идите! Идите!

Призывы, на которые ушло все, что было в людях живого и здорового.

Все же, что не могло сбросить с себя «сонных чар» прошлого, осталось за «стеной колючих заграждений».

# ПЕТР ПОТЕМКИН.

В свои печальные, прерывистые строки собрал Петр Потемкин всю боль города, все стоны, слезы, всю жуть его ночей и вечеров.

Но и через эту боль и жуть, через стоны и слезы, он сумел почувствовать его большую красоту.

Неизменно «печальным» и «влюбленным» бродит Потемкин по улицам и переулкам города.

Брожу влюбленным и печальным
В лучах вечерней синевы.

И в стихах Петра Потемкина живет эта терпкая смесь легкой влюбленности с горьким настроением печали, эта «вечерняя синева» города и жутко прекрасные отсветы белых ночей. Ими отравлены его шутки, оттого они так тревожны, оттого улыбка его выходит такой кривой, замученной.

В стихах Петра Потемкина нет улыбок солнца, радостей весны. Где же ему, бродящему среди серых каменных гигантов, заслоняющих небо, ему, окутанному больными туманами города, очарованному бескровной белой ночью,—видеть солнце?

Нет в его стихах и радости разделенной любви. Откуда ему знать эту солнечную радость, когда возлюбленная его «парикмахерская кукла».

...На парик парик меняя,
Она, что день, уже не та.

Разве могут дать эту радость «нарядные женщины» с панелей, глаза Паулины, встречи у «Квисисаны» и мимолетные ласки где-то в грязном номере загородного ресторана.

Я бродил по улицам крикливым,
Я искал в вечерней желтизне
Чьих-то глаз молящих о весне,
Чьих-то глаз с серебряным отливом.
И когда прозрачная вуаль
Мне сулила вздохи наслаждений,
Я считал истертые ступени
И ласкал, и снова видел даль.

И опять по улицам крикливым
В темных ртах визгливых кабаков
Я искал неуловимых снов
Чьих то глаз с серебряным отливом.

Бродить по шумным улицам, в пестрой толпе искать чьих-то глаз, может быть зовущих в такой же ненасытной жадной тоске, ласкать, не спросив, не узнав души и потом заливать все нарастающую печаль дешевеньким вином где-нибудь в грязном углу «визгливого кабака», такова городская любовь. Ей никогда не светит солнце:

И дождь был сыр, и мрак был жуток,
Суровый ветер выл, и звал...

Поэт, раз отравленный тоской города, той особенной жизнью, которая протекает на его улицах, на блестящих от дождя панелях, в призрачном свете белой ночи, уже не с'умеет никогда поднять голову к далеким высям, чтобы увидеть там солнце, и оно никогда не осветит его бледно-печальных строчек. Нет его и в стихах Петра Потемкина.

Хмурые, серые «слепые» дома, потертые ступени лестницы, визгливые кабаки, пьяные больные проститутки, липко стучащие каблуками «по каменным плитам тротуаров», и над всем этим бледная заря белой ночи—вот что отразила его поэзия.

# АЛЕКСЕЙ РАДАКОВ.

Немногие известные нам стихи Алексея Радакова пропитаны ненавистью к «жирному дяде», которого «слабые души» слишком долго терпели на этой «светлой земле».

К тому «жирному дяде», для которого фонды, биржевые фонды—высшее откровенье.

Для тебя кроме пользы, — нет в жизни сути.
Тебе говорит море о пудах соленой рыбы,
Пары влюбленных — о дороговизне ртути,
О фабриках и металлах — горные глыбы.

Для тебя твое брюхо — центр вселенной,
Солнце имеет честь над тобой подниматься.
Звери, птицы, рыбы — жратвой отменной
Только и мечтают в твое брюхо пробраться.

И понятно, когда Алексей Радаков говорит:

Я, чердачный поэт, лучше откажусь от мира,
От стихов, лучше все несчастья приемлю,
Чем видеть, как эти тупые комья жира
Поганят нашу светлую землю.

Эх, натопить бы из этих дядь сала,
Да сделать свечу до небес высотой,
Чтобы она и ночью ярким маяком сияла
Над нашей мирно спящей землей.

Чтобы и ночью читали мое стихотворение
И в тиши мансард, и в вихре шумов пирных...
Чтобы и ночью проклинали терпенье
Слабых душ, так долго терпевших жирных.

Понятно, потому что эти «тупые комья жира», для которых брюхо и карман—«центр вселенной», облепляют пошлостью и грязью весеннюю красоту земли, в которую влюблен Алексей Радаков. Он влюблен в город, влюблен в сумрачную красоту этих серых гигантов, прорезающих черную завесу неба,

в очарование «весенних дней» и ночей города. И он тоскует по тому сильному и «звериному», что гибнет в «гостиных», где живут эти «жирные дяди».

В синем сумраке шум города тише,
Шум города тише, а на крыше любовный азарт.
Ах, зачем гостиные не крыши,
А январь не март?...

И он крепко возненавидел эти «гостиные», где «платьем прочно скованы жесты» и та сила, которой «ясны тайны весенних дней».

Алексей Радаков не принадлежит к «цеху» поэтов, полки библиотек не гнутся под томами его стихов, но каждый, кому ненавистны «жирные дяди»—церберы красоты, кому ненавистны все те, для кого «брюхо—центр вселенной», почувствуют прелесть этих тяжело ритмованных строчек и радость протеста и бунта против «нарядного рабства тела» и тепленькой спячки «дядь из сала».

# П. РАДИМОВ.

П. Радимов не слагал нам песен про необозримую вселенную, где в космических вихрях гибнут и рождаются миры, он ввел свою музу на наш бедный грязный, деревенский двор.

Правда, он побоялся за ее избалованный, изысканный вкус. Он говорит своей музе:

Правда, вряд-ли могу я сравнить без ущерба с прекрасной
Юной Элладой твоей — родины бедной поля,

но все же повел ее «меж созревающих ржей» туда, на «крытый соломою двор», где «рига, сарай и амбар», в тот «обнесенный вокруг частоколом балясин», мир, который он избрал для своих творческих вдохновений, красоту которого он всем своим существом почуял, в нее поверил и воспел ее тем гекзаметром, на котором из'яснялись в «царстве бессмертных», воспел в тех строгих сонетах, которые до сих пор служили поэтам только для излияний чувств высоких и торжественных.

Ну, разве не замечательно это гекзаметром написанное «Пойло»?

Всякая дрянь напихалася за день в большую лохашку:
Тут кожура огурцов, корки, заплесневший хлеб;
В желтых помоях из щей образуемых с мыльной водою
Плавает корнем наверх вялый обмусленный лук;
Рядом лежит скорлупа и ошметки от старой подошвы,
Сильно намокнув в воде, медленно идут ко дну.
В склянь налилася лоханка, пора выносить поросятам:
В темном они катухе подняли жалобный визг.
Старая баба Аксинья, в подтыканной кверху паневе,
Взявши за ушки лохань и, понатужась, несет.
Вылила вкусное пойло она поросятам в корыто.
Чавкают, грустно сопят, к бабе хвосты обратив.

Или разве не характерен этот сонет?

Ну, уж свинья! Какое свинство в харе
С покатым лбом, с глазами будто щели!
Заводская свинья и в полном теле.
С подбрудка свесилось серег по паре.

Лежать на солнце ей, как на пожаре,
Невмоготу. И мухи одолели.
Оне бедняжке уши прозвенели...
Как хорошо хозяину в амбаре!

Его главу поленом подпирая,
Заботливо хозяйка молодая
За рядом ряд гребенкою простою

Проборы делает. И раздвигает
Его власы и взоры устремляет,
Чтоб действовать умелою рукою.

Воспевая гекзаметром «пойло» и чеканым сонетом «заводскую свинью», П. Радимов с'умел сломить «упрямство» своей музы, с'умел заставить ее сменить гнев на милость и полюбить «этой жизни нехмурый уют», он с'умел доказать ей, что

Жизнь никогда не иссякнет и пир ее пышно обилен,

даже здесь на заднем крестьянском дворе среди чавкающих и грузно сопящих свиней и чешущихся у амбаров телок.

И не прав ли П. Радимов, когда зовет «музу юной Эллады» от ее «умирающих (умерших!) богов» к новым богам, живущим не на далеких, недоступных людям Парнасах, а здесь, среди нас, на нашей скорбной и грязной земле.

# АННА РАДЛОВА.

В скупом и однообразном мире живет душа Анны Радловой и скупа и однообразна ее поэзия, которую она сама сравнивает с «многоголосой фугой Баха», что

Однообразно, без любви и страха
Поет.

«Однообразно», «без любви и страха»—в этом пафос этой холодной и бескровной поэзии.

. . . Дано мне знанье,
Как надо петь покой и синеву.

И потому холодна и бескровна эта поэзия что холодна и бескровна душа самой Анны Радловой, которая

Как шар из венецейского стекла,
И не заметит друг мой, самый тонкий,
Что кровь моя тихонько утекла.

Об этой «болезни» своей души она говорит не раз:

Должно быть кровь моя таинственной дорогой
В багряный ледяной перелилась закат.

Но тревожит ли ее эта «болезнь»? Болеет ли она этой своей оледенелостью?

Должно быть, нет. Минутами начинает казаться, что эту свою «болезнь» она считает каким-то радостным «здоровьем», каким-то достижением своей мудрости, поднявшейся на холодные и спокойные высоты равнодушного отношения к миру.

К чужому полю и родному дому
Равно неласкова и холодна —

говорит Анна Радлова, одновременно и печалясь и радуясь этому своему равнодушию.

Холодом и светом напоенный
Мне дарован истинный покой.

Этот покой примиренности с жизнью рождает «четкий высокий строй» образовав ее «холодного, как лезвие стиха», для которого она выбирает

«торжественные и плавные» слова. Она любит медлительную поступь старинных слов—Амальфийские сады, Самофракийская победа, кифарный строй, венецейское стекло, Пазифаина любовь,—старинные обороты и словоупотребления—брег, недуг, любови, «сей гибельной утехи»,—важные и спокойные эпитеты—мудрая тоска, великолепный покой, трудная верность и т. д.

И вполне понятно, что когда она говорит о любви, то в стихах ее нет горячей страсти, а есть холодная и спокойная ласка, терпкая печаль и, иногда, тихая, светлая радость. Вообще в ее словаре почти нет слова: «горячий», но «теплый» ее любимый эпитет. Ту же любовь она называет «теплой и соленой, как кровь» и даже памятник она мечтает воздвигнуть себе «теплый».

И понятно также, что такая настроенность «скупой» и «холодной» души дают вместе с тем, большую нервную насыщенность, напряженность и особую обостренную чувствительность, благодаря которой она слышит то, что не слышно другим, знает то, чего не знают другие и видит недоступное взору других.

Она слышит, как «дышит», «лиловая гора», как «ленивый зверь», что «на закате спит», она видит, как «море легкою стеной взлетает к небу», она чувствует, как пахнут дни и ночи.

...Дни как будто пахнут медом
И ладаном немного и цветами,
Что в книге милой высохли давно,

Ночью веселей живется,
Пахнет ласковей земля.
Пахнет медом, терпким тмином...

Создает ли такая бескровная холодность, от'единенность от мира? Конечно,

...Не для слабой, не для робкой груди
Грозовый воздух солнц и мятежей,

в котором мы живем в эти годы, что, по ее словам, нам «зачтутся за столетия», но и она, по своему, конечно, чувствует их величие.

Под знаком стрельца, огненной медью
Расцветал единый Октябрь.
Вышел огромный корабль
И тенью покрыл столетья.
Стало игрушкой взятье Бастилии,
Рим, твои державные камни — пылью.

В жилах победителей волчья кровь,
С молоком волчицы всосали волчью любовь.
И в России моей, окровавленной, победной или пленной,
Бьется трепетное сердце вселенной.

И не беда, что ее то собственное сердце «медленно, и скупо холодеет», она чувствует этим сердцем «теплую, ласковую землю», по новому зацветающую в эти, чуждые ей и страшные немного «годы - столетья», она чувствует, что «немыслимая взору открывается страна», хоть и «душно» ей от «темного пожара», хоть и боится она, что сердце не выдержит «такую любовь».

# СЕМЕН РОДОВ.

У каждого поэта своя Беатриче, Лаура, Хлоя.

Хлоя Семена Родова родилась на заводе, среди гула машин, воя гудков, в дыму, копоти и огне.

К нему прикоснулась невеста,
Гарью дыша.

Его «невеста» не похожа на изнеженных женщин, которым плели поэты цветущие венки своих стихов.

Косы мои — из дыма;
Тело — медный расплав,
Стану - ль тобой любима,
У стали силу забрав?

Очи мои — что пламя,
На устах громовый раскат.
Любовь пойдет ли за нами,
Станешь ли мужем брат?

И любовь Семена Родова не изнеженная любовь комнатных теплиц, а суровая, огненная любовь «кровавых битв» и «шумных площадей».

Наши не нежат, не холят,
А если нежат, то не таких.
Огнем ветровых приволий
Обжигаем подруг боевых.

Нежность не свяжет веревкой,
Верность цепей не скует.
Самой сильной и самой неловкой
Походкой любовь идет.

Затерялась в кровавых битвах,
Затолкалась на шумных площадях
Не встретишь ее на молитвах
И не там, где судорожный страх.

Лучась из миллионов грудей,
Дробясь несчетностью звезд,
Любовь — в кипящей запруде
И над нею к Грядущему мост.
Да и как же иначе, когда
Наши дни — раз'яренная конница
По могильным курганам веков
И, пришпоренная, вихрем гонится,
За далеким огнем маяков?

Да и как же иначе, когда новый поэт услышал могучий клич борьбы? Мог ли он по прежнему петь сонеты Лауре или воспевать в терцинах Беатриче?

Эй, — слетайся, стая верная,
С городов, да с глушей.
Будет битва непомерная,
Зацветайте души.
Всколосите темным пламенем
Города и веси,
Золотистым лягте знаменем
В дымном поднебесьи.
Ширьтесь ярыми пожарами
Рушьте толщу века.
Меж его стенами старыми
Прожигай просеку.

В мир пришла новая душа, горящая яростью борьбы и победы, рушащая старых богов в их древних, полуразвалившихся храмах. «Переспорил бога ныне человек»,—говорит Семен Родов.

Его душу опалила новая красота.

Я — из тех и с теми,
Кто — солнце встающих дней.

Это солнце «встающих дней» горячо сверкает в стихах поэта:

Как огонь полыхая
Мечет снопы золотые,
Не так ли и нашего стиха
В лицо твое пламень, Россия?

Слепнут очи от рези задымленных век,
Но огонь чем сильнее ласкает, тем слаще.
Не таков ли и твой пробег
Под вихрь революций палящих?

Здоровая душа нового человека почувствовала в революции живительную силу, которая «все сожигая, все живит», которая наполняет одряхлевшие вены старого мира «весенним соком» жизни, и воспела этот «мост к Грядущему»:

Опрокинули радиолинии
В туманную осень веков,
Над Прошлого мерзлой стынью,
Под быки межзвездных мостов;

Протянули миллионный кабель
На каждый межзвездный стык
На миллионах черных каабей
Межпланетный язык.

И гудит он напевом поющим,
И каждому ясен и прост.
Мы первые строим к Грядущему
Над миром взброшенный мост.

«Мы первые строим»,—говорит Семен Родов,—и это «мы» проходит через все его стихи. Он не мыслит себя вне той массы, которая строит этот новый мир вместе с ним. «Наши не нежат», «наши дни», «наш завод», «наш стих», «мы, пролетарские певцы», «наша речь» и т. д.

Эта сила коллектива проникает его стихи и вливает в него бодрость и солнечную радость, которые поглощают «однодневную тоску» усталости, помогают преодолеть «трудную дорогу» и достичь «солнечного века» всемирного братства и товарищества.

Не один — я: много, много
Всюду нас.
Будет трудная дорога,
Будет светлый час.
Пусть, как сумрачные спицы, промелькают эти годы, —
Красной поступью подходят ратью солнечной века.
Претворяйся в радость, бей в народы,
Тай и пой ручьем весенним. однодневная тоска.

# ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

Поэзия Всеволода Рождественского родилась в провинциальной глуши, где «непривычны шаги»

Она родилась в старинной усадьбе, где «мятным чаем и вареньем» лечать «зимнюю хандру», где ездят в гости в «санях крытых ковром».

Здесь

...сквозь мутное веселье
Шаркунов и бубенцов
Кружит голову похмелье
Неоконченных стихов,

которые будут написаны «карандашом» «на рояле» и прочтутся «в темной зале» «как останутся вдвоем».

А потом старинные книги, где Вертер с Шарлоттой, Манон Леско и резвый Фигаро научат вас, как

По сердцам, по ступеням, по плитам
Зайчиком прозрачным пробежать...

Таким «прозрачным зайчиком» пробегает по миру творческое воображение Всеволода Рождественского Живя в двадцатом веке, в «каменном Петрограде» он вздыхает о «деревянном Петербурге», где

...пахли стружки
И глухо звенел топор;
Здесь после ночной пирушки
Крушили смолистый бор,
Здесь плотничьи пел он песни,
Рубанком равняя струг.
Воскресни же, воскресни,
Деревянный Петербург!

Вспоминает о старом Царском селе где,

Гимназия. Пруды. Родной Версаль.
Моей любви прозрачные недели,
Озер и памяти холодная эмаль,

В этом заколдованном, завороженном море воспоминаний, в котором живет душа Всеволода Рождественского нет скорбей, мук и горя:

Проходит скорбь, как облака земные,
И горе не мудрее, чем вода.

Жизнь в этом мире легка, любовь—весела, всегда ласково светит солнце и царит ясная и несложная философия:

Проходи по жизни налегке,
Как проходишь кашкою примятой
К золотой дымящейся реке.

И так же легко и весело здесь творчество:

Наклонись — и увидишь в тяжелой, как вечность воде
На песке золотистом холодное звонкое слово.

И недаром Всеволод Рождественский говорит, что

Сам Господь в хорошую погоду
Дней моих вручил веретено...

Плотной стеной отгородился Всеволод Рождественский от подлинного мира с его настоящими, не выдуманными муками и радостями, с его тяжкой и скорбной жизнью и борьбой за лучшую, более чистую и счастливую жизнь, которая дается не паточным мечтательством и розоватой водицей воспоминаний, а тяжелыми, жертвенными подвигами и таким же тяжелым, жертвенным творчеством.

Такими суровыми, полными могучих подвигов и радостного творчества годами, помечены стихи Всеволода Рождественского. Большинство его стихотворений написано в 1917—1921 годах, в годы упорной и напряженной борьбы, кипевшей вокруг поэта. Но он ушел за розовую изгородь прошлого и легкой поступью мечтательства взошел на «солнечный корабль», отплывший от берегов жизни.

Ничего не понимаю,
Только небо и люблю.
Час настал причалить к раю
Солнечному кораблю.

И жестоко будет разочарование поэта, когда он увидит, что в действительности солнечный корабль его поэзии пристанет к сусальному раю, в то время, как другие люди и поэты построят за его спиной сияющий всеми цветами радуги земного счастья, человеческий, земной рай.

# ИЛЬЯ САДОФЬЕВ.

Из двух могучих сил,—разрушения старого и созидания нового,—слагается душа нового поэта, пришедшего в мир в час, когда уже закладывался фундамент новой жизни. На этом новом фундаменте он должен был разбить «цветистый сад» своей поэзии.

На железе и граните —
Разобьем цветистый сад, —

говорит Илья Садофьев.

Не на веками взрыхленной и удобренной почве, а на железной и гранитной целине будет разбит этот сад. Вот почему не тепличные цветы гладко ритмованных и рифмованных строк сажают новые поэты, а «динамо-стихи», вливая в них «ритм гранита и металла», ритм тех машин и станков, у которых родился этот поэт. Вот почему он ненавидит старое и буйно стремится к новому.

Он презирает те слепые силы, что евнухами сидят в воротах новой жизни и в своих, часто «кинематографических», строках передает всю радость суровой и жестокой борьбы с ними.

Вот они эти слепые силы прошлого, жадно цепляющиеся за настоящее, чтобы затормозить неминуемый приход будущего:

Министры, ораторы, опочившие на лаврах переворота,
Обзывая восставших пьяными рабами, вопили о порядке,
Полководцы бросали в огонь войны за ротой роту...
По лицам всех скользили довольства отпечатки.
Длилась позорная свадьба с черными силами.
Бывшие вожди служили у стола, подавая закуски.
Ученые кого то искали между трупами и могилами,
Пудреные поэты писали поэмы революции русской.

Но налетела новая и бурная волна и смыла всю эту слякоть с лица революции.

Крики... Тревога... шаги... пулеметы... орудья... штыки...
Вышли, восстали красные заводы, окраины, кварталы...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Зареяли имена Комиссаров - вождей в царство Коммуны —
Ленина, Зиновьева, Троцкого, Луначарского...

Завопили, застонали все эти

Обыватели, поэты, законники, ученые,
Восстанием, переворотом напуганные,
Удрученные...

. . . . . . . . . . . . . . .

По степям, полям горбатым,
По границам, рубежам,
Побежал
Их надрывно-злобный зык,
Их протяжно-дикий крик:
«Кар-ра-уууул!..
По-мо-гииии!..»

Но суровы и непреклонны могучие силы нового мира.

Шахты, домны и заводы,
Паровозы,
Пароходы,
Мира черного угрозы:
Динамит, огонь, металл,
Интенсивность развивали,
Бег победный ускоряли,
Разрушали,
Хоронили —
Старый Мир...

И вот уже

Электрические провода — земли стальные нервы,
Легковейные, узорные холсты — знамена
И бродячие скрижали — газетные листы
Вещают
О кончине нахохленных, заспанных лиц
И старого черного мира...

На смену им идут борцы за новый мир, идут «всемирные товарищи» и в первых рядах «вестники грядущей новой красоты», дыхание «иных веков прекрасных», «лучшие цветы» труда—пролетарские поэты.

Эта светлая и могучая рать идет сквозь «все преграды, все препоны», преодолевая усталость, рассеивая колебания и сомнения, потому что верит

в близкую победу, потому что слышит уже топот приближающихся мировых пролетарских легионов.

Сгущенный воздух электричеством насыщен,
И кажется страна — клокочущий вулкан...
Я чувствую, что скоро будет путь расчищен
К братству угнетенных всех племен и стран...

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Я вижу — дали красным заревом пылают,
То миллиарды флагов и знамен парят...
Под ними гордо, смело, победно в Мир вступает
Всемирный наш Товарищ — Пролетариат.

# ГР. САННИКОВ.

Гр. Санников родился в час могучей борьбы, когда два титана, ставшие в вековой, непримиримой злобе друг против друга, крошили своими ударами старый мир покоя, уюта и тихих «звездных» песен и мечтательства.

В этой борьбе Гр. Санников, вышедший из трудовых, пролетарских масс, целиком на стороне того юного гиганта, который дерзко встал против своего, веками копившего силы, врага, он чувствует освежающую силу, несущейся над миром «грозы», от которой

Потемнели высоты горние,  
Воздух набух.  
Зорь всполохи,  
Гром далекий глух.  
Словно конь необузданный,  
Ветер ретивый  
Вдруг  
Рванулся  
И вскачь по равнинам забил, закопытел, загудел  
И хвостом сивым  
Взвил  
Бурую пыль дорог.  
Дрогнули небеса  
В огне судорог...

Но сам он душой жаждет того «влажного звездопада», который придет за этой «грозой», его творческий пафос не в борьбе, а в чаяньи победы, которая придет после борьбы, его поэтическая дорога—«одна дорога» с его дядей-босяком—«золоторотцем старым», которому он посвятил свою поэму «Корабли».

И мне с тобой одна дорога  
Грузить и ждать и болью петь.

В этих строках точно обозначен творческий путь Гр. Санникова.

Грузить и ждать и болью петь, —

здесь весь Гр. Санников.

Труд, чаянье победы и пропитанная светлой болью лирика—вот грани поэтического облика Гр. Санникова, вот вехи его творческого пути.

Ах, опьяниться бы полынью дней,
Под грузом мук согнуться
И огнезарной радости лучей
Томленьем боли улыбнуться.

И с нагруженных плеч на пьяный путь
Пролить росу под ношею изнемогая,
Чтоб глубже, шире всколыхнулась грудь,
Когда я сам, как солнце, засияю.

Гр. Санников идет сквозь «полынь дней», согнувшись «под грузом мук», «под ношею изнемогая», чтобы свалить ее потом «с нагруженных плеч» и ждать светлого часа, когда все и все на земле «засияют, как солнце».

Он вместе со своим «молодым грузчиком»

На плотных нарах засыпая,
Он чает сквозь тенистый сон,
Что скоро жизнь береговая
Перекачнется на волнистый звон.

И тогда

Под грузом согнутые плечи
Он к жизни, к жизни разогнет.

Жизнь, природу Гр. Санников чувствует остро, нервно, почти «физически».

И больно, больно, как от мыла,
Глазам от расплескавшихся лучей, —

это характерно для Гр. Санникова.

Так живо воспринимая радости и боли природы, он умеет светло и прозрачно перелить их в свои строки.

Я помню утреннюю тишь,
Над городом светало...
Заря к земле с горбатых крыш
Медлительно сползала.
Был ветерок певуче тих,
Лишь пробужденные заводы
Прозрачность высей голубых
Кривили дымною зевотой.
И вдруг порывисто коснувшись

До встрепенувшейся листвы,
По мостовым порхнуло вдруг
Румяное ку-ку-ре-ку.

Гр. Санников один из немногих пролетарских поэтов, у которых лирические мотивы заглушают боевые. Но и в самых напряженных лирических стихах его звучат отдаленные гулы «пробужденных заводов», «метельных битв» и все его творчество—это светлое, «румяное ку-ку-ре-ку», возвещающее грядущее утро.

# ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН.

Бабочку, красивую и пеструю, легкую и простую бабочку приняли за ласточку новой весны какой-то.

И захватили ее, и обтерли пыльцу, без которой она жить не может.

Одни хватали ее и выставляли, как «знамя», как «лозунг»—«бунтарство», «новое искусство»... Другие в исступлении кричали: «потрясение основ», «взрывание прошлого», «футуризм»...

И не увидели, как под руками погибла красивая и пестрая, легкая и простая бабочка, которая могла бы жить и трепетать, и радовать нас своим сверканием в ласковых лучах солнечных.

Это—Игорь Северянин.

Ведь это он сказал:

Душа поет и рвется в поле,
Я всех чужих зову на «ты».

Ведь это он замѐтил, как «плыло небо, пело солнце, кувыркался ветерок», как

Кружевеет, розовеет утром лес,
Паучек по паутинке вверх полез.
Бриллиантится веселая роса.
Что за воздух, что за свет, что за краса!
Хорошо гулять утрами по овсу,
Видеть птичку, лягушенка и осу,
Слушать сонного горлана - петуха,
Обменяться с дальним эхо: «ха-ха-ха!»
Ах, люблю безцельно утром покричать,
Ах, люблю в березах девку повстречать,
Повстречать и, опираясь на плетень,
Гнать с лица ее предутреннюю тень...

Ведь это он написал:

Люблю октябрь, угрюмый месяц,
Люблю обмершие леса,
Когда хромает ветхий месяц,
Как половина колеса.

. . . . . . . . . .

Морозом выпитые лужи
Хрустят и хрупки, как хрусталь;
Дороги грязно-неуклюжи,
И воздух сковывает сталь.

Почему же мы так ухватились за его: «я, гений Игорь Северянин» и не поверили, когда он просто и ласково сказал:

Влекусь рекой, цвету сиренью,
Пылаю солнцем, льюсь луной,
Мечусь костром, беззвучу тенью
И вею бабочкой цветной.

. . . . . . . . . .

Я с первобытным неразлучен,
Будь это жизнь ли, смерть ли будь.
Мне лед рассудочный докучен, —
Я солнце, солнце спрятал в грудь!

Почему мы разнесли по всем газетам и журналам, что он «повсеградно оэкранен» и «повсеместно утвержден» и не заметили, что тут же рядом он написал:

Не ученик и не учитель,
Великих друг, ничтожных брат,
Иду туда — где вдохновитель
Моих исканий — говор хат.

И он захотел взлететь за нашими криками, он захотел «взорлить, гремящий, на престол», но трудно было бабочке стать орлом и он упал к ногам тех, кого так ненавидел, он попал в об'ятия этих «шаров бездарных в шикарных котелках», он стал петь для них о «королевах», «принцессах», «фрейлинах», «пажах», «нарумяненных Нелли», «куртизанках», которые в «комфортабельных каретах» и «яхтах» раз'езжали в «изысканных муаровых платьях», расыпая «рубины страсти, фиалки нег», «томя колени франтам».

И бабочка погибла!

Но, может быть, еще не поздно? Может быть, жива еще в поэте «лилия», может быть, «цела еще души скрижаль»?

Спросим же поэта, как он спросил свою Зизи:

Зизи, Зизи! Тебе себя не жаль?
Не жаль себя, бутончатой и кроткой?
Иль, может быть, цела души скрижаль,
И лилия не может быть кокоткой?

Останови мотор! Сними манто
И шелк белья, бесчестья паутину,
Разбей колье и, выйдя из ландо,
Смой наготой муаровую тину!

Что до того, что скажет Пустота
Под шляпками, цилиндрами и кэпи!
Что до того — такая нагота
Великолепней всех великолепий!

# НИКОЛАЙ СИММЕН.

В рыхлых, неоформленных, какими то сырыми глыбами валящихся на страницы книги, стихах Николая Симмен горит жадная ненасытимость молодой, звериной души.

Нам мало одной вселенной.
— Нам нужно вселенных сотни, —

говорит Николай Симмен и в безудержной жажде строительства готов сейчас же пронизать неведомые пространства бесчисленными лесами и стропилами, чтобы «руками кроваво-потными ковать и ковать города».

Он порвал все связи с теми источниками, которые питали так еще недавно поэтическое воображение, он выбросил весь арсенал старых поэтических атрибутов:

Тонкие личики сладкой любви,
не в вас дело.
И, теплые ладони
святого спокойствия,
— Не в вас!

Новый поэт—поэт быстроты и созидания новых вещей. Старая поэзия тащилась в ветхих дормезах по бесконечным дорогам мимо редких оазисов жилья, новая—мчится на сияющих и поющих сталью паровозах сквозь гул и грохот гигантов—городов «к эпохам иным», к иным людям, у которых в каждом сосуде бьется горячая лихорадка строительства.

Стройте город, стройте город.
Лебедки за дело:
щупальцы вперед,
чтобы железо звенело;
гудело;
чтобы ярче небо ужалил дым;
чтобы цепи рыдали
в работе;
чтобы дали
испуганно ржали

на повороте
к эпохам иным.
Больше угля,
больше угля,
машинам.
Зубцы колес,
бешенней по кругу
закружите, закружите, завейте.
Моторы —
досыта напойте
бензином.
Это еще недостаточно скоро...
Скорее! скорее! скорей — там!

Все кипит у Николая Симмен в работе, в жажде созидания новых вещей:

«Изобретать! Безумно, непрерывно изобретать!

Учиться одним взглядом рушить горные кряжи. Создать бесшумные неистово стремительные двигатели. Впивать и по бесплотным кабелям толкать мировую энергию.

Мчаться с быстротой световых колебаний.

— К октябрю духа!»

Николай Симмен весь в этих световых колебаниях, в этих бесшумных токах, пронизывающих межпланетное пространство «мирового приволья».

Он говорит:

Мы часть пространств бегущих к бесконечности.
И мы солдаты завоевывающие пространства
порывами растущей всечеловеческой воли,
От путей земных — к путям млечным,
к восторгам вселенских странствий
на мировом привольи.

Недаром вместо нашего интернационализма он утверждает свой интерпланетизм.

Стихи Николая Симмен созданы широким размахом этой поэтической фантазии, не знающей пределов и границ.

«Передаточные станции рокочут на каждой тысяче верст. Конденсаторы спаивают взрывы сотен пудов динамиту. Плавно взмывают транс-атмосферные поезда».

Но в мечтах об этих «транс-атмосферных поездах» Николай Симмен не забывает и земли. Он знает, что к этим гордым мечтам путь лежит через упорную борьбу здесь, на земле, через «битвы, каких никогда не бывало». Он знает, что только

Когда шею свернем
золотому тельцу
солнце ворвется в тюрьму твою.

И смело, и самоотверженно («Счастье—потом; нам не надо крох его») он бросается в эти битвы, чтобы через «катакомбы гниющих трупов» пробиться к «ликованию электрических утр».

# ИППОЛИТ СОКОЛОВ.

Ипполиту Соколову тесно в этом мире, который ему представляется полным штампованных, превращенных в клише, вещей и понятий.

Он ищет выхода из этой «псевдо-действительности», больше похожей на «покойницкую», чем на живой мир.

Я, как пойманный зверь,
Бился и бьюсь в этой клетке пяти чувств.

Он ударяется то в одну, то в другую стенку этой тесной «клетки», пытается пробить их, выпрыгнуть из них. Он «обнажает свой мозг», он погружается в «иогизм», в «нео-адамизм», в «нео-индуизм», в мистицизм, ища путей к свежему восприятию мира.

В мистику моя голова толчками поднимается
Как на веревке привязанный воздушный шар,
Сбрасывая за борт губ балласт ненужных слов.
Есть животная теплота у шкуры вещей, но нет у Майи лица,
И я в козальном теле, а не во френче И. Соколов.

Стихи для Ипполита Соколова одно из средств выйти из своего повседневного «френча».

Как в исступлении сумасшедший бежит в прямом корридоре,
Так я должен бежать по ровным строчкам в стихах,
Расшибая о стены руки, плечи и череп, заглушая свой
крик до боли,
Бежать к ней, чтобы был я поднят на ее ресниц штыках.

«У современных людей,—говорит Ипполит Соколов,—мироощущения похожи и стары, как медные пятаки. Конечно, о, какая зверская нужна тренировка своих органов чувств, особенно в начале, о, какой должен быть контроль над своими эмоциями, чтобы пройти все ступени погружения (джи-

ан) и чтобы выйти за пределы интеллекта (нормальной логики) и он ждет нового «сорокадневного мирового потопа», в который погрузится этот «псевдо-мир», ждет, зная, что его бедный человеческий череп будет «Новым Ковчегом» для чаемого им нового мира, постигаемого через «новое мироощущение».

Таков круг мысли Ипполита Соколова, воплощенный в его немногих стихах.

# СЕРГЕЙ СПАССКИЙ.

Какой-то живой лиризм есть в стихах Сергея Спасского. Какое-то волнение перед огромностью мира и невоплотимостью его в слове, «ускользающем, как дым».

Что мы?
Разве знать маленьким, простым?
Только стихов кружевные томы,
Только слов ускользающий дым.
Строка за строкой грустней и проще,
Гибкий хрустальный мост, —
Будто растут шелестящие рощи
Под робкие говоры звезд.

Он пытается проникнуть за эту живую изгородь, побороть косность слова, пытается

. . . кострами дней
Душу обжечь.
Сердце, как меч.
Слова, будто коней
Гнать по окрестам дорог
В мыле, в крови.

Но тщетно! Чем глубже «тоска», чем горячее «закипает слезами и кровью» «река жизни», тем острее чувствует поэт свою беспомощность:

Разве крыльями слов сотру я
Ржавчину едкой тоски?

И как ни хочется ему вырвать «праздник из ржавых будеп» все равно

Как в осени бульвар проржавленный тоскою
Листами блеклых слов осыпется душа.

Что же остается?

Грустить о любимой, о лете, о даче
И душа, как ручей, звонка и добра.

«Любви», «страсти» Сергеем Спасским отдано много грустных лирических строк.

Страсть. Прялке сердца вечно прясть ее.

Пусть жизнь течет мимо, «сыпя топоты в проспекты»,

Пока домов тупыми спинами
Шла ночь бульвары теребя,
Любимая, какими винами
Я медленно поил тебя.

Этим «вином» любви и печали напоил Сергей Спасский все свои стихи. Любви, печали и примиренности со своей грустной долей:

А мы, что мы? Печалям нашим,
Как ладьям облаков проплывать по утрам.
Может только ступенями ляжем
У входа в какой-то храм.

# Н. С. ТИХОМИРОВ.

Н. С. Тихомиров родился в деревне и крепко сжился с ней. Ее темнота, ее подневолье, нищета, горькое пьянство, грязь и веками вспоенные страданья залегли крепкими пластами в его мужичье-рабочей душе и прорвались на бумагу не очень сильными, но выстраданными стихами.

Вот «замученная кручиной» Лукерья убивается о сыне, сраженном на проклятущей войне «шальной пулей», вот спившийся с горя мужиченко, которого «нужда проклятая заела», вот «забубенная головушка», которому надоело «без толку жалиться на судьбину бездомовую» и осталось одно— махнуть на все рукой, а вот и причина всех их бед, «царь измученных крестьян»—деревенский кулак.

Пальцы с черными ногтями,
Ястребиный красный нос,
Сапожищи с бураками,
Настоящий кровосос.

Из этого несчастного и забитого мира уходит Н. С. Тихомиров на завод, чтобы там закалить свой дух для жестокой борьбы с этими «кровососами».

И какими новыми и бодрыми нотами звучат его заводские песни.

Все я обнял раскрытой душой,
Льется песня под рокот стали...
За высокой заводской стеной
Много горя и жуткой печали.

Но, влюбленный в упругий металл,
Сын завода не знает кручины,
Впереди за вершинами скал
Развернулись цветные равнины.

Я пройду, где никто не ходил,
Без боязни, уверенный в силе,
Я давно свою робость разбил,
Закалился в бунтарном горниле.

Здесь рождаются вольные песни труда: о кузнеце, швее, ткачихе, работнице и др., здесь же зародилась та сила, которая «всколыхнула Русь».

В городах и селах бури,
Всколыхнулась Русь до дна —
Рвется птицею к лазури,
Волей юною пьяна.

И с удивлением смотрит поэт «глазами влюбленными» на эту Русь и не узнает в ней недавнюю страдалицу.

Горят глаза влюбленные,
Хрипит гармонь разбитая...
Ты-ль это, Русь-невольница,
Кнутом недавно битая?

На «красном мосту», переброшенном от мужика к рабочему держится эта «юная воля» и, прежде крестьянин, теперь рабочий, Н. С. Тихомиров, сам в себе чующий этот крепкий «мост», зовет на него всю трудящуюся Русь:

Мы с тобой родные братья:
Я — рабочий, ты — мужик,
Наши крепкие об'ятья —
Смерть и гибель для владык.

# НИКОЛАЙ ТИХОНОВ.

Конечно, Николай Тихонов не рожден революцией, ему пока еще чужда ее социальная, созидательная основа, но он почуял ее горячее дыхание, он воспринял ее железный ритм, его обвеяли ее вихри и обжег ее огонь.

Вот почему отвернулся он от «снов», которые слетали к поэтам прошлого в минуты «поэтического вдохновения» и стал искать «правду» на земле.

Все больше правды, все меньше снов.

Он узнал, что «небо небогато» и от «божественных плевков» и «поучений притчами» он идет к земле, про которую «стоит говорить», он идет к жизни, чтобы

Дышать над морем высотой соленой,
Встречать зарю и в лавках покупать
За медный мусор — золото лимонов.

Николай Тихоном становится «простым», «спокойным и ловким».

Жизнь учила веслом и винтовкой,
Крепким ветром, по плечам моим
Узловатой хлестала веревкой,
Чтобы стал я спокойным и ловким,
Как железные гвозди простым.

Он начинает чувствовать мир не в застывших вещах и образах, а живым и теплым.

Вот разбитое им полено лежит «теплое» у его ног, вот умирает крапива, раздавленная тяжелым колесом пушки и т. д. и т. п.

«Возвышенные», «поэтические» темы в его стихах сменяются повседневными, будничными: это «лавка», это «картофель» и т. п.

И, конечно, мир отдается Николаю Тихонову доверчиво и просто:

Мою душу кузнец закалил не вчера,
Студил ее долго на льду —
Дай руку, — сказала мне ночью гора:
— С тобой куда хочешь пойду!

И солнечных дней золотые шесты
Остались в распутьях моих,
И кланялись в ноги, просили мосты,
Молили пройти через них.

И рощи кричали: любимый, мы ждем,
Верны твоему топору! —
Овраги и горы горячим дождем
Мне тайную грели нору.

И чем глубже погружается Николай Тихонов в соленое и кипучее море жизни, чем теснее приникает он к теплой и влажной, по живому живой, земле, тем жаднее и ненасытнее становится его душа.

Жизни мало, и силы мало —
Все сначала, и все до дна! —

срывается с его уст горячий вопль.

Он называет себя «жаждущим», «алчным», «хмельным», «праздничным», «веселым», «бесноватым», потому что действительно охмелел он от жизни, которую принял, как веселый праздник, потому что действительно стал «бесноватым» от обуревающей его жажды и алчбы.

Потому то не мертво его слово, потому то бьется оно в горле «горячим оловом».

# СЕРГЕЙ ТРЕТЬЯКОВ.

«Поэт—только словоработник и словоконструктор, мастерречековки на заводе живой жизни,—говорит Сергей Третьяков,—стихи—только словосплавочная лаборатория, мастерская, где гнется, режется, клепается, сваривается и свинчивается металл слова».

И; действительно, стихи Сергея Третьякова такая «мастерская».

В ней он крепко пригоняет друг к другу те куски великолепного металла, что выплавляется в горнах «завода живой жизни».

Его «Байкал» построен из тех же металлов, что и живой Байкал, баюкающий кривые крутые берега своими волнами.

Бокал
Байкала,
Бает: бай-бай!
Ласково лыс.
Ласково лузгает гальку.
Бока Байкала — круч короста,
А во весь рост
Блестят берестяные горы.
Байкал лакает голубое.
И лает лаем воли — собак
Отвеса вод дрожащий бак,
Пока не ввинтит полдень гайку,
И бык-Байкал не хряснет с бою
Кремнебревенчатые сараи,
Кривые губы берегов
Христосуя
Хрустлявым хрусталем рогов.

А чья «Ангара» быстрее и стремительнее—та, что у Сергея Третьякова или та, что рвется на земле, между своих берегов?

Гора, гора и еще гора.
А над озером — сирени курев.
Беги, улепетывай, лепечи, Ангара,

На скаку глаза зажмурив!
Ангара быстра —
Сабля остра,
До дна
Холодна
Хрусталю сестра и т. д.

А «Тобол», что «болотами облатан», у которого «весна в волне взболтана», а «Вятка» —

В ухе России грязная ватка —
Вятка.
Старая растяпа
С еловым умишком,
Влезла в овраг лапой,
В заборах застряла домишками.

А «Урал» — «рудая руда», а «торос», что «встал во весь рост», «пеной оброс»:

Затрясся на море торос.
Еще раз
Поцелуем сплеснулись уста.
Уста ли
Устали
Сцепляться?
Губы ль
На убыль
Уже и уже?

И еще, и еще. Сплав за сплавом льются горячие металлы из под упорных рук Сергея Третьякова, проходящего по миру с гордостью творца, способного в любой миг выковать в своей мастерской еще более прекрасный, еще более живой и здоровый мир.

Во всяком случае в его мире нет этой «хлипкой накипи» людей, которых «кроме корма» ничего не трогает, которые заливают свой «модный сплин» «в Баре, в Буффе, в Праге» и нет в его мире людей, которые ради этих «клумб пошлости» гнут веками свои спины в голоде и грязи; хоть

У каждого в глазе — неба кусок.
У каждого в сердце — березный сок.

А у нас, в нашем мире — все это было.
И Сергей Третьяков ждал, что

. . . придет мятеж из земли
Мостить мостовые сволочью.

Придет, не поленится,
Кирпичцет и умных и глупых.
Ляжет поленница
Осклабленных трупов

Вместе с этой «хлипкой накипью» мятеж сметет и их Бога, которого у себя, в своем мире, Сергей Третьяков, давно заменил другим.

Старый Бог захмелеет на жирных жертвах,
А в мире уже возмужал другой.
Когда крикнут в церкви: «Воскресе из мертвых!»
Он придет, непреложный, простой и нагой.

У него

Бог гудет
Мужицкою погудкой.
Бог идет
Мужицкою походкой.
Землю рвет
Мужичьим сошником.
Бог бьет
Мужицким кулаком.
Бог это — взглянешь — пьяное рыло.
Бог это — щупнешь — мозоль - короста.
Ремень завыл — это бог воротила.
Пляс — это Бог наработался досыта.

И когда пришло в мир «семь ноября», Сергей Третьяков почуял его оживляющую силу, он понял, что пришел час, когда будет сметена вся эта рухлядь с лица живой земли, когда заживут по новому все «оголтелые, голодалые, грязнотелые» и крикнул им, идущим «не на раззор и драку», а на смелую стройку: «Здорово, товарищи!»

Были, да вытрухли, рыцари, —
Мечари-щитоносцы, Петры-цари,
И оцеплены в ценные панцыри
Цепенеют венцами Иван-цари.

А теперь — плугари,
Копачи,

Строгали,
Чья щека — загори,
Чьи сердца — стукачи,
Чьи глаза — слухачи

Чернотелой земли,
Государящей
Под пяты долотом
На пути золотом.
Здорово, товарищи!

К чорту с дороги! Сами постигли.
Семени смелых — семь ноября.
Ржавое сердце в белые тигли,
Врубами синь топора серебря.

Тогда и на земле наступит тот час, о котором говорил Сергей Третьяков, что «в конце концов слово должно будет уйти за пределы стихов и стать той же частью подлинной жизни, как взмах кайлом, как поцелуй, как ломоть хлеба».

«К ним», «туда», к новым людям, к строителям новой жизни ушло и «сердце» и «солнце», и «слово».

Сердце?
Здесь?
Нет!
Сердце — куда ушли.
Сердце толкается с ними,
На пунцовом горбу выгревая кули.
Солнце?
Там?
Нет.
Солнце, напялив 'картуз,
Плавит и шлюзит шлаки
В заросли синих блуз.
Слово?
В песне?
Нет!
Слово ушло из книжек.
Табельщик — в суетне
Цифры па цифры нижет.

И этим людям, идущим в ногу с солнцем и словом, поет Сергей Третьяков свой кованый первомайский марш:

Земля наша вольная площадь.
Мы — королей короли.
В небе над нами полощут
Красных знамен патрули.
На первый май из края в край,
Труда солдат, ряды смыкай!
Знамена, вей! Сердца взломай!
Рабочий май!

Так словоработник и словоконструктор, Сергей Третьяков стал жизнестроителем и мироконструктором.

# ИВАН ФИЛИПЧЕНКО.

Поэзия будущего — это всечеловеческая, вселенская поэзия. Поэт поднимется над временным и случайным, над отдельным и частичным, впитает в себя все это — и временное, и случайное, и отдельное, и частичное,—и перед ним откроется

Миров ристалище несметных, безназванных,
Где бег стремительный гудит с конца в конец,
Чертя орбиты знаками колец,
Огнем колесований ураганных...

Таким поэтом представляется нам Иван Филипченко. Он не поэт личности, не поэт индивидуальности, как бы значительна и богата она ни была, это поэт рабочего класса, но класса уже победившего, уже развернутого до растворения в человечестве, во вселенстве.

Иван Филипченко—вселенский, мировой поэт.

Все, что попадает в сферу его творческого взора, разворачивается всей глубиной и широтой космического обхвата.

Сам Иван Филипченко называет себя «мировым малышем». Почему «малышем»?

Демократия, Твой каждый рабочий отдельно,
Труженица одиночка любая
И артельно,
И всей массой от края до края,
Моих поэм до меня задолго
Знали по несколько слов.

Как притоки в себя принимает Волга,
Как дорога вбирает бессчетность узлов, —
Я в себя вобрал,
Святотатец, святой, я украл
Их слова с Олимпа Веков,

И из тысяч тысяч
Звуков созданных ранее каждым,
Я упрямо и гордо смог высечь
Поэмы человеческим жаждам.

Иван Филипченко обладает коллективной мыслью, складывающейся веками в его классе, коллективной душой, сцепленной из миллионов родных ему душ. Вот откуда этот «грандиозный костер святого безумья», эта «безудержная, мятежная сила самумья», «молодость страшная воля», что рождают эти гигантские по полету творческой мысли и вдохновения поэмы о мире и труде в этом, если взять его в отдельности, «малыше».

Поэмы о том труде, когда

Корчились так хребты трудящихся спин,
Вынося ударную боль батожью,

И о том труде, когда будет

Шар земной — мастерская, над ней облака ввиде
флага,
Красного по зарям, подобие алого паруса,
Одно Полушарие — фабрика, другое — завод,
Разделенные четко и мерно, все выше и выше на
ярусы,
На сто восемьдесят этажей, до северных белых
высот,
И на столько до южных сугробных метелей
Кругами земных параллелей.
Горн завода, гудящий октавой —
Средоточье земное, утроба с пламенной лавой,
Порой прорывающаяся в отверстье Везувья,
С страшной силой безумья.
Фабрики двигатель, Вечный Динамо,
Без властительного потогонца
Огневое Солнце,
И людских усилий гамма.

Но в этот мир мы придем через страданья и муки того класса, которому поет Иван Филипченко «песнь огня», «песнь славы».

Песнь огня, ураганую песнь величавую,
Песнь славы я хочу пропеть о тебе,
О страданьи твоем, не увенчанном славою,
О терпеньи твоем и упорстве в борьбе.
Твоей участи, кровью напитанной, слава.
Твоему всепрощенью, лохмотьям одежд,
Слава взлетам твоим вдохновенных надежд,
Силе рук, шар земной для которых—забава.

И когда Иван Филипченко пишет свои «Ткачей», он не описывает того или иного «ткача», а в могучих образах воплощает всю гигантскую картину этого страданья, терпенья, упорства и этой борьбы.

Вот они,
Эти толпы молчанья, суровости,
Над станками склоненные ночи и дни,
Ткапям рассказывают свои повести,
Ниткам нашептывают свои сны.
Безрадостны эти сны, тяжелы эти повести:
«Чем мы стремительней ткем,
От алой зари до зари алее,
Тем будем оборванней, будем голее,
Тем скорее,
Нам безработицы лом
Поломает спины,
Тем скорее умрем
У недвижной машины».

Через эту «станков деревянную несметную рать» их «сны и повести» передадутся тем, кто приковал ткачей к машинам на «ночи и дни».

И ткани зашепчут на белых плечах пресыщенных,
Драгоценные ткани муслинов, шелков и парчей,
О доле ткачей,
Над станками склоненных.
Будут шептать, шелестеть, раздираясь, кричать,
В вихре бального танца, за молитвой во храме,
В час раздумий, страсти, на полночных кроватях,
Будут сердца раздражать,
Будут жутко рыдать,
Не давая уснуть в обнаженных об'ятьях,
Шевельнуться, как в тягостной раме.

Но вот, под продуктами подневольного труда «несметной рати» «ткачей» всего мира гибнут евнухи-захватчики земли и над муками и стонами этой мировой «бедности» встает великое Завтра.

Ткачи, ткачи,
Мои вы товарищи,
Занимаются зарева, далей пожарища, —
То встает наше Завтра, бросая по небу лучи...

И поэт видит это Завтра:

Вижу наше Завтра, как пурпурный флаг,
Вижу Его первый шаг,
Размах, размах без запинки, сомненья и риска,
О, как оно близко, как близко.

Так картину за картиной рисует Иван Филипченко свои огромные полотна почти космического масштаба, в которых страдания и муки отдельных лиц сливаются в коллективную силу, уничтожающую последние остатки этих страданий и этих мук, и создающую новый мир «гармонии и красоты».

В этих поэмах проходит перед нами творимый и разрушаемый мир и надо всем, как гигантская заря, сияет вселенское начало—материнство, гремит могучая «симфония пола».

Матери говорит Иван Филипченко:

Все, все, что видишь Ты,
Что в мире, все Твое.
На всем Твои черты,
Твоей руки печать, —
Ты, бытие,
Ты лицо в себе таишь, о, Мать.

Могуче творчество этого истинного Зиждителя Мира и гениально его искусство!

Художник, скульптор, композитор, поэт и философ,
Архитектор, актер,
Напрягают и руки, и взор,
И мозг гениальный в разрешеньи вопросов,
В минуты прозренья, творить, создавать, —
А мать,
А великая мать?

Как творит, как трудится она,
Какие прозренья,
Какие виденья,
Воплощает в ребенке она,
Сколько дней и ночей проводит без сна,
Сколько дум, вдохновений о нем и о нем

О, женщина - мать,
Что страсть и любовь спаяла огнем,
В них себя растворив навсегда и опять!

Твой ребенок — бессмертная слава,
Живая скульптура, картина, поэма живая,
Он — слово, симфония, жизнь огневая,
Он — истина, вьяве.
Он — ВСЕ!

Взгляни на мир, на все его цветение и ты во всем увидишь это великое начало всех начал:

Ты вспомни села, города, их буйства,
Свет электрический и молньи телеграфа,
Машины и дворцы и статуи искусства,
Толстого слово и поэмы Сафо.
Взгляни на бесконечные поля,
На пашни черные, где сеятели бродят,
На нивы в золоте, где в такт косами водят,
На мостовые с гулом дрогаля,
Проникни в шахты, фабрики, заводы,
В любую комнату ребенка и отца,
В простую душу мудреца,
В вещь незаметную — свои увидишь роды.
Мир человеческий, мир выковал мужчину,
Дала мужчину Ты, как сына.

Поэт будущего радостного «человеческого лица», он поднял женщину из той «мрачной ямы», в которой томилась она из века в век, он увидел «дни иные», когда в женщине увидят не рабыню, не сосуд плотской страсти и вожделений, а радостную возлюбленную, друга, творящего жизнь и идущего рядом с мужчиной на труд и на битву.

Близятся дни иные,
Когда каждый мужчина подругу по нраву,
Каждая женщина друга, при Демократии,
Себе изберет в ореоле славы
Для радости, счастья.

И все поэмы Ивана Филипченко—одна многогрудая и многоязыкая слава творцам этих «грядущих дней»—«бесконечной трудящейся массе».

О, влюбленные в Завтра, вперед!
Сквозь пламенный зной, леденящую стужу,
Сквозь строй со спиною, избитой до мяса,
Переломинами на ребрах,
Пусть кости наружу,

Пусть красная теплая масса
Пурпурно струясь заливает глаза,
Нас много, мы выйдем из джунглей недобрых,
Мы выйдем, мы выйдем, нам солнце, небес бирюза.
Слава тому, кто на стройке и в сумерках шахты,
Слава матросам, кормчим, ломовикам,
Слава кузнецам, крючникам,
Слава каменьщикам, что гранят граниты, смарагды!
Слава ткачам и ткачихам простой парусины,
Блестящего шелка, атласа,
Слава портным и портнихам на магазины,
Слава Тебе, трудящаяся бесконечная масса,
Творящая жизни чудо
Всюду и всюду!

Слава согбенным работой у верстака,
Слава работающим у домен и баков нефти,
За конторкой сводящих безумные числа,
Слава, кто льет шестерни, коромысла,
Слава тому, кто в Баку, кто в Нерехте,
Кто в Петербурге по воле гудка!

Тем эта «Слава» певучее, радостнее и звончее, что сам Иван Филипченко кость от кости этой «трудящейся массы», вместе с ней, сердцем к сердцу и плечом к плечу, он трудился, боролся, падал и вставал, терпел пораженья и побеждал, и неизменно—неизменно шел вперед, все вперед.

Я простой рабочий,
Чье тело и дух пожирали, как гада,
Я из последнего круга Дантова ада,
Но поэт и зодчий.
Я не только Иван Филипченко, я пролетариат,
Я святого безумья буйный и дерзкий набат.

«Поэт и зодчий», мудрый мыслитель и вдохновенный фантазер, точный химик и щедрый мот-расточитель, книжный философ и пьяный жизнью влюбленный, нежный мечтатель и суровый боец, принявший в свою душу муки ткача и полеты миров, набивший себе могучие мускулы и тела и духа, сын рабочего класса и отец внеклассового, всечеловеческого общества—таков Иван Филипченко, увидавший над нашим миром суровой и упорной борьбы ослепительную зарю победы, зажегшую его, крепкие по слову и ритму, строки, сиянием веры, любви и радости.

# СЕМЕН ФОМИН.

Из безхитростного, в глубинах вековых зародившегося источника, струится «бесхитростный» же стих Семена Фомина.

Фома — мой прадед был оратаем,
Хлебообильною кромой,
А бабушка моя горбатая —
Господня странница с сумой.

Отец прадедовские полосы
Пахал и добывал оброк,
По праздникам, примаслив волосы,
Басил молитвы, как дьячок.

И оттого то:

Поля родные — это плоть моя,
А там, в путях, моя душа,
Где за толпой, пестря лохмотьями,
Водила бабка малыша.

Но оскорблена «душа» поэта и ущерблена его «плоть». Нет мира на «путях» земли и обнищали его «поля родные». Залиты кровью их «поры», наполнены слезами и потом их морщины—межи и борозды.

Черноземной плоти поры, —

плачется Семен Фомин,—

Нашей кровью залиты.
О, зачем твои просторы?
О, кому твои цветы?

Но вот проснулся «бор дремотный» и закачался под ударами налетевшего «урагана», истощилось долготерпенье «черноземной плоти» и закипело в «вихре» мятежей и восстаний против бар, веками крепко сидевших на мужицкой шее.

Вдруг поднялся вихрь залетный, —
Гость взбурленных морем стран,

Закачался бор дремотный,
И промчался ураган.

Этот могучий ураган оторвал поэта от родной «пуповины» и бросил его в кипящий котел борьбы за новую жизнь, за «радость новую».

Оторвался я от пуповины пашен,
От твоих сосцов, земля, родная мать,
И пошел по свету смелым и бесстрашным
С вольной волей радость новую искать...

«В красный год» сбылись «все пророчества и сроки».

С гневом сброшены оковы,
Гордо взвеян алый плат.
К жизни братской, к жизни новой
Русь ударила в набат.

Под этот набат шлет Семен Фомин радостный привет своим «полям родным», своим братьям по земле и крестьянству, с которыми вместе он стонал под помещичьим игом и с которым вместе теперь он празднует час победы.

Здравствуй, Русь, мой край свободный!
Над быльем и сном могил,
Ты весною полноводной
Встал, взбурлил и победил!

Пахарь — тяглый брат, за дело,
Вся земля твоя, — паши!
Нет счастливее удела —
Зноя пашен, цвета ржи!

# В. ХЛЕБНИКОВ.

В. Хлебников пришел в русскую поэзию, чтобы смелым словотворчеством взорвать «звуковое молчанье», поднять «глухонемые пласты языка», сделать «из старых слов крошево», и, положив на «ладонь 28 звуков азбуки», сотворить из них гигантские словесные миры, раздвинув до бескрайности тот узкий горизонт, в котором живем мы, «немотствующие» люди.

«Есл мы имеем пару таких слов, как двор и твор,—говорит В. Хлебников,—и знаем о слове дворяне, мы можем построить слово творяне—творцы жизни. Или, если мы знаем слово землероб, мы можем создать слово времепахарь, времяроб, т. е. назвать прямым словом людей, так же возделывающих свое время, как земледелец свою почву... По слову боец мы можем построить—поец, ноец, моец. Именами рек Днепр и Днестр—поток с порогами и быстрый поток—можем построить Мнепр и Мнестр (Петников), быстро струящийся дух личного сознания и струящийся через преграды «пр», красивое слово—гнестр—быстрая гибель; ил волестр: народный волестр, или огнепр и огнестр, снепр и снестр от сна, сниться. «Мне снился снестр»... Слову вервие мыслимо мервие и мервый—умирающий, немервый—бессмертный... Слово князь дает право на жизнь мнязь—мыслитель... Моложава, моложавый дает слова—хорошава, «хорошава весны», «эта осень опять холожава»... Чудо и чудеса дает слова худеса, времеса, судеса, инеса. «Но врачеса замирной воли, и инеса седых времен, и тихеса—в них топет поле—и собеса моих имен». Так инеса вторглась в трудеса. Полон строит молон. Подобно слову лихачи, воины могут иметь имя: мечачи. Трудавец, груздь, трусть» и т. д., и т. д.

Вы чувствуете, как полетом этой смелой мысли раздвигаются горизонты, мир наполняется безмерным количеством звучащих новью слов, как бедный «немой» язык наш сразу загорается, зацветает пышными, огневыми цветами, что каждое утро мира получает свое имя, что благодаря В. Хлебникову мы каждый отдельной травинке можем дать свое имя и оно не будет надуманным, притянутым за волосы, оно будет закономерно построено на своем звуковом фундаменте и каждый узнает его среди тысяч, среди сотен тысяч ему подобных.

Ведь расцвела же наша «снегурочка» у В. Хлебникова в «снегупью»,

«снезиню», «снезимочку», «снегляночку», и т. п. И каждое из построенных им слов не случайно, не надуманно, оно сияет своим смыслом: вместо того, чтобы сказать, например, «попрыгунья-снегурочка» он говорит—«снегунья» (скакунья), «снегурку-бегляночку» он называет «снегляночкой»...

«Как часто,—пишет В. Хлебников в одной из своих статей,—дух языка допускает прямое слово, простую перемену согласного звука в уже существующем слове, но вместо него народ пользуется сложным и ломким описательным выражением и увеличивает растрату мирового разума временем, отданным на раздумье. Кто из москвы в Киев поедет через Нью-Иорк? А какая строчка современного книжного языка свободна от таких путешествий?»

И В. Хлебников строит «новый мировой язык—поезд с зеркалами слов—Нью-Иорк—Москва».

Сам он в словесном мире передвигается уже в таком поезде, другие еще ходят пешком.

Что же делать, если до сих пор еще правильны слова поэта: «Когда сердце обнажено в словах, бают: он безумен».

Словостроение В. Хлебникова не безумная фантазия, а точная наука, вот почему слово его так естественно.

Вот он строит стихотворение на двух корнях:

Помирал морень, моримый морицей
Верен в веримое верицы.
Умирал в морильях морень
Верен в вероча верни.
Обмирал морея морень.
Верен веритвам вераны
Приобмер моряжески морень
Верен верови верязя.

Здесь он простой переменой букв в уже существующем слове или перестройкой его «по подобию» других известных слов достигает почти беспредельной гибкости языка.

Или возьмем другое такое же стихотворение (корни: чур... и чар...)

Мы чаруемся и чураемся
Там чаруясь, здесь чураясь,
То чурахарь, то чарахарь,
Здесь чуриль, там чариль.
Из чурыни взор чарыни.
Есть чуравель, есть чаравель.
Чарари! Чурари!

Чурель! Чурель.
Чареса и чуреса.
И чурайся и чаруйся.

А в его словотворческой поэме «Любхо» вы найдете около 400 (четырехсот!) словообразований, построенных на корне «любить» («люблея»—млея от любви, «любчик с любицей»—любящие, «любек»—кого любят, «любище»—место любви, «любель»—колыбель любви, «любота»—сирота любви и т. п.).

Новейший Колумб словесных Америк, открыватель химических сплавов слова, поэт-словотворец и словостроитель—В. Хлебников требует пристального и точного изучения и собирания его огромного наследства, в котором нет законченных, в обще-принятом смысле, стихов, но есть необ'ятные пространства словесных целин, взрытых им втечение его короткой, страннической жизни и ждущих поколений упорных возделывателей и внимательных исследователей.

# ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ.

В «счастливом домике» тихого и ясного мечтательства жил Владислав Ходасевич, затая «в сердце—пепел, в чаше—долгий, долгий сон», предав забвенью «страсти» и «тревоги», молясь добрым «ларам», маленьким домашним божкам.

Все былые страсти, все тревоги
Навсегда забудь и затаи...
Вам молюсь я, маленькие боги,
Добрые хранители мои.

Скромные примите приношенья:
Ломтик сыра, крошки со стола...
Больше нет ни страха, ни волненья:
Счастье входит в сердце, как игла.

Вокруг него, созданная вечерними мечтами, расстилается «страна, где все—из ситца», где «холмы, леса, поля—из ситца», где «струятся ситцевые шутки» и загораются «ситцевые зори».

Легко и просто текут дни в этом «ситцевом мире» и ничто не возмутило бы сладостного покоя «поэта, воспевшего ситцевые зори», если бы не беспокойный дух его, который «начал прорезываться, как зуб из под припухших десен».

Он порвал «ситцевые» занавески, отделявшие поэта от живого мира, и показал ему этот мир во всей его живой радости и скорби.

И «тихое сердце», трепетавшее «ситцевыми» страстями, забилось живой болью.

Мне каждый звук терзает слух,
И каждый луч глазам несносен.
Прорезываться начал дух,
Как зуб из под припухших десен.

Прорежется — и сбросит прочь
Изношенную оболочку.
Тысячеокий канет в ночь,
Не в эту серенькую ночку.

А я останусь тут лежать —
Банкир, заколотый апашем, —
Руками рану зажимать,
Кричать и биться в мире вашем.

Его игривая, тоже «ситцевая» муза, «в атласных туфельках, с девической косой, с улыбкой розовой, и легкой, и невинной» отлетает от него: его душу начинают «душить сны», его «клонит к смерти», как нас «под вечер клонит ко сну».

И ушла бы от нас душа поэта в эти «бессонные сны», незримо сгорела бы «на легком огне», если бы во время не прозвучал над ней из дали веков светлый и радостный голос пушкинской Джении:

Средь живых ищи живого счастья,
Сей и жни в наследственных полях,
Я тебя земной любила страстью,
Я тебе земных желаю благ.

Верный этому солнечному зову Владислав Ходасевич познает живую мудрость: «всему живущему итти путем зерна» и душу его, прошедшую через легкие радости мечтательства, через скорбное постижение мира, наполняет «сладкой полнотой» познанье жизни в ее цветеньи, в ее «прорастаньи».

# М. ЦАРЕВ (В. Торский).

С насиженных веток взметнулись совы, испуганные алыми зарницами грядущей мировой грозы, оглушенные громами, прокатившимися из края в край и дикой песней буревестника. И поэзия сменила свои ритмы и напевы. Нет в ней сладкого чирикания «под душистою веткой сирени», нет в ней нежных напевов—вечерних скрипок, нет колыбельной размеренности никому не нужных словесных побрякушек.

Налетел вихрь и взбурлил спокойное стояние вод. Ударила в гладь зеркальную огненая молния и прокатились к берегам бушующие валы.

Недаром смугломускулый кузнец стал символом пролетарского певца.

Ловкий кузнец, как машина, без слова
Бросил железо, горящее золотом
— Бей, бах.
Дри-ни-ни.
На губах
Вышла пена из слюни.
Во весь дух
Парень бьет.
Бьет с размаху,
Бьет за двух.
Сквозь рубаху,
Вышел пот.
Бим, бот.
Дри-ни-ни.
Бом, бух.
Целы дни.

Такой кузнец-певец—М. Царев и как истый пролетарский поэт он чувствует себя сегодня солдатом великой пролетарской армии. Он—на посту.

Встретит врага на дороге
Мой закаленный заряд.
Сердце трепещет в тревоге...
Я пролетарский солдат.

Сердце трепещет в тревоге и рвет размеренные строки в клочья. И вот М. Царев уже выбивается из мягких качелей анапестов и хореев.

Под музыку кузницы, под эту вековую музыку труда:

Кто нибудь, да чем нибудь,
Каким нибудь, да как нибудь,
Да с кем нибудь, чего нибудь,
Да что нибудь, да где нибудь, —

рождаются гордые мысли победы

Не кто — нибудь, а мы;
Не чем — нибудь, а трудом;
И не каким — нибудь, а своим упорным, да потом;
Не как — нибудь, а споря;
Не с чем-нибудь, а с тяжким злом
Да черным гнетом:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И не что — нибудь, а Прекрасный Новый Мир;
И не где нибудь, а здесь — творим.

Да, здесь, на этой живой и теплой земле, на этой, влажной от нашего пота, крови и слез, земле творит М. Царев. Ему чужды заоблачные сказки далеких трепещущих звезд. Он чувствует их красоту не меньше и не хуже других, но ее он переливает в стальную красоту буйных железных строк, в которых трепещет разворачивающаяся сила пролетариата, рост его воли к победе, та глухая борьба, которую он ведет за свое право на жизнь на своих пыльных и грязных окраинах, где

Дюжий битюг, громыхая копытами,
Шипами бьет по булыжинам;
Льнет к покосившимся хижинам
Пыль с мостовой накаленной.
Лает словами, из гадостей слитыми,
Крючник, мукой запыленный,
Две проститутки со следами попойки
Хрипло ругают кого-то за что-то.
Из живопырки, как будто с помойки,
Пахнет щековиной, тухлой капустой
И салом горелым...
Кажутся мухи, на стенах сидящие густо,
Пологом целым и т. д.

Вот откуда пришел новый хозяин мира.

Вот откуда принесся бодрый призывный клич:

Все, кого мучают, все, кому больно,
Все, кто неволи не хочет,
Идите, идите!».

И вот тронулось это великое шествие:

Мимо заводов трудящихся толпы идут,
Подлых подлиц проклиная идут,
С песнью, полной печали, идут,
С гневом горящими взорами, шумно идут,
Даже китайцы идут,
Женщины, дети идут,
С верою в правду идут,
С верою в братьев идут,
С верою в сердце людское идут.

Мы свидетели этого радостного и вольного шествия. Со всех концов мира, из всех подвалов и живопырок, «все, кого мучают, все, кому больно», встали и пошли в дружном и тесном шествии.

И поэты — пролетарии впереди.
Со своей звонко поющей песней.

# МАРИНА ЦВЕТАЕВА.

Сдвинулись с места вековые пласты, весь мир вспенился и вскипел на жарком пламени войн и революций, «началось мировое кочевье»,—говорит Марина Цветаева,—не сдвинулась, не вспенилась и не вскипела лишь душа ее и в этом ее пафос.

Мировое началось во мгле кочевье:
Это бродят по ночной земле — деревья,
Это бродят золотым вином — грозди,
Это странствуют из дома в дом — звезды,
Это реки начинают путь — вспять.
И мне хочется к тебе на грудь — спать.

Замкнуться в глухой и тесный круг лирических переживаний и— «спать». Так велит ей, верной «дочери Иаира», ее «Господь».

И сказал Господь:
— Молодая плоть,
Встань!

И вздохнула плоть:
— Не мешай, Господь,
Спать.

Хочет только мира
Дочь Иаира. —
И сказал Господь:
— Спи.

Вот почему «островитянкой с далеких островов» чувствует себя в этом мире Марина Цветаева, вот почему старательно обходит она «чужие дома».

Мой путь не лежит мимо дому — твоего.
Мой путь не лежит мимо дому — ничьего.

Но нет такой силы, которая могла бы удержать человека на этой грани, в самом стремленьи к такому равновесию таится суровое «возмездие». И это хорошо знает Марина Цветаева.

И не спасут ни стансы, ни созвездья.
А это называется — возмездье
За то, что каждый раз,

Стан разгибая над строкой упорной,
Искала я над лбом своим просторным
Звезд только, а не глаз.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Что по ночам, в торжественных туманах,
Искала я у нежных уст румяных —
Рифм только, а не уст.

В этом порыве от жизни к отражению ее в «строках» и «рифмах» таится роковое мертвящее начало.

Где мой конь дохнул — родник не бьет,
Где мой конь махнул — трава не растет.

И как бы не хотелось Марине Цветаевой пройти «мимо дому ничьего», как бы не хотела она сбросить с себя «жернова», навешанные ей на шею на земле, жизнь властно зовет ее на свои пути.

С грустью говорит об этом Марина Цветаева:

А все же с пути сбиваюсь,
(Особо — весной!)
А все-же по людям маюсь,
Как пес под луной.

И будет «маяться» пока не сойдет со своего окольного пути, пока не нарушит тяжкий «сон» своей «молодой плоти».

## МАРИЭТТА ШАГИНЯН.

Стихи Мариэтты Шагинян проникнуты приятием мира во всей его сложной и многообразной простоте. Все ее творчество—радостная «земная, зверья, птичья» хвала жизни во всех ее проявлениях.

Мариэтта Шагинян, как «зверь», или как «птица» принимает мир с его горечью и сладостью, тоской и сиянием, вечерними сумерками и утренними зорями, осенним увяданием и весенним расцветом, принимает «без слов», на «веру».

Не надо слов, — я верю, верю,

говорит она и благодарит за все, что живет в мире и дышет, благодарит за эту «веру» и благодарит даже за самую возможность благодарить:

Я без конца благодарю
И этих сумерок тускнеющие тени,
И эту ровную усталую зарю,
И твой платок, скользнувший на колени,
И сладкую тоску предчувствия и лени
Я без конца благодарю.
Благодарю немую дрожь
Твоей испуганной улыбки.
Благодарю тебя за все свои ошибки,
Благодарю тебя за правду и за ложь,
За мягкие тона накинутого платья,
За прядь волос твоих, колеблемых как нить,
За то, что все познав, могу еще рыдать я,
За то, что все отдав, могу благодарить.

Душа Мариэтты Шагинян полна жизнью, «как чаша налитая» «до краев» и она боится пролить из нее хоть одну каплю.

О, смертный, бойся страшной казни, —
Вина из чаши не пролей,
И совершенней, глубже, связней
Себя в своем запечатлей...

Эту любовь к миру, это приятие его Мариэтта Шагинян принесла в

русскую поэзию в своей восточной крови, опаленной горячим солнцем, пропитанной ленивой негой знойных ароматных ночей, «взвитой» сухим степным ветром, который несет с собой,

Свист ковыля, трубы зловещий стон,
Треск черепицы и стук разбитой ставни.

И когда северная флейта напоет ей

Про осень, про боль, про любовь,

когда жизнь под эти унылые звуки покажется ей «хладной, как зола» и сердце «заблудится в скорбях», она снова обращается к своей родной Армении:

Припоминаю в боли жгучей,
Как очерк милого лица, —
Твои поля, ручьи и кручи,
И сладкий запах чербеца...

Веленью тайному послушный,
Мой слух доныне не отвык
Любить твой грустно-простодушный
Всегда торжественный язык.

И в час тоски невыразимой,
Приют последний обретя,
Твое несчастное дитя,
Идет прилечь к тебе, к родимой...

Я знаю мудрый зверь лесной
Ползет домой, когда он ранен.
Ту боль, что дал мне северянин, —
О, залечи мне, край родной!

Лечит эту «боль» Мариэтта Шагинян, приникая «к плечу родимой», где цветет миндаль, где девушки «черешни розовей» и благоуханней тмина и чербеца, и душистей розового сока, где поцелуй—божественная услада, где кровь томится медленной, ленивой негой и сладкой, знойной страстью.

В этом соединении северной «боли» и восточной «неги», пряная острота и смысл лирики Мариэтты Шагинян, соединившей в себе ясную и светлую улыбку солнечного утра и хмурую тоску осенних сумерек.

# ГЕОРГИЙ ШЕНГЕЛИ.

Поэзия—слабое и бессильное отражение жизни в «зеркалах потускневших», поэзия—«настой давно угаснувшего солнца»—вот холодный завет Георгия Шенгели, начертанный на его поэтических скрижалях.

Что сделает перо противу лезвия,
Противу пламени спокойные чернила, —

С грустной примиренностью говорит Георгий Шенгели, считая бесплодным, в конечном счете, «полуночный подвиг» поэта.

Да, стиснуть зубы, губы сжать, как шпагу
Перо в тугие пальцы вплавить, сердце
Взнуздать и мысль рассечь ланцетом — вот
Поэта полуночный подвиг.

И все равно это будет не «пламень», а «спокойные чернила», не живой «ветр», не «воздух», не горячее и живое солнце, а слова о ветре, воздухе и солнце.

Не смея противоборствовать жизни, Георгий Шенгели уходит от нее в глухие и далекие века истории.

. . . Коль миром обветшалым
Нам уготован путь по варварской земле,
То мы труверами к суровым феодалам
Пойдем, Орфеев знак наметив на челе.

Он рвется в мир, где тихо скользят спокойные тени Державина, Баратынского, Пушкина, чей «сияет лоб высокий и кудри буйствуют», милой Наталии Пушкиной, чья «молодость живая не вынесла любви державный плен», он стремится в страну, «где тонко вьется нить безводного Кедрона» и где так пленительно звучат песни тоски и страсти,

. . . в эпохи знойно - пурпурные,
в разгулы молодой земли, —
когда слонов рычанья рупорные
во влажном воздухе цвели.

Но напрасны попытки бежать от живой жизни. Веселым гулом вры-

вается она сквозь всякие, даже наглухо закрытые, окна и двери, и, шутя и смеясь, рушит эти «поэтические» воздушные замки, опрокидывает картонные домики «возвышающих обманов» и «вымыслов чудесных».

Не флейты слышатся: со скрипом своенравным
Телеги тянутся, клубится вой собак.

И грустно вздыхает поэт

О, нет. Себя не повторяет время.

И от «запредельных сфер» и «сказочных химер» поэт приходит к «тихой красоте», «развеянной везде» и к простой, немудренной жизни земли.

И вот пишу я эти строки,
ведя их пушкинской строфой.
Оне — просты и неглубоки,
но я пресыщен глубиной.

Хочу о том, что повседневно,
сказать волнующе - напевно,
о тихой молвить красоте,
что поразвеяна везде,

о том, что полюбил я землю,
уютный домик, вечера,
мечты о прошлом, что игра —
окончена, и я не внемлю

фонфарам запредельных сфер
и корчам сказочных химер.

Георгий Шенгели пришел к жизни, но она, в вольном беге своем, уже умчалась вперед, от «уютных домиков» и вечеров, наполненных «мечтами о прошлом» к борьбе за будущее, равно светлое и радостное для всех.

И если не захочет поэт снова погрузиться в сны о «запредельных сферах» и отгородить себя от жизни «сказочными химерами» он догонит жизнь на новых путях ее.

## ВАДИМ ШЕРШЕНЕВИЧ.

Вадим Шершеневич живет в мире призраков и единственной реальной вещью считает стихи.

Мир, земля, Россия, народ, революция, история, люди—пустые побрякушки, которые не стоят одного удачного образа, одной звонкой строки. Кажущееся исключение В. Шершеневич делает для любви, но и то в минуту откровенности он признается, что это только игра «влюбленного фигляра» «шариком сердца» и только раз он с «настоящей любовью стихам о любви изменил».

Перелистайте его последние книжки:

Мир?

Что мне, что мир поперхнулся болью.

История?

Какое мне дело, что кровохаркающий поршень
Истории сегодня качнулся под божьей рукой.

Земля?

. . . мне до рези в желудке противно
Писать, что кружится земля и поет, как комар.

Россия?

На метле революции на шабаш выдумок
Россия несется сквозь полночь пусть.

Революция?

На одну
Чашку все революции мира,
На другую мою любовь и к ней
Луну,
Как медную гирю,
И другая тяжелей.

Так любовь? Но, ведь,

От папирос в мундштуке никотин,
От любви только слезы длинные...

Радость? Вот, радость!

Давайте радоваться, по растеньи, без психологий,
Просто как в черноземе рожь.

Но ведь это монолог Арлекина из арлекинады «Одна сплошная нелепость». Можно ли принимать это «в серьез»? А вдруг Арлекин сейчас перекувырнется и покажет вам язык?

Ну, конечно, так и есть! Кувыркнувшись через четыре строчки, он говорит:

Земля кому храм, пусть будет вертеп наш,
Где льется водка, песня и кровь,
Пусть даже отчаяние будет великолепным,
Как первая в 17 весен любовь.

Это радость отчаяния! Это только стихи о радости!

Но может быть, вера—последние убежище всех растерявшихся в мире и отчаявшихся?

Если верю во что — в шерстяные материалы...

Остаются люди, но ведь это

. . . Двуногие воробьи,
Что несутся с чириканьем, с плачами,
Чтобы порыться в моих строках о любви.

Есть еще одно, что мешает Вадиму Шершеневичу превратить жизнь в «одну сплошную нелепость», в арлекинаду слов и образов—это его сердце, такое грустящее и улыбающееся, плачущее и смеющееся, одним словом такое человечье («воробьиное»), но и от него «неудобного» и «лишнего», поэт хочет отделаться:

Продается сердце неудобное, лишнее.
Эй, кто хочет пудами тоску покупать.

После этого остается:

. . . удрать бы к чертям, в Полинезию,
Вставить кольца в ноздрю и плясать,
И во славу веселой поэзии
Соловьем о любви хохотать.

Но и это истерическая арлекинада, стихи, форма, «принцип», не «содержание минус форма», а «форма минус содержание», пустота.

Никакому хирургу не вырезать
Аппендицит стихов.

И с этим грузом Вадим Шершеневич медленно тонет в опустошенном им своими руками мире.

Со стихами, как с камнем
На шее
Я в мире иду ко дну.

Он видит откуда идет опасность. В мир идут со стальными, как рельсы, нервами «машинисты железной славы», в мир идут люди, которые не будут рыться «в строках о любви», их любовь здоровая, сильная, человеческая любовь, на которой их могучими руками будет построен новый мир новой красоты и нового, здорового отношения к жизни.

Это чувствует Вадим Шершеневич, когда говорит:

Торопитесь же, девушки, женщины,
Влюбляйтесь в жизнь чудес.
Мы пока — последние трещины,
Что не залил в мире прогресс.
Мы последние в нашей династии,
Так любите ж в оставшийся срок
Нас, коробейников счастья,
Кустарей задушевных строк.

Но, может быть, под бурным натиском жизни отречется Вадим Шершеневич (а, может быть, даже уже отрекся) от наследственных прав своей «династии», тогда из «кустаря задушевных строк» превратится он сам в «машиниста железной славы».

# А. ШИРЯЕВЕЦ.

А. Ширяевец «удалой гусляр», вковавший в свои звонкие «запевки» всю ширь приволжских просторов, весь разгул раздольной матери - реки, всю вековую, веками взрытую и вспаханную, «кручину» и алую, зорями и закатами вспоенную, радость ее сел и деревень.

В междугорье залегло —
В Жегулях наше село.

Рядом Волга... Плещет, льнет,
Про бывалое поет...

Супротив — Царев Курган,
Память сделал царь Иван...

А кругом простор такой —
Взглянешь — станешь сам не свой!

Все б на тот простор глядел,
Вместе с Волгой песни пел!

Здесь, в Жигулевском селе родились удалые «запевки» А. Ширяевца про Русь старинную, разбойную, бурлацкую, бродяжью, про Русь, в хмельном угаре топящую свою тоску извечную, про долю женскую, монастырскую, про волю матросскую и про пьяную волю полевую, раздольную, к которой он бежал из города, где «замотался паренек», бежал, чтобы «стали песни позвончей».

Я из города — из плена
К вам приду,
И на травы, и на сено
Упаду!

Засмотрюсь, как васильковый
Лен цветет...
Пусть кует мне жизнь оковы —
Не скует!

Словно в золоте червонном
Ходит рожь,
Шелестит — шумит с поклоном:
Узнаешь?

Звонкой песней вместе с жницей
Я зальюсь,
Над судьбою — озорницей
Посмеюсь.

Манит к воле голос в поле
Ветровой!
Опьянею я от воли
Полевой!

Опьяненный этой «полевой волей» А. Ширяевец полюбил все, что дышет этим разгульным, пьяным раздольем. Такою он увидел и Русь, лихую, веселую, масленичную, пышущую задором, здоровьем и ширью.

Вот она мчится по бескрайным просторам своим:

Взвились кони, пляшут санки, —
Мигом смерим все концы!
— Голоси мне в лад, тальянка!
Заливайтесь бубенцы!

Сколько смеху! Сколько песен!
Ошалело все село!
— Снег дорожный месим-месим,
Пообгоним всех — на зло!

Алым цветом пышут девки,
Глянут — звонче я зальюсь...
— Да неужто в кои веки,
Пропадет такая Русь?

Голосистую тальянку
Бросил в ноги...
— Шибче! — Эх!
Мчатся кони, пляшут санки,
Свищет ветер, брызжет снег!..

Мудрено ли, что А. Ширяевец полюбил древние сказы про старинную Русь, про вольницу удалую, нашептанные ему седым Царевым Курганом, сказы про «атаманушку - Степанушку», что мчал на «Соколе - самолете» «на

хвалынское раздольице», про «удалого Кудеяра», что залег «с ватагой» «в потайном яре», про бурлака, которому «любо петь»

. . . песни смелые,
Что поет по Волге голь,
Видеть волны — гребни белые...
— Эй зазноба, не неволь!..

И когда зажглись над Русью «зори-заряницы», когда распрямил Илья Муромец, над которым века «измывалось чудище бессонное», свои плечи могутные, расправил «хоронившиеся веками» «буйные силы непочатые», когда загудел над российскими просторами «красный вешний звон», А. Ширяевец понял, что «не умер Стенька Разин», что не крепко придавил его вековой курган, насыпанный над ним царями да боярами и ударил он по своим «гуслям» и спел про Русь, свалившую вековую «гнусь» со своих могучих плеч, «распростившуюся с больными снами» и вступившую на новый, «светлый путь».

# МАРИЯ ШКАПСКАЯ.

Мария Шкапская бродит в миру, пронзенная большой и светлой материнской болью.

Как фонарик свечусь изнутри, —

говорит она про себя.

У нее жизнь отняла «нерожденное дитя». И скорбью о нем полны ее стихи.

Неживое мое дитя,
В колыбель мы тебя не клали,
Не ласкали ночью, крестя,
Губы груди моей не знали.

Как светятся ее строки нечеловеческой, звериной болью, как трепещет каждое слово изначально-материнской скорбью!

Не снись мне так часто, крохотка, мать
свою не суди. Ведь твое молочко нетронутым
осталось в моей груди. Ведь в жизни давно
узнала я — мало свободных мест, твое же местечко
малое в сердце моем, как крест.
  Что же ты рученкой маленькой ночью трогаешь
грудь? Видно виновной матери не уснуть?

Сквозь эту скорбь и боль смотрит она на жизнь.

Ведь солнце сегодня ярко
И легче земные ноши,
Но сердце — пустая барка
И груз ее в море брошен.

И мне все больней и жальче
И сердце стынет в обиде,
Что мой нерожденный мальчик
Такого солнца не видит.

Эта тоска по умершему, не видав жизни, ребенку рождает в сердце Марии Шкапской жажду нового материнства:

О, тяготы блаженной искушенье, соблазн неодолимый
зваться «мать» и новой жизни новое биенье ежеве-
черне в теле ощущать...

. . . . . . . . . . . . . . . .

И, быть, как зверь, как дикая волчица,
неутоляемой в своей тоске лесной,
когда придет пора отвоплотиться
и стать опять отдельной и одной.

С этой библейской жаждой она подходит к миру.

Милому она отдает «кровь до конца за одну надежду о сыне с дорогими чертами лица», она прощает ему измену, если «матерью своих детей» он не сделал ее соперницу и т. п.

Но памятью о потере пронзено ее сердце. Невытравляема эта жгучая боль!

И она молится «суровому Богу» за своих живых детей:

До срока к нам не протягивай тонких пальцев
своих, не рви зеленые ягоды, не тронь колосьев
пустых, ткани тугие, нестканные, с кросен в ночь
не снимай!
— Детям, тобою мне данным, вырости дай!

Переполненная до краев страхом и скорбью свершает свой жизненный путь Мария Шкапская под пристальным взором непреклонно-сурового Бога. Часто сгибаются ее колени и падает она на острые камни своего крестного пути.

Сердце, как пламень в снегу.
Сердце с тобой не справится.
Снег истлевает, плавится...
Господи, я не могу.

Но неумолим ее небесный хозяин:

И сказалось так больно: «Господи, разве еще не довольно?»
И ответил Печальный:
«Этой дороге дальней нет ни конца, ни края.
Я твои силы знаю. Я твои силы мерил.
Я в твои силы поверил».

Она ждет, чтобы он «отступился» от нее, она прячется от его суровых глаз.

Ляжем и втянем голову в плечи —
авось не заметит, авось не услышит,
в книгу свою не запишет.

Но бог Марии Шкапской не бог живой жизни, любящий своих сынов и дарящий их светлыми радостями земли, а суровый, небесный бог, который не знает жалости и прощения. Оттого стихи ее обагрены рдяной кровью, точащейся из ее «уколотого» сердца, напоены «терпкой печалью» и жгучим страхом перед жизнью.

# ГРИГОРИЙ ШМЕРЕЛЬСОН.

От поэтов, бороздящих взорами небо, улетающих своей поэтической мыслью к звездам, ищущих утешения от «земных обид» в путешествиях по надзвездным высотам, мы пришли к поэтам, тесно приникшим к земле, покорно принимающим ее боли во имя ее радостей и верящим в ее лучшее будущее, в «начала иной воли».

Один из таких поэтов—Григорий Шмерельсон.

Он не улетает в выси, к «птахам» и «птенцам», он не убивает «жизни рысь» от того, что «сумрак дня не погас», от того, что «город выкрашен кровью», нет, он живет на этой земле и ждет «часа начала иной воли».

Время птах и поющих птенцов!
Плетись, по задворкам, плетись!
Нет у нас больше скопцов,
Убивших жизни рысь.

Верен сердцу звенящий зов,
Колымагой из'ездил давнее —
От каких горящих годов
Спина моя будет изранена?

Если сумрак дня не погас,
Если город выкрашен кровью —
Знаю я, что будет час
Начала иной воли.

Но не сложа руки ждет он этого часа, не в пассивном созерцании живет он на нашей земле. Он хочет.

Бить. Добить. Добиться!
Кровь свою не жалеть —
Молния глаз лучится,
Больше нечего петь.
Рук рабочих крепость
Из старого выжмет все!

Григорий Шмерельсон верит в силу «рабочих рук», верит в нового человека, хозяина земли, борца за ее лучшее будущее.

Все созвучья земли велики
И начало всему — Человек...

Он «очеловечивает» все, что видит вокруг себя. Солнце у него—«радостный крестьянин на посеве—разбрасывало огнистые зерна с чувством», «Волга перед Нижним»

. . . солнце с гиканьем,
Распахивая рдяную шаль,
Убегая говорит: «Мы страницы книг выкинем
Поэтов, поющих печаль!»

зима уходит от нас «несчастная, с битым телом, с синяками под глазами частыми»,

И послушный солнцу, послушный живым и бодрым силам природы, земли и нового человека, которого он нашел и в себе самом, он вытравляет из своих стихов, немногих пока и не вполне зрелых, эту «печаль» и гордо пишет на своем знамени»:

Ведь жизнь живого лучший рай.

# ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ.

На всем своем творчестве Илья Эренбург высек огненный завет «некоего дивного Мужа»:

Сердце в огне? Сердце в крови?
Тебе одно мое слово:
«Живи!»

И он пошел в жизнь, неся в нее свое судорожное, бьеющееся в «огне» и «крови» слово, приникая к «теплой плоти», страдающей на «нашей тяжкой земле», от которой, «все равно никуда не уйти».

Не уйти нам от теплой плоти.
От нашей тяжкой земли.
Кто уйдет, все равно вернется,
Только ноги будут в пыли.

Ведь

Только земля нам осталась,
На ней ведь любить, рожать, умирать,
Трудным плугом, а после могильным заступом
Ее черную грудь взрезать.
Золотые взломаны двери,
С тайны снята печать.
Принимаю твой крест, безверье,
Чтобы снова и снова алкать!
Припадаю, лобзаю черную землю.
О, как кратки часы бытия!
Мать моя, светлая, бренная,
Ты моя! Ты моя! Ты моя!

Взвалив на плечи этот тяжелый «крест» постижения жизни в ее земных радостях и муках, Илья Эренбург свершает свой жизненный путь, ища воспаленными от жажды видеть глазами крупицы живого во всем, что трепещет и бьется на земле.

Он мечется в этом жестоком, но живом и радостном, даже в муках своих, мире в поисках «живой воды», он «жадно пытает каждого не знает ли он пути».

Я не плачу, я иду путем тяжелым.
И разве моя вина,
Если я жив и молод,
А за кладбищем весна.

. . . . . . . . . . . .

Уверовав вновь отвергну,
Не остудив тоски,
Ибо все небожители смертны,
Все пути — тупики.
Но жизни живой не предам вовеки,
И когда от нее уйду,
На могиле моей безумные дети
Первый подснежник найдут.

От «веры» к «безверью», из одного «тупика» в другой, сдирая «прирастающие к телу ризы», в слепоте своей, то «хваля», то «кляня» бродит в жизни Илья Эренбург, отражая эти судорожные метания в своих стихах, в которых он «не о себе говорит—о многих и многих».

Да, много их, мечущихся по путям жизни без «огонька» впереди. В растерянности своей они часто хвалят то, что должны бы «проклясть» и «клянут» то, что завтра будут «хвалить».

Так было и с Ильей Эренбургом, когда пронесся над Россией первый кровавый смерч революции. Не почувствовав, что за ним, ломающим и рушащим, идут творческие, созидающие силы, он испугался его и «проклял»:

Пушки гремели. Свистели пули.
Добивали раненых. Сжигали строения.
Потом все стихло. Прости, Господь!
Только краснела на заплеванных улицах
Средь окурков и семечек
Русская кровь.
        Детям скажете: «осенью
Тысяча девятьсот семнадцатого года
Мы ее распяли!»

Но на завтра же он приходит к революции, «целуя на снегу кровавые следы», поняв, что «родильный бред» он принял за «смертный».

Суровы роды, час высок и страшен.
Не в пене моря, не в небесной синеве,
На темном гноище, омытый кровью нашей,
Рождается иной великий век.

Уверуйте! его из наших рук примите!
Он наш и ваш, сотрет он все межи.
Забытая в полунощной столице,
Под саваном снегов таилась жизнь.

Почуяв биение родной ему жизни и «уверовав» в нее Илья Эренбург с «хвалой» на устах входит в этот «великий век», где кипит молодая сила созидания, строительства новых чувств, мыслей и вещей, и где нет места судорожным метаниям, сомнению и колебаниям.

И он берет в руки крепкую кирку, чтобы высекать из вещи слово и творить из слова—вещь.

## Приложение.

# Библиографический указатель современной поэзии.

# ОТ АВТОРА.

Прилагая к своей книге «Библиографический указатель современной поэзии», я должен заранее извиниться перед читателем за его возможную неполноту, которая в значительной мере является, в свою очередь, результатом неполноты наших книгохранилищ, слабой связи с местами и далеко не идеального состояния нашей библиографии вообще.

Данная работа составлена по специальным библиографическим изданиям, по соответствующим отделам журналов, альманахов и сборников, а также и непосредственно по книгам нескольких библиотек.

Понимая крайнюю условность понятия «современный», я принужден был произвольно установить «водораздел» на 12-м годе, как на начале последнего десятилетия, и исключить из «Указателя» поэтов, закончивших к этому году по той или иной причине свою поэтическую деятельность.

Не могу тут же не выразить свою глубокую признательность *О. М. Брику, С. М. Городецкому, В. М. и Л. М. Куниным и И. Н Розанову* за помощь делом и советом.

**Борис Гусман.**

# I. КНИГИ.

**Агнивцев, Н.** Студенческие песни. «Подсолнечник». Птб. 13.
Мои песенки. 21.

**Адамович, Г.** Облака. «Гиперборей». Птг. 16.
Чистилище. Птг. 22.

**Аксенов, И.** Неуважительные основания. «Центрифуга». М. 16.

**Александров, А.** Стихотворения. М. 12.

**Александровский, В.** Восстание. «Горн». М. 19.
Рабочий поселок. «Пролеткульт». М. 19.
Север. «Пролеткульт». М. 19.
Утро. «Всер. Ассоц. пролет. писат.» М. 21.
Солнечный путь. «Пролеткульт». Птг. 22.
Россыпь огней. «Кузница». М. 22.

**Алексинский, Г.** Тюремные досуги. М. 18.

**Алексеев, Н.** Весна. Птг.
Венок павшим. Париж.
Ты-ны-ны. Париж.
Ветровые песни. Париж. 20.

**Алов, В. (Эйзлер, М.).** Метель лепестков. «Лагуны». Вена. 22.

**Алымов, С.** Оклик мира. Харбин. 21.
Киоск нежности. 20.

**Амари.** Лирика. «Наука». М. 12.

**Анджелла.** Дневник дней моих и ночей «Прометей». Птг.

**Анисимов, Ю.** Обитель. «Альциона». М. 13.

**Анненков, Ю.** Четверть девятого. 18.

**Апушкин, Я.** Стальные птицы.
Прохожий.

**Арбатов, С.** Упавшие капли. «Витрина поэтов». Казань. 21.

**Арденин, И.** Любовь извечная. Птг. 22.

**Арельский, Г.** Голубой абажур. Птб. 11.
Летейский берег. «Цех поэтов». Птб. 13.

**Арсеньева, К.** Стихи о жизни. Птг. 16.
Стихи. Тифлис. 20.

**Арский, П.** Песни борьбы. «Пролеткульт». Птг. 19.

**Артамонов, М.** Земля родная. «Госиздат». Птг. 19.

**Архангельский, А.** Черные облака. «Стрелец». 19.

**Асеев, Н.** Ночная флейта. «Лирика». 13.
Зор. «Лирика». М. 14.
Война. (Рукопись) [1]).
Ой конин дан окейн. «Лирика». М. 16.
Оксана. «Центрифуга». М. 16.
Бомба. Владивосток. 21.
Стальной соловей. «Вхутемас». М. 22.
Избрань. Стихи. 13-22 г.г. (Рукопись).

**Афанасьев, Л.** Стихотворения. «Из-во А. Суворина». Птб. 14.

**Ахматова, А.** Вечер. «Цех поэтов». Птб. 13.
Четки. «Гиперборей». Птб. 14. [2]).
Белая стая. «Гиперборей». Птг. 17.
У самого моря. «Алконост». Птг. 21.
Подорожник. «Петрополис». Птг. 21.
Anno domini MCMXXI. «Петрополис». Птг. 22.

**Ашукин, Н.** Осенний цветник. М. 14.

**Баженова, Е.** Нарциссы. М. 22.

**Балагин, А.** Капризное сердце. «Белый парус». Тифлис 19.
Огни сердца. Ташкент. 12.
Степные миражи. Ташкент. 14.
Лунные флейты. 16.
Серые будни. 16.
Весенний ветер. «Бурелом». Птг. 17.
Страна солнца. 19.

**Балтрушайтис, Ю.** Земные ступени. «Скорпион». М. 11.
Горная тропа. «Скорпион». М. 12.

**Бальмонт, К.** Сборник стихотворений. Ярославль. 90.
Под северным небом. Птб. 94.
В безбрежности. М. 95.
Тишина. Птб. 98.
Горящие здания. М. 900.
Будем, как солнце. «Скорпион». М. 03.

---

[1]) В «Указатель» включены также и рукописи некоторых поэтов, по тем или иным причинам не появившиеся в печати.

[2]) Здесь, как и в других аналогичных случаях, не помечены повторные издания книги.

**Бальмонт, К.** Только любовь. «Гриф». М. 04.
Литургия красоты. «Гриф». М. 05.
Фейные сказки. М. 05.
Злые чары. «Золотое руно». М. 06.
Стихотворения. «Знание». Птб. 06.
Песни мстителя. Париж. 07.
Птицы в воздухе. «Шиповник». Птб. 08.
Зеленый вертоград. «Шиповник». Птб. 09.
Хоровод времен. «Скорпион». М. 09.
Зарево зорь. «Гриф». М. 12.
Звенья. «Скорпион». М. 13.
Белый зодчий. «Сирин». Птб. 14.
Революционер я или нет. Стихи и проза. «Верф». М. 18.
Перстень. «Творчество». М. 20.
Светлый час. «Из-во Поволоцкого». Париж. 21.
Сонеты солнца, меда и луны. «Из-во С. Ефрон». Берлин. 22.
Дар земле. «Русская Земля». Париж.
Песня рабочего молота. «Госиздат». Птг. 22.

**Бамдас, М.** Предрассветный ветер.
Голубь. «Марсельские матросы». 18.

**Баркова, А.** Женщина. «Госиздат». Птг. 22.

**Баян, В.** Лирический поток. «Изд-во М. Вольф». Птб. 14.

**Бедный, Д.** Басни. Птб. 13.
Мошна туга, всяк ей слуга. «Жизнь и Знание». Птг. 18.
Сытый голодного не разумеет. «Жизнь и Знание». Птг. 18.
Правда и кривда. «Жизнь и Знание». Птг. 18.
Всякому свое. «Жизнь и Знание». Птг. 18.
В огненном кольце.
О попе Панкрате. М. 18.
Земля обетованная. «Из-во совета». М. 18.
Земля, земля. «Госиздат». М. 20.
Песни прошлого. «Госиздат». М. 21.
Царь Андрон. «Госиздат». М. 21.
Отцы духовные. «Госиздат» М 22
Сказка о батраке Балде. «Госиздат». М. 22.
Читай Фома—набирайся ума. М. 22.

**Безыменский, А.** Юный пролетарий.
Октябрьские зори. «Из-во Комсомола». Казань. 20.
К солнцу. «Госиздат». Птг. 21.

**Беленсон, А.** Забавные стишки. Птб. 13.
Врата тесные. «Стрелец». Птг. 22.

**Белкина, Л.** Лесная лилия. «Икар». М. 11.

**Белый, А.** Золото в лазури. «Скорпион». М. 04.
Пепел. «Шиповник». Птб. 09.
Урна. «Гриф». М. 09.
Христос воскрес. «Алконост». Птг. 18.
Королевна и рыцари. «Алконост». Птг.
Первое свидание. «Алконост». Птг. 21.
Стихи о России. «Эпоха». Берлин. 21.
Звезда. «Альциона». М. 22.

**Белоусов, И.** Стихотворения. М. 09.
Стихотворения. М. 15.

**Бенар, Н.** Корабль отплывающий. «Альциона». М. 22.

**Бердников, Я.** Цветы сердца. «Пролеткульт». Птг. 18.
Пришествие. «Космист». Птг. 21.
В неволе. «Космист». Птг. 22.

**Березарк, И.** Изощренная Ида. Харьков, 21.

**Берман, Л.** Неотступная свита. Птг. 15.
Новая Троя. «Эрато». Птг. 21.

**Берсенев, К.** Золотая печаль. Осташков. 22.

**Бестужев, В. (Гиппиус, В.).** Natura naturans Птб. 93.
Возврат. Птб. 12.

**Биск, А.** Рассыпанное ожерелье. «Изд. М. Семенова». Птб. 12.

**Блок, А.** Собрание стихотворений. «Мусагет». 11—12.
Собрание стихотворений. «Мусагет».16.
Собрание стихотворений. «Земля». Птг. 18.
Собрание стихотворений. «Алконост». Птг. 21.
Стихи о прекрасной даме. «Гриф». М. 05.
Нечаянная радость. «Скорпион». М. 07.
Снежная масса. «Оры». Птб. 07.
Земля в снегу. «Золотое руно». М. 08.
Лирические драмы. «Шиповник». Птб. 08.
Ночные часы. «Мусагет». М. 11.
Сказки. «Из-во Сытина». М. 12.
Круглый год. «Из-во Сытина». М 12
Стихи о России. «Отечество» 15.
Театр. «Мусагет». М. 16.
Соловьиный сад. «Алконост». Птг. 18.
Двенадцать. Скифы. «Революционный социализм». Птг. 18.
Двенадцать. «Алконост». Птг. 18.

**Блок, А.** Ямбы. «Алконост». Птг. 19.
Седое утро. «Алконост». Птг. 20.
Песня судьбы. «Алконост».
За гранью прошлых дней. «Из-во Гржебина». Птг. 20.
Возмездие. «Алконост». Птг. 22.
**Бобров, С.** Вертоградари над лозами. «Лирика». 13.
Алмазные леса. «Центрифуга». М. 16.
Лира лир. «Центрифуга». М. 17.
**Богомолов, Б.** Стихи. „Агв." Птб. 13.
**Богомолов, Е.** Стихотворения. «Пролеткульт». Птг.
**Богородский, Ф.** Даешь! «Госиздат». Ниж. Новгород. 22.
**Божидар (Богдан Гордеев).** Бубен. «Лирень». М. 14.
**Большаков, К.** Сердце в перчатке. «Мезонин поэзии». М. 13.
Поэма событий. «Пета». М. 16.
Солнце на излете. «Центрифуга». М. 16.
**Борисов, Л.** По солнечной стране. Птг. 22. (Напечатано на машинке).
**Бородаевский, В.** Уединенный дол. «Мусагет».
**Бражнев, Е. (Е. А. Трифонов).** Буйный хмель. «Госиздат». М. 22.
**Браиловский, А.** Аккорды жизни. «Изд Ф. Степанова». Ростов Н/Д. 12.
**Брандт, Н.** Ни там ни тут. Киев. 12.
**Брихничев, И.** Капля крови. «Новая Земля». М. 12.
Осанна. Одесса. 13.
**Брюсов, В.** Полное собрание сочинений «Сирин». Птб. 13—14.
Chefs d'oeuvre. М. 95.
Me eum esse. М. 97.
Tertia vigilia. «Скорпион». М. 900.
Urbi et orbi. «Скорпион». М. 03.
Избранные стихотворения. М. 04.
Стихи. «Скорпион». М. 06.
Пути и перепутья. «Скорпион». М. 08
Все напевы. «Скорпион». М. 09.
Цепь. «Скорпион». М. 11.
Зеркало теней. «Скорпион». М. 12.
Стихи Нелли. «Скорпион». М. 13.
Последние мечты. «Творчество». М. 20.
В такие дни. «Госиздат». М. 21.
Миг. «Из-во Гржебина». Птг. Берлин. 22.
Дали. «Госиздат». М. 22.
**Булыгин, П.** Стихотворения. 22. (Издано за границей).
**Бунин, И.** Рассказы и стихотворения. 07—10 г.г. «Кн-во писателей в Москве».
Стихотворения 03—06 г.г. «Кн-во писателей в Москве».
Рассказы и стихи. «Парус». Птг. 18.
Чаша жизни. «Русская Земля». Париж. 22.
Собрание сочинений в 5 т.т. «Знание». Птб. 02—09.
Собрание сочинений в 12 т.т. «Нива». Птб. 12.
Стихотворения и рассказы. «Общественная Польза». Птб. 10.
Иоанн Рыдалец. (Рассказы и стихи 12—13 г.г.). «Из-во т-ва писателей». М. 13.
**Бутягина, В.** Лютики. «Госиздат». Птг. 21.
**Вагинов, К.** Путешествие в хаос. «Кольцо поэтов». Птг. 22.
**Василенко-Сухавская, В.** Стихотворения. Птг. 15.
**Ватсон, М.** Война. Птг. 15.
**Ведринский, И.** Стихотворения и проза. Тифлис. 12.
**Венгров, Н.** Мышата. 18.
Хвои. 18.
Себе самому. «Сегодня». 18.
Зверушки. «Госиздат». М. 21.
**Вермель, С.** Танки. М. 15.
**Вестфаль, Л.** В чужой стране. Прага. 22.
**Верховский, Ю.** Разные стихотворения. «Скорпион». М. 08.
Идиллии и элегии. «Оры». Птб. 10.
Стихотворения. «Мусагет». М. 17.
Солнце в затмении. «Мысль». Птг. 22
Утренняя звезда. «Лукоморье». Птг. 15
**Верхоустинский, Б.** Матросская проповедь «Госиздат». М. 21.
**Вечорки, Т.** Магнолии «Кольчуга» 18.
**Виленский, Д.** На! М. 22.
**Виницнев, Д.** Стихотворения. Птб 12.
**Вирганский, Б.** Поэма о слове. Любовь к ветру. «В. С. П.». Ростов Н/Д. 21
**Владимирова, А.** Невыпитое сердце. «Дом на песочной». Птг. 18.
Кувшин синевы. «Арт». М. 22.
**Владычина, Г.** Страх. (Рукопись).
**Власов-Окский, Н.** Родное. Н.-Новгород. 13.
Песни свободы. Тверь. 17.
Песни безвременья. Тверь. 17.
Красные зори. Тверь. 17.
Шутка дьявола. Тверь. 18.
Солнечный путь. Тверь. 19.

**Власов-Окский, Н.** Воскресшая земля. «Госиздат». 20.
Рубиновое завтра. «Коллектив». Тверь. 20.
Тишина. Тверь. 21.
Солнце-сердце. (Рукопись).
**Вознесенский, А.** Черное солнце. М. 12.
Путь Агасфера. «Шиповник». Птб. 13.
**Волковысский, А.** Солнца поцелуи. Птб. 14.
**Волошин, М.** Книга стихов 1900—10 г.г. «Гриф». М. 10. «Зерна». М. 16.
Иверни. «Творчество». М. 18.
Демоны глухонемые. «Камена». Харьков. 19.
**Воронов, А.** Северные песни. Птб. 11.
**Вышеславцев, Г.** Путешествия. «Общество исследования искусств». Киев. 18.
**Вяткин, Г.** Под северным небом. «Из-во Сибир. Т-ва Печат. Дела». Томск.12.
Опечаленная радость. «Огни». Птг. 17.
Золотые листья. «Огни». Птг. 17.
**Гальперин, М.** Мерцания. «Графика». М. 12.
**Ганецкий, Н.** Изгнанник. Птб. 12.
**Ганин, А.** В огне и славе. «Глина». (Литографирован. издание).
Мешок алмазов. «Глина». (Литографирован. издание).
Сарай. «Глина». (Литографирован. издание).
Певучий берег. «Глина». (Литограф. издание).
Священный клич. «Глина». (Литогр. издание).
Красный час. «Глина». (Литографир. издание).
Звездный корабль. Вологда. 20.
**Гартевельд, М.** Ночные соблазны. «Прометей». Птб. 13.
**Гастев, Ал.** Поэзия рабочего удара. «Пролеткульт». Птг. 18.
Пачка ордеров. Рига. 21.
**Гатов, А.** Барельефы из воска. «Ипокрена». М.
**Гайдебуров, П.** Стихи. «Из-во Передв. театра». Полтава. 13.
**Гедройц, С.** Вег. «Цех поэтов». Птб. 13.
**Герасимов, М.** Вешние зовы. «Парус». Птг.17.
Монна Лиза. «Пролеткульт». М. 18.
Завод весенний. «Пролеткульт». М. 19.
Цветы под огнем. «Пролеткульт». М.19.
Железные цветы. «Центропечать». Самара. 19.
Четыре поэмы. «Пролеткульт». Птг. 21.
Электрификация. «Госиздат». Птг. 21.
Черная пена. «Кузница». М. 21.
Чучело. «Кузница». М. 21.
Негасимая сила. «Кузница». М. 22.
**Герман, Э.** Растопленный полюс. «Парус». Птг. 18.
Скифский берег. Харьков. 20.
Разговор с Вильсоном.
Стихи о Москве. «Урал-госиздат». Екатеринб. 22.
**Гиляровская, Н.** Стихи. М. 12.
**Гиляровский, В.** Петербург. «Берендей». М. 22.
**Гингер, А.** Своды верных. «Палата поэтов». Париж. 22.
**Гиппиус, З.** Собрание стихов. «Скорпион». М. 04.
Собрание стихов. «Мусагет». М. 10.
Последние стихи. Птг. 18.
Небесные слова. «Русская Земля». Париж.
Стихи. Дневник 11—21 г.г. «Слово». 22.
**Гладкой, И.** Песни о Марии Магдалине. Харьков. 15.
**Глоба, А.** День смерти Марата. «Творчество». М. 20.
**Гнедов, В.** Смерть искусству. «Петербургский глашатай». Птб. 13.
Гостинец сантиментам. «Петерб. глашатай».
Горы в чепцах. «Петерб. глашатай».
**Голубев-Багрянородный.** Ожерелье плевков. «Егосамость». Ростов Н/Д. 19.
Слезы восковые. «Егосамость». Ростов Н/Д. 19.
**Гомолицкий, Л.** Миниатюры. «Россика». Варшава. 21.
**Гордин, Я.** Северные дни. «Дружба». Птб.12.
Старый мир. «Госиздат». Тверь. 21.
**Горная, Л.** Иней. «Из-во О. С. А.» Харбин. 21.
**Городецкий, С.** Ярь. «Кружок молодых». Птб. 07.
Перун. «Оры». Птб. 07.
Ия. Птб. 08.
Дикая воля. «Факелы». Птб. 08.
Русь. «Из-во Сытина». М. 10.
Ау. «Из-во Сытина». М. 10.
Ива. «Шиповник». Птб. 13.
Цветущий посох. «Грядущий день». Птб. 14.
Canti d'Jtalia (Рукопись).

**Городецкий, С.** Четырнадцатый год. «Лукоморье». Птг. 15.
А. С. Пушкину. «Краса». Птг. 15.
Ангел Армении. Тифлис. 18.
Один в пустыне. (Рукопись). 18.
Судьба России. Тифлис. 18.
Алая нефть. (Рукопись). 19.
Серп. «Госиздат». Птг. 21.
Миролом. (Рукопись).
Поэзия серпа, молота и саботажа. (Рукопись).
**Горянский. В.** Крылом по земле. «Новый человек». Птг. 15.
**Гофман, М.** Кольцо. «Осень». Птб. 08.
**Грацианская, Н.** Сейф сердец. М. 22.
**Гречанинов, В.** Стихотворения. «Современное кн-во». М. 12.
**Гриневская, И.** Стихи.
**Гроссман, Л.** Плеяда. «Костры». М. 22.
**Гроховский, М.** Первые зарницы. Стихотворения. Тверь. 14.
**Грузинов, И.** Западня снов.
Бычья казнь.
Роды.
Бубны боли. М. 15.
Серафические подвески. М. 22.
**Грушко, Н.** Стихи. Птб. 12.
Ева. Птг. 22.
**Грюнблат, Э.** Стихотворения. М. 18.
**Гумилев, Н.** Путь конквистадоров. 05.
Романтические цветы. 08.
Жемчуга. «Скорпион». М. 10.
Чужое небо. «Аполлон». Птб. 12.
Колчан. «Гиперборей». Птг. 16.
Мик. «Гиперборей». Птг. 18.
Костер. «Гиперборей». Птг. 18.
Фарфоровый павильон. «Гиперборей». Птг. 18.
Фарфоровый павильон. «Петрополис». Птг. 22.
Шатер. «Цех поэтов». Севастополь. 21.
Огненный столп. «Петрополис». Птг. 21.
Стихотворения (посмертный сборник). «Мысль». Птг. 22.
**Гурвич, В.** Искры мгновенные. Варшава. 12.
**Гуревич, Б.** Вечно человеческое. Птб. 12.
**Гуро, Е.** Небесные верблюжата. «Журавль». Птб. 14.
Осенний сон. «Журавль». Птб. 14.
**Гусев, В.** Марево. Киев. 12.
**Данилов, М.** Полымя. Баку. 21.
Серый слоник. Баку. 21.
Каменный фонарь. Баку. 22.
**Дайчман, З.** Скорбные аккорды. Елисаветград. 12.
**Дворяшин, В.** В преддверии.
Жаворонок над озимью. Кашин. 15.
**Деген, Ю.** Лето. «Марсельские матросы». Птг.
Поэма о солнце. 18.
Этих глаз. Птг. 19.
**Диесперов, А.** Стихотворения. «Гриф». М. 11.
**Дикс, Б.** Ночные песни. «Из-во М. Вольф». Птб. 09.
**Дмитриев-Ангарский, В.** Молодые вздохи. Томск. 12.
**Доброхотов, А.** Песни воли и тоски. М. 12.
**Дрожжин, С.** Песни старого пахаря. М. 12.
Песни рабочих. М. 20.
Новые стихотворения. 04.
Заветные песни. «Посредник». М. 07.
Новые русские песни. М. 09.
Баян. М. 09.
Стихотворения. Птб. 89.
Поэзия труда и горя. «Из-во Сытина». М. 01.
**Дубнова, С.** Осенняя свирель. Птб. 11.
Мать. «Сегодня». М. 18.
**Дубровский, А.** Бабочка поэтина сердца. Орел. 17.
**Дудоров, М.** Узоры.
Аккорды. Тверь. 20.
Ухабы. «Ярь». Тверь. 22.
**Дьячков, Т.** Новая звезда. М. 12.
**Евангулов, Г.** Второе сердце. Тифлис. 20.
Белый духан. «Палата поэтов». Париж. 21.
**Евгеньев, Б.** Заря. Птг. 21.
**Есенин, С.** Радуница. «Из-во Аверьянова». Птг. 18.
Преображение. «Труд. артель худож. слова». М. 18.
Сельский часослов. «Труд. артель худ. слова». М. 19.
Голубень. «Скифы». Птг. 18.
Исус младенец. «Сегодня». Птг. 18.
Россияне.
Ржаные кони.
Сорокоуст.
Исповедь хулигана.
Трерядница. «Злак». М. 20.
Триптих. «Скифы». Берлин.
Пугачов. «Имажинисты». М. 22.
**Ефремов-Горемыка.** Стихотворения. «Пролеткульт». Птг.

**Жаров, А.** Стихи о Поволжьи. «Из-во М.К. Р.К.С.М.». М. 21.
**Животов, Н.** Южные цветы. Ананьев. 12.
**Жижин, И.** Мое. Ив.-Вознесенск. 22.
**Жуков, И.** Замок души моей. «Из-во В. Л. Древс». М.
**Завьялов, И.** Брату-товарищу. М. 12.
**Замтари (Меликова, А.).** Стихотворения. Берлин. 22.
**Захаров, А.** Прощанье. Тверь. 22.
**Захаров-Мэнский, Н.** Черная роза. М. 17.
Печали. «Неоклассики». М. 22.
**Звягинцева, В.** На мосту. М. 22.
**Земенков, Б.** Стеорин с проседью. 20.
**Земляк, Д.** Красная деревня. Смоленск. 21
Революция в деревне. Смоленск. 21.
Кумачный дед. Смоленск. 21.
**Зенкевич, М.** Дикая порфира. «Цех поэтов». Птб. 12.
Четырнадцать стихотворений. «Гиперборей». Птг. 18.
Лирика. 21.
Пашня танков. Саратов. 21.
**Зилов, Л.** Стихотворения. «Метели». М. 11
Дед. «Метели». М. 12.
**Золотницкий, А.** Волга. «Звездный разлив». М. 22.
**Зоргенфрей, В.** Страстная суббота. «Время». Птг. 22.
**Зунделович, Я.** Стихотворения. М. 22.
**Иванов, В.** Кормчие звезды. М. 03.
Прозрачность. «Скорпион». М. 04.
Эрос. «Оры». Птб. 07.
Cor ardens. «Скорпион». М. 12.
Нежные тайны. «Оры». Птб. 12.
Младенчество. «Алконост». Птг 18
**Иванов, Г.** Отплытие на остров Цитеру. Птб. 12.
Горница. «Гиперборей». Птб. 14.
Памятник славы. «Лукоморье». Птг. 15.
Вереск. «Альциона». М. 16.
Сады. «Петрополис». Птг. 21.
Лампада. «Мысль». Птг. 22.
**Ивнев, Р.** Самосожжение (Лист 1). М. 13.
Самосожжение. (Лист 2). «Петербург. Глашатай». Птб. 14.
Пламя пышет. «Мезонин поэзии». М. 14.
Самосожжение. (Лист 3). «Очарованный странник». Птг. 16.
Золото смерти. «Центрифуга». М. 16.
Самосожжение. «Фелана». Птг. 17.
Солнце во гробе. «Имажинисты». М. 21.
**Игнатьев, И.** Эшафот «Петерб. глашатай». Птб. 13.
**Израилевич, И.** Браслет горизонта. Владивосток.
**Ильина (Сеферянц), А.** Земляная литургия. «Госиздат». Н.-Новгород. 22.
**Инбер, В.** Печальное вино. Париж. 12.
Горькая услада. 17.
**Ионов, И.** Алое поле. «Из-во совета». Птг. 18.
Колос. Птг. 22.
**Исаковский, М.** По ступеням времени. Смоленск. 21.
Взлеты Смоленск. 21.
**Итин, В.** Солнце сердца (Рукопись).
**Казин, В.** Рабочий май. «Госиздат». Птг. 22
**Калинников, И.** Стихи. Орел. 18.
**Каменский, В.** Танго с коровами. М. 14
Девушки босиком. М. 16.
Звучаль Веснянки. «Китоврас». М. 18
Ставка на бессмертие (Рукопись).
Паровозная обедня. (Рукопись)
Здесь славят разум. (Рукопись)
**Карпов, П.** Знойная лилия. «Союз». Птб 11
Русский ковчег. «Новая Жизнь» М. 22.
Звезда. «Поморье». М. 22.
**Касаткин-Ростовский, Ф.** Огни в пути. Птб. 11.
Голгофа России. Ростов Н/Д. 19
**Катанян, В.** Убийство на романической почве. 18.
**Кашинцев, Ф.** Боли сердца. Птб. 11
**Кирилин, В.** Стихотворения. Птг. 15.
**Кириллов, В.** Стихотворения. «Пролеткульт» Птг. 19.
Зори грядущего «Пролеткульт». Птг.19
Паруса. «Всер. Ассоц. пролет. писат.» М. 21.
**Кисин, В.** Звездные ресницы. Стихи 18—19 г.г. (Рукопись).
Белое пламя. Стихи 19—20 г.г. (Рукопись).
Белена. Стихи 18—21 г.г. (Рукопись)
Асфальтовая месса. Стихи 19—21 г.г. (Рукопись).
Великий инквизитор Поэма 21 г.
Предбанник. Искус. (Рукопись).
Смерть в виссоне. Стихи 21—22 г.г. (Рукопись).
Мирское сердце. (Рукопись).

**Клычков, С.** Песни. «Альциона». М. 11.
Потаенный сад. «Альциона». М. 13
Кольцо Лады. «Труд. артель худ. слова». М. 18.
Бова.
Дубравна. «Труд. артель худ. слова». М. 19.
**Клюева, З.** Белым орлам. Берлин. 22.
Песни о родине. «Из-во О. Дьяковой». Берлин. 22.
**Клюев, Н.** Сосен перезвон. «Из-во Знаменского и Комп.». М. 11.
Братские песни. «Новая Земля». М 12.
Лесные были. «Из-во Некрасова». 13.
Мирские думы. «Из-во Аверьянова». Птг. 16.
Песнеслов. «Лит. изд. отд. Наркомпроса». Птг. 19.
Медный кит. «Из-во совета». Птг. 19.
Песнь солнценосца. Земля и железо. «Скифы». Берлин. 20.
Избяные песни. «Скифы». Берлин. 20.
Четвертый Рим. «Эпоха». Птг. 22.
Львиный хлеб. 22.
**Князев, В.** Двуногие без перьев. «Изд. М. Корнфельда». Птб. 13.
Стихи. Птб. 14.
Дети города. «Пролеткульт». Птг. 19.
Песни красного звонаря. «Из-во совета». Птг. 19.
Красные звоны и песни. «Из-во совета».
Красное евангелие. «Из-во совета» Птг. 18.
Первая книга стихов. «Госиздат» Птг. 19.
**Ковалевский, В.** Некий час. М. 19.
Плач. М. 20.
**Коган, Ф.** Моя душа. М. 12.
**Козырев, М.** Стихотворения. (Рукопись).
**Коковцов, Д.** Вечный поток. Птб. 11.
**Кокорин, П.** Музыка рифм. Птб. 13.
**Колбасьев, С.** Открытое море. «Островитяне». Птг. 22.
**Копылова, Л.** Стихи. 09.
Стихи. «Изд. В. Португалова». М. 13
Обида смутная. 13.
Благословенная печаль. «Искусство и жизнь». М. 18.
**Корецкий, Н.** Песни ночи. «Художественная печать». Птб. 11.
Поздние огни. «Изд. А. Филиппова». Птб. 12.
**Коробицына, Н.** Голоса стихий. М. 12.
**Коринфский, А.** Песни сердца. М. 94.
Черные розы. Птб. 96.
Тени жизни. Птб. 97.
Гимн красоте. Птб. 99.
В лучах мечты. Птб. 06.
Под крестной ношей. Птб. 09.
Поздние огни. Птб. 12.
Славянские бывальщины. «Универс. б-ка». М. 14.
**Корецкий, Н.** Песни ночи. «Художеств. печать». Птб. 11.
Поздние огни. «Из-во А. Филиппова». Птб. 12.
**Коробицын.** Голос стихий М. 12
**Коробов, И.** Далекие огни. М. 13.
В дыму шрапнели.
**Королевич, В.** Молитвы телу (арестовано).
Смуглое сердце. «Единорог». М. 16.
Сады дофина. М. 18
**Коротков, К.** Семирамида. М. 17.
Асархадон. М. 18.
**Коршунов, Ф.** Песнь о погибели Киева. М. 22.
**Косухин, В.** В часы досуга. Тверь. 12.
**Кошкарев, С.** Песня жаворонка. «Из-во Суриковского кружка». М. 14
Чары земли. М. 16.
**Крандиевская, Н.** Стихотворения. «Из-во К. Некрасова». М. 14.
От лукавого. (Рукопись).
**Краснов, П.** Тоска ресниц. «Камена». Харьков. 11.
**Крачковский, Д.** Палитра. Птг. 17.
**Крашенинникова, В.** Стихотворения. Птг. 15.
**Крайский, А.** Улыбка солнца. «Пролеткульт». Птг. 19.
У города разбойника. «Космист». Птг. 19.
**Кречетов, С.** Алая книга. «Гриф».
Летучий голландец «Гриф».
**Кривошеев, Л.** Песни Корниловца. Ростов Н/Д. 19.
**Кричевский. Ю.** Невод. «Мнемозина». Птг. 18.
**Крученых, А.** Утиное гнездышко. «Еуы». М. 13.
Взорваль «Еуы» М 13.
Возропщем. Птб. 13.
Старинная любовь. «Моск. Из-во».
Пустынники. Помада. Полуживой.
Победа над солнцем. «Еуы».
Чорт и речетворцы. «Еуы».

**Крученых, А.** Малахолия в капоте.
Ожирение роз. Птб. 13.
Голубые яйца.
Туншап.
Ф'ногт.
Кагнидаз.
Голодняк. М. 20.
Заумь. 21.
Наца. 21.
Звудо.
**Крючков, Д.** Падун немолчный. «Петерб. глашатай». Птб. 13.
Цветы ледяные. «Очарованный странник». Птб. 14.
**Кудиш, А.** Стихотворения. Птб. 11.
**Кудиш, Б.** Лунные напевы. М. 12.
**Кузмин, М.** Сети. «Скорпион». М.
Осенние озера. «Скорпион». М. 12.
Глиняные голубки. «Скорпион». М.
Двум. 18.
Вожатый. «Прометей». Птг. 18.
Александрийские песни. «Прометей». Птг. 19.
Занавешенные картины. Амстердам. 20.
Нездешние вечера. «Петрополис». Птг. 21.
Вторник Мэри. «Петрополис». Птг. 21.
Эхо. «Картонный домик». Птг. 21.
Лесок. «Неопалимая купина». Птг. 22.
**Кузнецов, И.** Стихотворения. «Пролеткульт». Птг.
Проклятие странника. «Космист». Птг. 22.
**Кузьмина-Караваева, В.** Скифские черепки. «Цех поэтов». Птб. 12.
**Кузьмина, Н.** Стрелы звенящие. «Госиздат». Ростов Н/Д.
**Кунин, В.** Настроения и порывы. Н.-Новгород. 08.
**Курдюмов, В.** Екатеринин день.
Свет двух свечей.
**Кусиков, А.** Зеркало Аллаха. «Из-во Песслер». М. 18.
Сумерки. «Чихи-пихи». М. 18.
Поэма поэм. «Сандро». М. 19
Коевангелиеран. «Плеяда». М. 20.
Аль-Барак. «Плеяда». М. 20.
В никуда. «Имажинисты». М. 20.
Джульфикар. «Имажинисты». М. 21.
Длиф-лям-мим. «Имажинисты». М. 21.
Искандар Намэ. «Имажинисты». М. 21—22.
Птица безымянная. «Скифы». Берлин. 22.
**Кушнер, Б.** Семафоры. М. 14.
Тавро вздохов. «Авентюра». М. 15.
**Ланн, Е.** Heroica. «Себ». Птб.
**Ланэ, А.** Революция революций. «Всеросс. союз поэтов». Казань. 20.
Века в минутах. «Всеросс. союз поэтов». Казань. 21.
Червонцы. «Витрина поэтов». Казань. 22.
**Леонидов, О.** Стихи. «Лорлей». М. 13.
На бледном шелке. Птг. 21.
**Лесная, Л.** Аллея причуд. «Прометей». Птг. 15.
**Ливкин, Н.** Инок. «Млечный путь». М. 16.
**Лившиц, Б.** Флейта Марсия.
Волчье солнце. М. 14.
**Липскеров, К.** Песок и розы. «Альциона». М. 16.
Другой. «Альциона». М. 21.
Золотая ладонь. «Северные дни». М. 22.
Туркестанские стихи. «Альциона». М. 22.
**Лобачев, Л.** Подорожник. «Звезда». 14.
**Логинов, И.** У станка. «Прибой». Птг. 17.
На страже. «Из-во совета». Птг. 19.
Накануне. «Госиздат». Птг. 19.
**Лозина-Лозинский, А.** Благочестивые путешествия. Птг. 16.
Троттуар. Птг. 16.
**Лозинский, М.** Горный ключ. «Альциона». М. 16.
**Лукашин, И.** Всходы творчества. «Губпомгол». Орел. 21.
О тебе, моя скорбница Русь. «Из-во РИО ЦК пищевиков». Птг. 22.
**Луначарский, А.** Эстрада. (Рукопись).
**Лухманов, Н.** Мозоли Москвы. М. 21.
**Лучанский, Н.** Цветы души моей. «Изд. Скороходова». Птб. 12.
**Львова, З.** Облачная лестница. М. 21.
**Львова, Н.** Старая сказка. «Альциона». М. 13.
**Ляндау, К.** У темной двери. «Из-во Пашукайнис». М. 16.
**Мазнин, Д.** В дыму пожара. «Госиздат». Птг. 21.
**Малашкин, С.** Мускулы. «Красный дом». М. 18.
Мятежи. «Из-во Губкома РКП». Н.-Новгород. 20.
**Мандельштам, О.** Камень. «Акмэ». Птб. 13.
**Манухина, Н.** Не то... 20.

**Мареев, А.** Кованый ковш. 21.
**Маригодов, К.** Проселок. «Из-во Млечный путь». М. 17.
**Мариенгоф, А.** Витрина сердца.
Выкидыш отчаяния.
Кондитерская солнц. «Имажинисты». М. 19.
Магдалина. «Имажинисты». М. 19.
Тюк звезд.
Руки галстухом. «Имажинисты». М. 20.
Стихами чванствую. «Имажинисты». М. 20.
Тучелет. «Имажинисты». М. 21.
Развратничаю с вдохновением. «Имажинисты». М. 21.
Разочарование. «Имажинисты». М. 22.
**Март, В.** Лепестки Сакуры. «Свободная Россия». Владивосток. 19.
**Марьянова, М.** Сад осени. М. 22.
**Маслов, Г.** Аврора. «Картонный домик». Птг. 22.
**Махарадзе, Л.** Стихи солдата. Тифлис. 15.
**Майзельс, Д.** Трюм. «Сиринг». Птг. 18.
**Маяковский, В.** Я. «Из-во Г. Кузьмина и С. Долинского». М. 13.
Владимир Маяковский. М. 14.
Флейта позвночника.
Война и мир. 17.
Облако в штанах. «Аспс». М. 18.
Человек. «Аспс». 18.
Простое, как мычание.
Мистерия Буфф.
Все.
150.000.000. «Госиздат». М. 21.
Люблю. «Вхутемас». М. 22.
Маяковский издевается. «Вхутемас». М. 22.
13 лет работы. «Вхутемас» М. 22.
**Мезько, Н.** Стихотворения. Птб. 11.
**Мережковский, Д.** Полное собрание сочинений в 17 т. «Из-во М. Вольф». М. 11—13.
Полное собрание сочинений в 14 т. «Из-во Сытина». М. 14—15.
Стихотворения. 02.
Собрание стихов. М. 04.
Стихотворения. Птб. 88.
Символы. Птб. 92.
Новые стихотворения. Птб. 96.
Собрание стихов. «Просвещение». Птб. 10.
**Мешков, Н.** Стихотворения. «Кн-во писателей». М. 14.
**Мизинов, Н.** Смена зорь. 18.
**Милютин, И.** Современный концерт. Тверь.22.
**Минский, Н.** Полное собрание сочинений в 4 т. «Из-во Пирожкова». Птб. 07.
Полное собрание стихотворений в 4 т. «Из-во Сафонова». Птб. 04.
Стихотворения. Птб. 87.
Новые песни. Птб. 01.
**Мирра.** Песни Мирры. М. 21.
**Михалевский, А.** Отзвуки сердца. Тверь. 10.
**Монин, В.** Перед бурей. «Из-во И. П. Ладыжникова». Берлин. 22.
Сибирские мотивы. «Из-во И. П. Лодыжникова». Берлин. 22.
**Моносзон, Л.** Эти дни. М. 17.
**Моравская, М.** На пристани. Птб. 14.
Стихи о войне. «Из-во Семеноваа». Птг. 14.
Золушка думает. «Прометей». Птб. 15.
Апельсинные корки.
Прекрасная Польша. «Прометей». Птг. 15.
**Морозов, Н.** Звездные песни. «Скорпион». М. 12.
**Мошин, Л.** Девятый вал. Тверь. 17.
**Муханов, Н.** Химеры. Птг. 18.
**Нарбут, В.** Стихи. «Дракон». Птб. 10.
Аллилуия. «Цех поэтов». Птб. 12. (Конфисковано).
Любовь и любовь. «Наш век». Птб. 13.
Вий. «Наш век». Птг. 15.
Веретено. «Из-во Наркомпроса Украины». Киев. 19.
Красноармейские стихи. «Политотдел № армии». Ростов Н/Д. 20.
Стихи о войне. Птг. 20.
В огненных столбах. «Губпечать». Одесса. 20.
Плоть. Одесса. 20.
Советская земля. Харьков. 21.
Александра Павловна. «Лирень». 22.
**Недзельский, Е.** Радость в страдании. М. 15.
**Неизвестный автор.** Стихотворения. М. 14.
Мой дар.
**Нельдихен, С.** Органное многословие. Птг.22.
**Несмелов, А.** Стихи. Владивосток. 21.
Тихвин. Владивосток. 22. «Китоврас». М. 18.
**Нетропов, М.** Снопы лучей. «Кино». М. 22.
**Нечаев, Е.** Вечерние песни.
Из песен старого рабочего. «Госиздат». М. 22.

**Никитин, Е.** Розы расцветные. «Культура и жизнь». Ростов Н/Д. 19.
**Никулин, Л.** Стихи Анжелики Сафьяновой. «Зеленый остров». М. 16.
Страдиварий. «Обелиск». Киев. 19.
Путешествие в Афганистан. (Рукопись)
**Новиков, И.** Духу святому. «Гриф». 08.
**Новская, Е.** Звезда-земля. «Ипокрена». 18.
**Обрадович, С.** Взмах. «Пролеткульт». Птг.21.
Сдвиг. «Всеросс. Ассоц. пролет. писат.». М. 21.
Окраина. «Всеросс. Ассоц. пролет. писат.». М. 21.
Стихи о голоде. «Из-во Губпомгола печатников». М. 21.
Октябрь. «Госиздат». М. 22.
Огненная гавань. «Госиздат». Птг. 22.
**Одоевцева, И.** Двор чудес. «Мысль». Птг. 22.
**Оков, С.** Этапы. «Из-во Политотдела Туркфронта». Ташкент. 20.
**Оксенов, И.** Зажженная свеча. «Дом на Песочной». Птг. 17.
Роща. «Эрато». Птг. 22.
**Олерон, Д.** Олимпийские сонеты. Иркутск. 22.
**Олимпов, К.** Жонглеры-нервы.
Академия эго-поэзии. Рига. 14.
**Остроумов, А.** Тлеющих угольев звонкое золото. М. 18.
**Орешин, П.** Зарево. «Революционный социализм». Птг. 18.
Красная Русь. «Из-во ВЦИК.». М. 19.
Дулейка. «Центропечать». Саратов. 20.
Снегурочка. «Центропечать». Саратов. 20.
Березка. «Из-во Губсоюза». Саратов. 20.
Набат. «Центропечать». Саратов. 21.
Мы. «Губиздат». Саратов. 21.
Голод. «Кузница». М. 21.
Алый храм. «Госиздат». М. 22.
На голодной земле. «Красная Новь». М. 22.
Радуга. «Госиздат». М. 22.
**Отсоли, Н.** Стихотворения. «Пролеткульт». Птг. 19.
**Оцуп, Н.** Град. «Цех поэтов». Птг. 22.
**Ошанина, Е.** Стихотворения. Витебск. 11.
**Павлович, Н.** Берег. «Неопалимая купина». Птг. 22.
**Палей, А.** Бубен дня. Екатеринослав. 22.
**Палей, В.** Стихотворения. Птг. 18.
**Пастернак, Б.** Близнец в тучах. «Лирика». М. 14.
Поверх барьеров. «Центрифуга». М. 17.
Сестра моя жизнь. «Из-во Гржебина». М. 22.
**Пасынок, М.** Черная кровь. «Из-во Политпросвета». Грозный. 22.
**Перл, Л.** Всплески. Птг. 17.
**Парнах, В.** Самум. Париж. 19.
Карабкается акробат. «Франко-русская печать». Париж. 22.
**Петников, Г.** Поросль солнца. «Лирень». М.18.
Книга Марии—Зажги снега. «Лирень». Птг. 20.
**Петровский, Д.** Пустынная осень. «Верблюжонок». Саратов. 20.
**Петровский, П.** Последние песни. «Из-во Гржебина». М. 22.
**Петров, И.** Стихотворения. «Из-во Губкома РКП.». Н.-Новгород.
**Платов, Ф.** Блаженны нищие духом. «Центрифуга». М. 15.
Третья книга от Федора Платова. 16.
**Пожарков, А.** Пред рассветом. Тверь. 22.
**Полетаев, Н.** Стихи. «Горн». М. 19.
**Полонская, Е.** Знамения. «Эрато». Птг. 21.
**Полонский, Я.** Вино волос. «Зеленая мастерская». Птг. 21.
Клубок осени. Птг.
**Поморский, А.** Пролетарские песни борьбы и печали. «Успех». Птг. 17.
Цветы восстания. «Пролеткульт». Птг. 19.
**Порошин, А.** Корабли уходящие. Ахалкалаки. 20.
**Попов, Н.** Песни равнины. «Из-во профсоюза работников искусств». Осташков, 22.
**Праскунин, М.** Полынь на родных полях. 18.
**Предтеченский, С.** Гнойное сердце. М.—Н.-Новгород. 15. (Рукопись).
**Преображенский, А.** Отзвуки жизни. Птб. 02.
**Приходченко, Е.** Скифия. «Арена». 22.
Россия в огне.
**Пруссак, В.** Цветы на свалке. Птг. 15.
**Пучков, А.** Последняя четверть луны. Птг.15.
**Пяст, В.** Ограда. «Из-во Вольф». Птб. 09.
Поэма в нонах. «Алконост».
**Радимов, П.** Полевые псалмы. 12.
Земная риза. Казань. 13.
Старик и липа. Казань. 22.
Попиада. Казань. 22.
Деревня. Казань. 22.
**Радлова, А.** Соты. «Фиаметта». Птг. 18.
Корабли. «Алконост». Птг. 20.
Крылатый гость. «Петрополис». Птг.22.

**Раменский, П.** Последние песни. Тверь. 18.
**Ратгауз, Д.** Собрание стихотворений в 3 т. «Из-во Вольфа». Птб. 09—10 г.г.
Стихотворения. М. 93.
Песни сердца. Птб. 97.
Собрание стихотворений. Птб. 900.
Песни любви и печали. Птб. 02.
Избранные стихотворения. Киев. 10.
Русским женщинам. М. 15.
Избранные стихотворения. «Всеобщая б-ка». Птг. 16.
**Рафалович, С.** Стихотворения. Птб. 94.
Poèmes. Paris. 900.
Весенние ключи. Птб. 01.
Светлые песни. Птб. 05.
Женские письма. Птб. 06.
Speculum animae. «Шиповник». Птб. 11.
Стихотворения. Птб. 13.
Зеркало души. Птб. 14.
Стихотворения. Птг. 16.
Триолеты. Птг. 16.
Райские ясли. Чудо. «Кавказский Посредник». Тифлис. 19.
Горящий круг. «Кавказский Посредник». Тифлис. 19.
Цветики алые. «Кавказский Посредник». Тифлис. 19.
Слова медвяные. «Кавказский Посредник». Тифлис. 19.
Цветики алые. Тифлис. 19.
**Решетов, А.** Керосиновые лампы. «Млечный путь». М. 18.
**Рогожин, Н.** Листопад. Тверь. 21.
**Родов, С.** Мой сев. М. 18.
В урагане. «Пролеткульт». Птг. 21.
Перебежка зарниц. «Пролеткульт». Птг. 21.
Прорыв. «Всер. Ассоц. пролет. писателей». М. 21.
**Рождественский, В.** Лето. «Картонный домик».
Золотое веретено. «Петрополис». Птг. 20.
**Рок, Р.** От Рюрика Рока чтение. «Хобо». М. 21.
**Ромашко, И.** Сны. М. 18.
**Росимов, Г.** Стихи об утерянном. «Из-во И. П. Ладыжникова». Берлин. 22.
**Рославлев, А.** Цевница. «Союз». Птб. 12.
**Рославлев, К.** Полиелей. «ВСП». Ростов Н/Д. 21.
**Рубин, Н.** Дум-дум. М. 15.
**Рудич, В.** Молодые песни. «Прометей».
В осенний полдень. «Прометей».
Ступени. «Прометей».
IV сб. стихов. «Из-во Суворина». Птб. 12.
V сб. стихов. Птб. 14.
**Рукавишников, И.** Стихотворения.
Стихотворения и проза.
Стихотворения и проза.
Стихотворения и проза.
Молодая Украина.
Стихотворения.
Diarium.
Сны.
Трагические сказки.
Стихотворения.
Сто лепестков цвета любви.
Триолеты любви и вечности. «Моск. Кн-во». М.
Стихотворения.
Триолеты. М. 22.
**Руссат, Е.** Стихотворения. Птб. 11.
**Рыбацкий, Н.** На светлый путь. «Пролеткульт». Птг. 19.
**Рыбинцев, Г.** Ожерелье из слез и цветов. М. 13.
Осенняя просинь. «Альциона». М. 14.
**Рябинин.** После грозы. Птг. 18.
**Садовской, Б.** Позднее утро. М. 09.
Пятьдесят лебедей. Птб. 13.
Самовар. «Альциона». М. 14.
Полдень. Птг. 15.
Морозные узоры. «Время». Птг. 22.
**Садофьев, И.** Динамо-стихи. «Пролеткульт». Птг. 19.
Сильнее смерти. «Космист». Птг. 22.
**Самобытник (Маширов, А.).** Под красным знаменем. «Пролеткульт». Птг. 19.
На перевале. «Пролеткульт». Птг. 21.
**Самойлов, М.** Самострел поющий. М. 19.
**Сандомирский, Г.** Марина Мнишек. «Жатва». М. 14.
**Санников, Г.** Лирика. «Всер. Ассоц. пролет. писат.». М. 21.
Дни. «Кузница». Вятка. 21.
Ку-ку. «Кузница». М. 21.
**Свирельник, Н.** Воздушная арка. Кашин. 15.
**Северский, В.** Песни революции. Харбин.
**Северянин-Игорь.** Громокипящий кубок. «Гриф». М. 13.
Златолира. «Гриф». М. 14.
Ананасы в шампанском. «Наши дни». Птг. 15.

**Северянин-Игорь.** Ананасы в шампанском. «Гриф». М. 15.
Виктория Регна. «Наши дни». Птг. 15.
Поэзоантракт. «Северные дни». Птг.15.
Тост безответный. «Из-во Пашукайнис». М. 16.
За струнной изгородью лиры. «Из-во Пашукайнис». М. 18.
Падучая стремнина.
Менестрель.
Мирэлия. «Москва». Берлин. 22.
Фея Eiole. «Отто Кирхнер». Берлин. 22.
**Семлевский, Н.** В зареве пожаров. Смоленск. 21.
Изломы. Смоленск. 21.
**Сидоров, Г.** Расколотое сердце. «Чихи-пихи». М.
Ведро огня. «Чихи-пихи». М.
Ходули. «ВСП». М.
Ялик. М. 20.
Стебли. «Кино».
**Сидоров, Ю.** Стихотворения. «Альциона». М. 10.
**Синяков, И.** Стихи. 18.
Золотое кольцо. Тверь. 22.
**Скалдин, А.** Стихотворения. «Оры». Птб. 12.
**Скиталец.** Сквозь строй. «Освобождение». Птб. 13.
Песни. «Из-во комитета памяти В. М. Бонч-Бруевич». М. 19.
**Скорбный, А.** Звенящие слезы. «Кольцо поэтов». Птг. 21.
Больная любовь. «Кольцо поэтов». Птг. 21.
**Скороходов, М.** Сирень над камнем. Птг. 18.
Паркет. Птг. 18.
**Случановский, А.** Проклятая колыбельная. «Чихи-пихи». М.
**Смиренский, Б.** Лунная струна. «Кольцо поэтов». Птг. 21.
В лимонной гавани Иокогама. «Кольцо поэтов». Птг. 21.
**Смирнов, М.** Радость бури. «Центропечать». Епифань. 20.
**Смольский, О.** Акварель. Осташков. 22.
Наброски. Осташков. 22.
Самовар жизни. «Окно». Осташков. 22.
**Соколов, И.** Бунт экспрессиониста. М. 19.
Не стихи.
**Соловьева (Allegro) П.** Стихотворения. Птб. 99.
Иней. Птб. 05.
Плакун-трава. Птб. 09.
Вечер. «Тропинки». Птг. 14.
Кухлин дом. «Тропинки». Птг. 16.
**Соловьев, С.** Цветы и ладан. М. 07.
Цветник царевны. «Мусагет». М. 13.
Crurifraqium.
Апрель.
**Сологуб, Ф.** Собрание сочинений. «Шиповник». Птб. 09—12.
Собрание сочинений. «Сирин». Птб. 13—14.
Стихи. Птб. 96.
Тени. Птб. 96.
Собрание стихов. «Скорпион». М. 04.
Книга сказок. «Гриф». М. 05.
Политические сказочки. «Шиповник». Птб. 06.
Родине. Птб. 06.
Змий. Птб. 07.
Пламенный круг. «Золотое руно». М.08.
Стихи. «Шиповник». Птб. 09.
Стихи. «Шиповник». Птб. 10.
Стихи. «Шиповник». Птб. 10.
Лазурные горы. «Сирин». Птб. 13.
Восхождения. «Сирин». Птб. 13.
Жемчужные светила. «Сирин». Птб.13.
Змеиные очи. «Сирин». Птб. 14.
Очарование земли. «Сирин». Птб. 14.
Алый мак. 17.
Фимиамы. «Странствующий энтузиаст». Птг. 20.
Одна любовь. «Странствующий энтузиаст». Птг. 21.
Сочтенные дни. «Библиофил». Ревель. 21.
Небо голубое. «Библиофил». Ревель.21.
Царица поцелуев. Птг. 21. (Печ. на правах рукописи).
Чародейная чаша. «Эпоха». Птг. 22.
Свирель. «Петрополис». Птг. 22.
**Спасский, С.** Как снег. «Млечный путь». М. 17.
Рупор над миром. «Центропечать». Пенза. 20.
Созвездия. (Рукопись).
**Спендиарова, Т.** Подарок. «Из-во Карева». Феодосия. 22.
**Старицкий, И.** Первоцвет. «Госиздат». Орел. 21.
**Столица, Л.** Лада. «Альциона». М. 12.
Русь. «Новая жизнь». М. 14.
**Страдный, С.** Под октябрем. Смоленск. 21.
Рыжая кляча. Смоленск. 21.
**Струве, М.** Стая. «Гиперборей». Птг. 16.

**Стырская, Е.** Мутное вино. М. 22.
**Сулейкин, Н.** Стихи. «Из-во Суриковского кружка».
Колосья. «Из-во Суриковского кружка». М. 14.
**Суражевский, Д.** Тишина. «Наука». М. 15. (?)
**Сухотин, П.** Астры. М. 09.
Царская жемчужина. М. 11.
Горькая луковка. М. 11.
Полынь. «Из-во Некрасова». М. 13.
Стихотворения. «Из-во Некрасова». М. 14.
В черные дни. «Из-во Гржебина». М. 22.
**Талов, М.** Двойное бытие. «Франко-русская печать». Париж. 22.
**Тамашев, А.** Из Пламя и Света. Птг. 18.
**Тарасов, Е.** Стихотворения. «Пролеткульт». Птг.
**Тардов, В.** Странник. «Трилистник». М. 12.
**Тверяк, А.** Голодные. Осташков. 22.
И проклял бога. Осташков. 22.
**Терентьев, И.** Грандиозорь.
Маршрут шаризны.
**Тиняков, А. (Одинокий).** Navis nigra. «Гриф». М. 12.
Вторая книга стихов. «Поэзия». 22.
Треугольник. «Поэзия». 22.
**Тихомиров, Н.** Красный мост. «Пролеткульт». Птг.
**Тихонов, Н.** Орда. «Островитяне». Птг. 22.
**Толстой, А.** За синими реками. «Гриф». М. 11.
**Третьяков, С.** Железная пауза. Владивосток. 19.
Ясныш. «Птач». Чита. 22.
**Трубин, И.** Матушка Русь. «Из-во Сурик. кружка». М. 14.
**Тюрсев, Г.** Стихотворения. Выборг. 20.
**Устинов, И.** Песни труда. «Из-во Сурик. кружка». М. 13.
Гуды-самогуды. «Из-во Сурик. кружка». М. 15.
**Федорычев, И.** Мир скорби. «Свободная песня». Тифлис. 18.
**Филипченко, И.** Эра славы. «Госиздат». М.20.
**Фомин, С.** Песни радости и печали. М. 14.
Свирель. «Госиздат». М. 20.
**Хлебников, В.** Ряв. перчатки. Птб. 14.
Творения. М. 14.
Первый Изборник. «Еуы». 14.
Второй Изборник. «Еуы». 14.
Битвы 15—17 г.г. «Журавль».
Ошибка смерти. «Лирень». М. 17.
Новь в окопе. «Имажинисты». М. 21.
Гзи-гзи. (Рукопись).
Зангези.
**Ходасевич, В.** Молодость. «Гриф». М. 08.
Счастливый домик. «Альциона». М. 14.
**Хохунов-Уховский.** Рассвет. Тверь. 17.
**Царев, М. (В. Торский).** На посту. «Из-во союза журналистов». Н.-Новгород. 19.
**Цветаева, М.** Из двух книг. «Оле-лук-ойе». М. 13.
Версты. «Костры». М. 21.
Конец Казановы. «Созвездие». М. 22.
Стихи к Блоку. «Огоньки». Берлин. 22.
Разлука. «Геликон». Берлин. 22.
**Цветов, Н.** Ранние стихотворения. Мозырь. 15.
**Цензор, Д.** Старое Гетто. „Eos". Птб. 07.
Крылья Икара. Птб. 09.
Легенда будней. «Из-во Аверченко». Птб. 13.
Священный стяг. «Из-во Скобелевского комитета». Птг. 15.
Сказки северного города. «Из-во Семенова». Птг. 16.
**Чалая, З.** Серебряный ялик. «Госиздат». Ростов Н/Д. 22.
**Чачиков, А.** Я сижу здесь у моря... М. 13.
Крепкий гром. М. 19.
**Чахотин, С.** Голубая тетрадь. «Из-во Некрасова». Ярославль. 14.
**Черемнов, А.** Стихотворения. «Кн-во писателей в Москве». М. 13.
**Черкасов, Н.** В ряды! Птб. 14.
Выше! Птг. 16.
**Черный Саша.** Сатиры. «Шиповник». Птб. 11—12 г.г.
**Чибриков, П.** Избранные стихотворения. Рейд Дубовка. 19.
**Чижевский, А.** Стихотворения. Калуга. 15.
**Чулков, Г.** Кремнистый путь. «Из-во В. М. Саблина». М. 04.
Стихи и драмы. «Шиповник». Птб. 11.
Стихотворения. «Задруга». М. 22.
**Чурилин, Т.** Весна после смерти. «Альциона».
Льву—барс. «Лирень». М.
Вторая книга стихов. «Лирень». М. 18.
**Шагинян, М.** Первые встречи. М. 09.
Orientalia. «Альциона». М. 13.
**Шахова, Е.** Стихотворения. «Издание Н. Шахова». Птб. 12.
**Шенгели, Г.** Розы с кладбища. Керчь. 14.
Зеркала потускневшие. Птг. 15.

**Шенгели Г.** Еврейские поэмы. «Гофнунг». Харьков. 19.
Изразец. «Всеукраинск. Госиздат». Одесса. 21.
**Шершеневич, В.** Романтическая пудра. «Петербург. глашатай».
Экстравагантные флаконы. «Мезонин поэзии». Птб. 13.
Carmina. М. 13.
Автомобилья поступь. «Плеяды». М. 16.
Быстрь. «Плеяды». М. 16.
Лошадь, как лошадь. «Плеяды». М. 20.
Крематорий здравомыслия.
Вечный жид.
Кооперативы веселья. «Имажинисты». М. 21.
**Шехтман, И.** Корабли. Ханская Ставка. 20.
**Шиллингер, И.** Скрижаль Теурга. «Себ». Птг.
Светлая веть. «Себ». Птг. 22.
**Широков, П.** Розы в вине. «Петерб. глашатай».
В и вне. «Петерб. глашатай». Птб. 13.
**Ширяевец, А.** Запевка. «Коробейник». 16.
**Шишов, В.** Слепорожденная вертикаль. «Хориямб в зените». М. 20.
**Шкапская, М.** Mater dolorosa. «Неопалимая купина». Птг. 21.
Час вечерний. «Мысль». Птг. 22.
Барабан строгого господина.
**Шкловский, В.** Свинцовый жребий. Птг. 14.
**Шкляр, Е.** Кипарисы. «Прибалтийское из-во». Ковно. 22.
**Шкулев, Ф.** Гимн труду. «Книгопечатник». М. 22.
**Шмерельсон, Г.** Стихи. «Ищущий». (Рукопись). Н.-Новгород. 18.
Длань души. «ВСП». Н.-Новгород. 20.
Города хмурь. «Распятый арлекин». Птг. 22.
**Штейнберг, А.** Стихотворения. Севастополь. 21.
**Шторм, Г.** Карма Иога. «ВСП». Ростов Н/Д. 21.
**Штромберг, М.** Аларис. Возмездие. «Ипокрена». М. 21.
**Шульговский, П.** Хрустальный отшельник. 17.
**Шуф, В.** Гекзаметры. Птб. 12.
**Щуренков, В.** Поэзия. «Из-во Суриковского кружка».
**Эллис.** Арго.
Stigmata. «Мусагет». М. 11.
**Эльснер, В.** Пурпур Киферы. «Альциона». М. 13.
Выбор Париса. «Альциона». М. 13.
**Эрберг, К.** Плен. «Алконост». Птг. 18.
**Эренбург, И.** Стихи. Париж. 10.
Я живу. «Обществ. Польза». Птб. 11.
Одуванчики. Париж. 12.
Будни. Париж. 13. (В продаже не имеется).
Детское. Париж. 14.
Стихи о канунах. М. 16.
Повесть о жизни некоей Наденьки. М. 16. (В продаже не имеется).
О жилете Семена Дрозда. М. 17.
Молитва о России. «Северные дни». 18.
В смертный час. Киев. 19.
Огонь. 19.
Раздумия. Рига. 21.
Раздумия. «Неопалимая купина». Птг. 22.
Зарубежные раздумия. «Костры». М.22.
Опустошающая любовь. «Огоньки». Берлин. 22.
**Эркин, Е.** Россия. 21.
**Эфрос, А.** Песня песней.
**Юнгер, В.** Песни полей и комнат. «Цех поэтов». Птб. 14.
**Яблонский, В.** В сумерках. М. 20.
**Якоби, П.** Стихотворения. Т.т. I и II.
**Ярославский, А.** Сволочь—Москва. «Супрадины». М. 22.
Окровавленные троттуары. М.
**Ясинский, И.** Стихотворения с 70 по 19 г.г. Птг. 19.
Книга любви и скорби. Птг. 19.
На земле. Птг. 19.
Воскреснувшие сны. «Из-во совета». Птг. 19.

# II. Сборники, альманахи и журналы *)

**Авто в облаках.** — Одесса.

**Автографы.** — М. 21. — Белый А., Брюсов В., Ивнев Р., Карпов П., Луначарский А., Новиков И., Ройзман М., Рубанович С., Рукавишников И., Сологуб Ф., Цветаева М., Эренбург И.

**Адская мостовая.** — «Мост». 22. Ли Н., Никольский К., Крон Ц., Бржевский К., Шовен Т.

**Акмэ.** «Цех поэтов». Тифлис. 19. — Антоновская А., Асильянц Р., Баммель Г., Бел-Конь-Любомирская, Гербсман, Городецкий С., Грацианская Н., Данцигер Ю., Де-Капослевич М., Зата В., Камаева О., Канданов Н., Кулебякин А., Майя, Меликова С., Образцов К., Пояркова Т., Пруссак В., Радике А., Рафалович С., Сапожников В., Семейко Н.

**Арион.** — Птг. 18. — Злобин В., Майзельс Д., Маслов Г., Оцуп Н., Регатт А., Рождественский В., Тривус В.

**Без муз.** — Н.-Новгород. 19. — Асеев Н., Большаков К., Беляев Н., Богородский Ф., Владычина Г., Лавренев Б., Ивнев Р., Митрофанов А., Рубин Н., Рукавишников И., Недзельский Е., Решетов А., Оленин А., Павлович Н., Предтеченский С., Спасский С., Третьяков С., Хлебников В., Шершеневич В.

**Булань.** — М. 20. — Аксенов И., Асеев Н., Буданцев С., Ивнев Р., Кусиков А., Лившиц Б., Пастернак Б., Петников Г., Хлебников В.

**Бух лесиный.** — «Еуы». М. 13. — Крученых А., Хлебников В.

**Вам.** — «Из-во ничевоков». М. 20. — Ранов А., Рок Р.

**Весеннее контрагентство муз.** — М. — Асеев Н., Бурлюк Н. и Д., Большаков К., Беленсон А., Варравин Д., Вермель С., Каменский В., Канев В., Маяковский В., Пастернак Б.

**Весенний салон поэтов.** — «Зерно». М. 18.

**Взмах.** — «Роста». Ив.-Вознесенск. 21. — Артамонов М., Баркова А., Селянин С., Семеновский Д., Смирнов Н., Дмитриев-Костромской Ф.

**Взял.** — Барабан футуристов. 15. — Маяковский В., Асеев Н., Пастернак Б., Шкловский В., Каменский В., Хлебников В.

**Волжская вольница.** — В.С.П. Н.-Новгород. 20. — Городецкий С., Ермолаев И., Шмерельсон Г., Трубин И., Узник П., Козин П., Суслов А., Изваров Н., Моравский Е., Поволжский П., Гансон Е.

**Вот.** — В.С.П. — Ростов Н/Д. 21. — Грацианская Н., Крашенинников И., Березарк И., Рославлев К., Вирганский Б., Филов В., Никитина Е., Авенир М., Левин Б., Шторм Г., Гольденберг М., Ювада Е.

**Гамаюн.** — Птб. 11. — Блок А., Ватсон М., Горбунов К., Диксон К., Кремлев Ан., Кривич В., Кузмин М., Кунин Л., Могилянский М., Пожарова М., Рукавишников И., Садивской Б., Терк А., Цензор Дм.

**Голгофа строф.** — В С.П. Рязань. 20. — Кисин В., Кугушева Н., Майзельс Д., Круглов В., Манаев А., Туманный Д., Апушкин Я., Мачтет Т., Хориков Н., Явиц З.

**Горн.** — Журнал пролетарских писателей. — «Пролеткульт». М.

**Гюлистан.** — М. 16. — Иванов В., Бальмонт К., Балтрушайтис Ю., Шманкевич Б., Глоба А., Чурилин Т., Петяев С., Ульянов Ю., Шманкевич В., Молдавский С., Немцев В., Брюсов В.

---

*) В «Указатель» включены специальные стихотворные сборники, альманахи и те журналы, которые об'единяют в себе определенные группы (в том числе и территориальные) поэтов.

**Два пути.** — Птг. 18. — Балашов А., Набоков В.

**Деревянные идолы.** — «Футуристы».

**Дохлая луна.** — Футуристы «Гилея». М. 13. — Бурлюк Д., В. и Н., Крученых А., Лившиц Б., Маяковский В., Хлебников В.

**Дракон.** — «Цех поэтов». Птг. 21. — Блок А., Кузмин М., Сологуб Ф., Гумилев Н., Лозинский М., Зенкевич М., Рождественский В., Одаевцева И., Оцуп Н., Нельдихен С.

**Жемчужный коврик.** — «Чихи-Пихи». М. 18. Бальмонт К., Кусиков А., Случановский А.

**Завод огнекрылый.** — «Пролеткульт». М. 18.

**Зарево заводов.** — «Пролеткульт». Самара. 19. — Герасимов М., Павлович Н., Черносвитский В., Спасский С., Ильина В., Есенин С., Клычков С.

**Зарницы.** — «Лит.-худ. о-во им. И. С. Никитина». Тверь. 20. — Дрожжин С., Власов-Окский Н., Синяков И., Раменский П., Мошин Л., Ковалев К., Оранский В., Уховский Я., Дударов М.

**Затычка.** — Футуристы «Гилея». Херсон. 13. Хлебников В., Бурлюк Д. В. и Н.

**Заумники**· — 22. — Крученых А., Петников Г., Хлебников В.

**Заумная книга.** — М. 15. — Крученых А., Аллягров.

**Звездный бык.** — «Имажинисты». М. 21. — Кусиков А., Есенин С.

**Звучащая раковина.** — Птг. 22. — Наппельбаум И. и Ф., Сурина Н., Федорова А., Лурье В., Горфинкель Д., Дмитриев Н., Рогинский Т., Миллер В., Столяров А., Радищев Н., Вагинов К., Волков И., Зив О.

**Золотой кипяток.** — «Имажинисты». М. 21. — Есенин С., Мариенгоф А., Шершеневич В.

**Зори-заряницы.** — «Губотдел печати». — Тула. 22.

**Игра в аду.** — «Моск. из-во». 13. — Крученых А., Хлебников В.

**Из батареи сердца.** — «Таран». Севастополь. 22. — Баян В., Большаков К., Золотухин Г.

**Имажинисты.** — М. 21. — Есенин С., Мариенгоф А., Ивнев Р.

**Камена.** — №№ 1 и 2. Харьков. — Allegro (П. Соловьева), Биск А., Волошин М., Иванов Г., Ивнев Р., Краснов П., Ланн Е., Лившиц Б., Мандельштам О., Парнок С., Помренинг Д., Фиолетов Ан., Шенгели Г., Эренбург И.

**Киноварь.** — «Госиздат». Рязань 21. — Борисов И., Яковлев Н., Кевер Б., Рещчков К., Шихман Б., Ивнев Р., Кугушева Н., Пастернак Б., Грузинов И., Никулин Л., Туманный Д., Мачтет Т., Кисин В., Майзельс Д.

**Конница бурь.** — №№ 1 и 2. «Имажинисты». М. 20. — Есенин С., Ивнев Р., Мариенгоф А., Герасимов М., Орешин П., Клюев Н., Ганин А.

**Конский сад.** — «Имажинисты». М. 22. — Грузинов И., Есенин С., Ивнев Р., Кусиков А., Мариенгоф А., Ройзман М., Шершеневич В., Эрдман Н.

**Конь и Лани.** — «Весенний коллектив». Ейск. 21. — Архангельский А., Ливкин Н., Ферлиновская О., Гамалей М., Черский Ф., Мерный В.

**Коралловый корабль.** — «Госиздат». Рязань. 21. — Список участников см. «Киноварь».

**Коробейники счастья.** — «Имажинисты». К. 20. — Кусиков А., Шершеневич В.

**Костер**· — «Центропечать». Владикавказ. 20. Г. А., Беридзе Л., Евангулов Г., Ивнев Р., Юст К.

**Красный алкоголь.** — «Имажинисты». М. 22. Ройзман М., Шершеневич В.

**Красный звон.** — «Революционная мысль». Птг. 18. — Осенин С., Клюев Н., Орешин П., Ширяевец А.

**Красочные пятна.** — «В.С.П.». Казань 20. — Ланэ А., Клюева В.

**Крепь.** — Вологда. 21. — Александровский В., Кириллов В., Обрадович С., Родов С.

**Кузница.** — Журнал пролетарских писателей. «Лито Н.К.П.». — Александровский В., Герасимов М., Кириллов В., Казин В., Нечаев Е., Обрадович С., Полетаев Н., Родов С., Санников Г., Садофьев И., Филипченко И., Дорогойченко А., Арватов Б., Земляк Д., Перельман М., Зенюк И., Соколов А., Праскунин М., Бердников Я., Еферов В. и др.

**Курский союз поэтов.** — Курск. 22. — Благинина Е., Богатогорский Ю., Бородаевский В., Валлат И. и С., Еськов А., Загоровский П., Куклин Н., Мартенс О., Станиславская Е.

Д., Н., Крученых А., Лившиц Б., Маяковский В., Хлебников В.

**Радио.** — «Таран». Севастополь. 22. — Баян В., Поплавский Б.

**Радуга.** — Сборники. «Из-во Губисполкома». Полтава. 20—21 г.г. — Александровский В., Герасимов М., Обрадович С., Санников Г., Петников Г., Нарбут В., Мандельштам О., Герман Э., Ясинский И., Владимирский Г., Данаев К., Краснов П., Колобкова Е., Юлианов И., Помренинг .Д, Новская Е., Выгодский Д.

**Ржаное слово.** — Революционная хрестоматия футуристов. «Имо». Птг. 18.

**Россия и Инония.** — «Скифы. Берлин. — Белый А. и Есенин С.

**Руконог.** — «Центрифуга». М. 14. — Бобров С., (Иолэн М.), Божидар, Гнедов В., Ивнев Р., Игнатьев И., Крючков Д., Кузьмина-Караваева Е., Пастернак Б., Широков П.

**Рыдательная боль.** — «Распятый Арлекин». Птг. 22. — Золотницкий А., Кусиков А., Тренин В., Шершеневич В., Шмерельсон Г.

**Рыкающий парнас.** — Футуристы. — Сборник.

**Садок Судей.** — Альманахи 1 и 2. «Журавель». — Лившиц Б., Хлебников В., Бурлюк Д. и Н., Маяковский В., Крученых А., Гуро Е.

**Сборник пролетарских писателей** под ред. Горького, Сереброва и Чапыгина. «Парус». Птг. 18.

**Сегодня.** — «В.С.П.» Рязань. 21. — Список участников см. «Киноварь».

**Седьмое покрывало.** — Одесса.

**Сердце в заплатах.** — Птг. 20. — Азаревич В., Тэ М.

**Серебряные трубы.** — Одесса.

**Сибирские огни.** — Журнал. Н.-Николаевск.— Ерошин И., Урманов, Итин и др.

**Сопо.** — Сборники стихов В.С.П. — М. 22—22 г.г. — Грузинов И., Ивнев Р., Буданцев С., Ечеистов С., Эрберг О., Аксенов И., Бобров С., Бенар Н., Ковалевский В., Стенич, Федоров Ю., Белый А., Брюсов В., Сологуб Ф., Мандельштам О., Хабиас-Комарова Н., Ройзман М., Арго, Рубанович С., Златопольский М., Левит Т., Пастернак Б., Шиллинг Е., Лапин Б., Спасский С., Адуев Н., Апушкин Я., Богословский Н., Дешкин Г., Минаев Н., Оленин А., Полонский Я., Сильванский, Цветаева М.

**Срубленный поцелуй.** — «Таран». Севастополь. 22. — Баян В., Большаков К., Поплавский Б.

**Стихи.** — Сборник лит.-худ. кружка студентов Н. Г. У. Н.-Новгород. 20. — Ермолаев И., Шмерельсон Г., Иродионова В.

**Струны.** — Витебск. 10. — Ольдекоп Е., Юренев В. и Якоби П.

**Таежные зори.** — Журнал. — Н.-Николаевск. 22.

**Тараном слов.** — «Витрина поэтов». Казань. 21. — Ланэ А., Меркушов, Полоцкий.

**Требник троих.** — «Моск. Из-во». 13. — Бурлюк Д., Хлебников В., Маяковский В.

**Трилистник.** — Ростов Н/Д. 22. — Курянин С., Печерский В., Кривошапкин И.

**Трое.** — «Журавль». Птг. — Хлебников В., Крученых А., Гуро Е.

**Ушкуйники.** — Птг. 22. — Тихонов Н., Наппельбаум Ф., Столяров А. и др.

**Факел.** — №№ 1—3. «Союз журналистов». Н.-Новгород. 19. — Модзалевский И., Малашкин С., Кондаков П., Порошин Л., Суслов А., Предтеченский С., Назаров И., Окский Н., Истомин А., Шелгунов А., Калигин И., Панкратов В., Бандин М., Калигина Е., Петров И., Вяхирев А., Трубин И., Матусевич А., Демидов И., Ремизов Б., Суслов А., Чугурин М., Царев М., Федорова Е.

**Фунсты. Мозговой разжиж.** — М. 22. — Лепок Н., Перелешин Б.

**Футуристы.** — Первый журнал русских футуристов. — №№ 1—2. М. 14. — Бурлюк Д., и Н., Крученых А., Лившиц Б., Маяковский В., Хлебников В., Шершеневич В., Большаков К., Каменский В., Северянин-Игорь.

**Харчевня зорь.** — «Имажинисты». М. — Есенин С., Мариенгоф А., Хлебников В.

**Центрифуга.** — М. 16. — Широков П., Бобров С., (Иолэн М.), Ивнев Р., Пастернак Б., Большаков К., Петников Г., Божидар, Кювилье М., Хлебников В., Платов Ф., Шиллинг Е., Ростовский Г., Олимпов К., Струве М.

**Цех поэтов.** — Вып. 1 и 2. Альманахи. Птг. 21. — Адамович Г., Блок А., Гумилев Н., Зенкевич М., Иванов Г., Кузмин М., Лозинский М., Мандельштаам О., Оцуп Н., Рождественский В., Сологуб

Ф., Тумповская М., Нельдихен С., Одаевцева И., Онашкевич-Яцына, Волков П., Липовский Л., Познер В.

**Четыре.** — „L'oiseau bleu". Птг. 17. — Северянин-Игорь, Шенгели Г., Прокопенко А., Помренинг Д.

**Четыре.** — Курск. 22. — Богатогорский Ю., Еськов А., Загоровский П. и А. К.

**Чугунный улей.** — «Госиздат». Вятка. 21. — Александровский В., Васильев, Волков, Герасимов М., Дорогойченко А., Казин В., Кириллов В., Нечаев Е., Обрадович С., Полетаев Н., Поморский А., Рабочий (Щелканов), Родов С., Санников Г., Чемоданов, Шихов.

**Чудо в пустыне.** — Сборник. Одесса. 17.

**Шаги.** — Сборник. «Из-во Пролеткульта». Екатеринослав. 21. — Немилов, Голодный, Ясный А., Сосновин М., Светлов М., Таршис Е., Агапов И., Можаров М., Домбровский Е., Белоконенко Л.

**Шелковые фонари.** — Сборник. Одесса.

**Экспрессионисты.** — «Сад Академа». М. 21.— Габрилович Е., Лапин Б., Спасский С., Соколов И.

**Явь.** — 19 г. — Белый А., Владычина Г., Есенин С., Ивнев Р., Каменский В., Мариенгоф А., Оленин А., Орешин П., Пастернак Б., Рексин С., Спасский С., Старцев И., Шершеневич В., Белый А.

# III ПОЭТЫ *).

Аверьянов С.
Агапов И.
Агнивцев Н.
Адалис.
Адамович Г.
Адуев Н.
Азаревич В.
Аксенов И.
Александров А.
Александровский В.
Алексеев Н.
Алексеевский Н.
Алексинский Г.
Аллягров.
Алов В. (Эйзлер М.)
Алымов С.
Амари.
Анджелла.
Андреева Е.
Аниканов С.
Анисимов Ю.
Анненков Ю.
Антоновская А.
Апушкин Я.
Арбатов С.
Арватов Б.
Арго.
Арденин И.
Арельский-Грааль.
Арсеньева К.
Арский П.
Артамонов М.
Архангельский А.
Асеев Н.
Асильянц Р.
Астров П.
Афанасьев Л.
Ахматова А.
Ашукин Н.
Багрицкий Э.
Баженова Е.
Бакулин В.
Балашов А.
Балтрушайтис Ю.
Бальмонт К.
Бамдас М.
Баммель Г.
Бандин М.
Баркова А.
Баян В.
Бедный Д.
Безыменский А.
Балагин А.
Беленсон А.
Белкина Л.
Бел-Конь-Любомирская.
Белов М.
Белоконенко Л.
Белый А.
Беляев Н.
Бенар Н.
Бердников Я.
Бердников В.
Березарк И.
Беридзе Л.
Берман Л.
Берngоф Н.
Бернер Н.
Берсенев К.
Беседин К.
Бестужев В. (Гиппиус Вл.)
Биск А.
Благинина Е.
Благодарев-Вольский М.
Благодатный Б.
Блок А.
Бобович И.
Бобров С.
Богатогорский Ю.
Богомолов Б.
Богомолов Е.
Богородский Ф.

*) В список поэтов включены не только поэты, выступившие с отдельными сборниками своих стихов, но и те, которые печатались в сборниках, альманахах и журналах, об'единяясь с другими поэтами по групповому или территориальному признаку.

Гроховский М.
Грузинов И.
Грушко Н.
Грюнблат Э.
Гумилев Н.
Гуревич В.
Гурвич Б.
Гуро Е.
Гусев В.
Давыдов В.
Далматов В.
Даманская А.
Данаев К.
Данилов М.
Данцигер Ю.
Дайчман З.
Дворяшин В.
Деев-Хомяковский Г.
Деген Ю.
Де-Капрелевич М.
Делабарт Ф.
Демидов И.
Дешкин Г.
Дисеперов А.
Дикс Б.
Дикс Б.
Диксон К.
Дмитриев-Ангарский В.
Дмитриев-Костромской Ф.
Дмитриев Н.
Добротвор Н.
Доброхотов А.
Долинов М.
Домбровский Е.
Дорин Д.
Дорогойченко А.
Доронин И.
Дрожжин С.
Дружинин П.
Дубнова С.
Дубровской А.
Дудоров М.
Дьячков Т.
Евангулов Г.
Евгеньев Б.
Ермолаев И.
Ерошин И.
Есенин С.
Еськов А.
Еферов В.
Ефремов-Горемыка.
Ечепстов.
Ещин В.
Жаров А.
Животов Н.
Жижин И.
Жуков И.
Забелин И.
Завьялов И.
Загоравский В.
Загоровский П.
Замтари (Меликова А.)
Зархи.
Захаров А.
Захаров-Мэнский Н.
Звягинцева В.
Зданевич И.
Земенков Б.
Земляк Д.
Зенкевич М.
Зенюк И.
Зив О.
Зилов Л.
Зиновьева-Аннибал Л.
Зирих А.
Златопольский М.
Злобин В.
Золотницкий А.
Золотухин Г.
Зоргенфрей В.
Зота В.
Зунделович Я.
Иванов В.
Иванов Г.
Ивнев Р.
Игнатьев И.
Израилевич И.
Ильина В.
Ильина (Сеферянц) А.
Ильин Н.
Ильин Я.
Инбер В.
Ионов И.
Ирадионова В.
Исаковский М.
Истомин А.
Итин В.
Казанский.
Казин В.
Казин П.
Калигина Е.
Калигин И.
Калинников И.
Камаева О.
Каменский В.
Канев В.

Львова Н.
Ляндау К.
Мазнин Д.
Макавский С.
Малашкин С.
Манаев А.
Мандельштам О.
Манухина Н.
Мареев А.
Мариголов К.
Мариенгоф А.
Мар С.
Мартенс О.
Мартынов Л.
Марьянова М.
Масаинов А.
Маслов Г.
Мастерков А.
Матвеевская А.
Матусевич А.
Махарадзе Л.
Мачтет Т.
Машинский Д.
Майзельс Д.
Майя
Маяковский В.
Медзелец А.
Мезько Н.
Меликова С.
Мережковский Д.
Меркушев.
Мерный В.
Метелкин А.
Мешков Н.
Мизинов Н.
Миллер В.
Милов Д.
Миляев В.
Мимотин И.
Минаев Н.
Минский Н.
Миров Н.
Миропольский А.
Мирра.
Митропольский А.
Митрофанов А.
Михайлов В.
Михалевский А.
Могилянский М.
Модзалевский И.
Можаров М.
Молдавский С.
Монина В.
Монин В.
Моносзон Л.
Моравская М.
Моравский Е.
Морозов И.
Морозов Н.
Мошин Л.
Муханов Н.
Набоков В.
Назаров И.
Наппельбаум И.
Наппельбаум Ф.
Нарбут В.
Недзельский Е.
Нельдихен С.
Немилов.
Немцев В.
Несмелов А.
Нетропов М.
Нечаев Е.
Никитина Е.
Николаева Е.
Никольский К.
Никулин Л.
Новиков И.
Новская Е.
Обрадович С.
Образцов К.
Овагемов Ф.
Одинцов И.
Одоевцева И.
Оксенов И.
Оков С.
Оленин А.
Олерон Д.
Олимпов К.
Ольдекоп Е.
Оншикевич-Яцын А.
Оранский В.
Орг Г.
Орешин П.
Орлов С.
Осетров В.
Остроумов А.
Отсоли Н.
Оцуп Н.
Ошанина Е.
Павлович Н.
Палей А.
Палей В.
Панкратов В.
Папаригопуло Б.
Папер М.

Парнах В.
Парнак С.
Пастернак Б.
Пасынок М.
Перелешин Б.
Перельман М.
Пери Л.
Песис Б.
Петников Г.
Петров И.
Петровский Д.
Петровский П.
Петяев С.
Печерский В.
Пиотровский В.
Платов Ф.
Поваров Н.
Поволжский П.
Пожарков А.
Пожарова М.
Поздняков Т.
Познер В.
Полетаев Н.
Полонская Е.
Полонский Я.
Полоцкий.
Поморский А.
Помренинг Д.
Поплавский Б.
Порошин А.
Порошин Л.
Попов Н.
Потемкин П.
Потехин В.
Пояркова Т.
Праскунин М
Предтеченский С.
Преображенский А.
Приходченко Е.
Пришелец А.
Прокопенко А.
Пруссак В.
Пруссак М.
Пухальский С.
Пучков А.
Пяст В.
Рабочий (Щелканов).
Радаков А.
Радикс А.
Радимов П.
Радищев Н.
Радлова А.
Ракитников А.
Раменский П.
Ранов А.
Рафалович С.
Рафальский С.
Регатт А.
Рева Д.
Рексин С.
Рем Д.
Ремизов Б.
Решетов А.
Рещиков Н.
Рогинский Т.
Рогожин Н.
Родов С.
Рождественский В.
Рок Р.
Ромашко И.
Росимов Г.
Рославлев А.
Рославлев К.
Ростовский Г.
Ротштейн А.
Ройзман М.
Рубанович С.
Рубин Н.
Рудич В.
Рукавишников И.
Руссат Е.
Руставели Л.
Рыбацкий Н.
Рыбанцев Г.
Рябинин.
Сабашникова М.
Садиков С.
Садовский Б.
Садофьев И.
Салманов А.
Самобытник (Маширов А.)
Самойлов М.
Сандомирский Г.
Санников Г.
Сапожников В.
Светлов М.
Свирельник Н.
Северский В.
Северянин-Игорь.
Селянин С.
Сельвинский И
Семеновский Д.
Семенов Л.
Семейко Н.
Семлевский Н.
Сергеев-Ценский С.

Сидоров А.
Сидоров Г.
Сидоров Ю.
Синеонова Л.
Синяков И.
Скалдин А.
Скиталец.
Скорбный А.
Скороходов М.
Сланский П.
Случановский А.
Смагин Г.
Смиренский Б.
Смирнов А.
Смирнов М.
Смирнов Н.
Смольский О.
Сокол Е.
Соколов А.
Соколов И.
Соколов К.
Солнцева В.
Сологуб Ф.
Соловьева П. (Allegro)
Соловьев А.
Соловьев С.
Сосновин М.
Спандиков Э.
Спасский С.
Спендиарова Т.
Станиславская Е.
Старицкий И.
Старцев И.
Стенич.
Степанов С. (Степан Брузков).
Столица Л.
Столяров А.
Старицын П.
Страдный С.
Стражев В.
Струве М.
Стырская Е.
Сулейкин Н.
Суражевский Д.
Сурина Н.
Сутырин К.
Сухотин П.
Талов М.
Томашев А.
Тардов В.
Тарасов Е.
Таршис Е.
Тверяк А.
Терентьев И.
Терк А.
Терский П.
Тиняков (Одинокий) А.
Тисленко Я.
Тихомиров Н.
Тихонов Н.
Толбинский И.
Толмачев А.
Толстой А.
Тренин В.
Третьяков В.
Третьяков С.
Тривус В.
Трубин И.
Туманный Д.
Тумповская М.
Тэ М.
Тюрсев Г.
Тютиков И.
Узник П.
Укше С.
Ульянов Ю.
Урманов К.
Устинов И.
Уховский Я.
Федорова А.
Федорова Е.
Федоров В.
Федоров Ю.
Федорычев И.
Ферлиновская О.
Филипченко И.
Филов.
Фиолетов А.
Фомин С.
Фофанов П.
Хабиас-Комарова Н.
Хариков Н.
Херсонский Р.
Хлебников В.
Ходасевич В.
Хохунов-Уховский Я.
Цагарелли Г.
Царев М. (Торский В.)
Царьков В.
Цветаева М.
Цветов Н.
Цензор Д.
Чалая З.
Чартов Ф.
Чахотин С.
Чачиков А.

Чемоданов.
Черемнов А.
Черемшанова О.
Черкасов Н.
Чернов Ф.
Черносвитский В.
Чернышев А.
Черный Саша.
Черский Ф.
Чибриков П.
Чижевский А.
Чугурин М.
Чулков Г.
Чумаченко А.
Чурилин Т.
Шагинян М.
Шахова Е.
Шварцбах-Молчанова Е.
Шелгунов А.
Шенгели Г.
Шервинский С.
Шершеневич В.
Шехтман И.
Шиллинг Е.
Шиллингер И.
Широкоп П.
Ширяевец А.
Шихман Б.
Шихов.
Шишко А.
Шишов В.
Шкапская М.
Шкловский В.
Шкляр Е.
Шкулев Ф.
Шлейфер В.
Шманкевич Б.
Шманкевич В.
Шовен Т.
Штейнберг А.
Шторм Г.
Шульговский П.
Шулятиков В.
Шумский И.
Шуф В.
Щекин В.
Щуренков В.
Эверт И.
Эллис.
Эльснер В.
Энгеев Т.
Эрберг К.
Эрберг О.
Эрдман Н.
Эренбург И.
Эркин Е.
Эфрос А.
Юлианов И.
Юренев В.
Юст К.
Яблонский В.
Явиц З.
Якоби П.
Яковлев Н.
Яковлев П.
Ямпольская М.
Урополов В.
Ярославский А.
Ясинский И.
Ясный А.

# СОДЕРЖАНИЕ.

# СОДЕРЖАНИЕ.